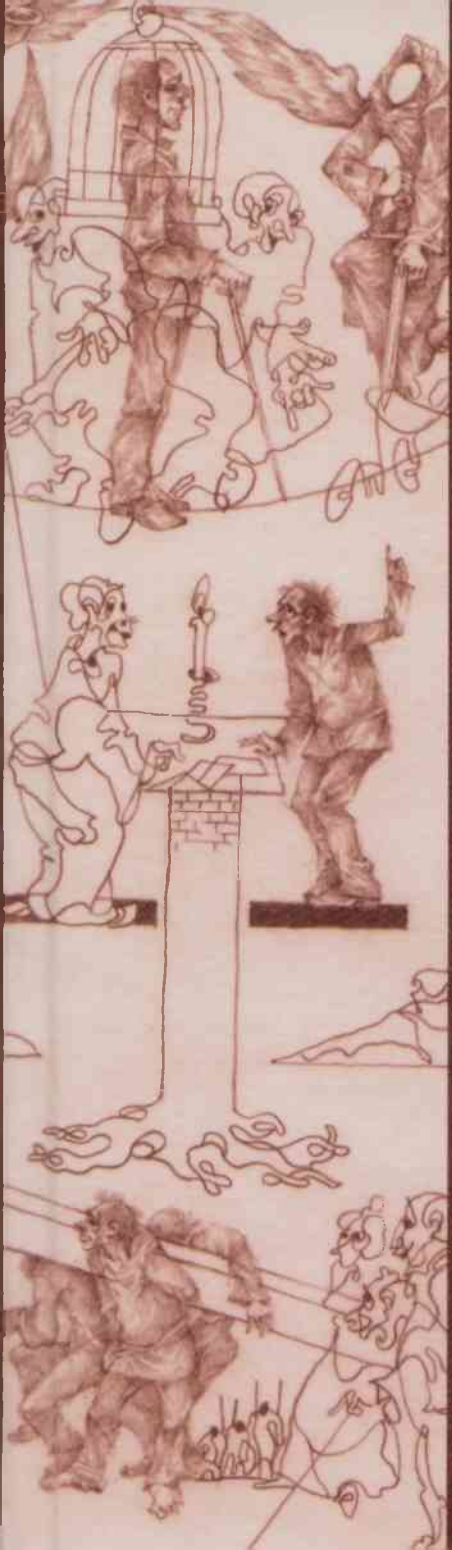


Николай Мехед

КРЕСТ И БЕСИ Николая Ставрогина

Николай Мехед

КРЕСТ И БЕСИ Николая Ставрогина

Экспериментальный путь героя к Абсолюту

Москва
«Вече»

Из библиотеки Юлианы и Артёма Ивановых - 24 марта 2022 года. Саратов.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6
М55

Цитаты из романа «Бесы»
приводятся по следующему изданию:
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., Наука, 1976. – ТТ.10,11,12

Художник М.И. Вахрин

Мехед, Н.Г.

М55 Крест и Беси Николая Ставрогина. Экспериментальный путь героя к Абсолюту / Николай Мехед. — М. : Вече, 2018. — 352 с.

ISBN 978-5-4484-0345-3

Знак информационной продукции 12+

Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» — самый читаемый из великого Пятикнижия писателя. За 150 лет с момента его создания он неоднократно попадал в «немилость» у критики и читающей публики.

Роман остро критичен по отношению к революционному насилию в любых его проявлениях.

Но это — первый срез. Социология и политология явления. Книга «Крест и Беси Николая Ставрогина» обращается к метафизике.

Две линии пересекаются в «Бесах». Линия Петруши Верховенского, политического авантюриста и практика революционного террора. И линия Князя — Ставрогина, морального экспериментатора и богоборца, взыскующего метафизических истин о моральном Абсолюте и взаимоотношениях человека и Бога.

Николай Всеволодович Ставрогин — самый загадочный герой Достоевского.

Загадку Князя — Ставрогина разгадывали такие корифеи русской философской мысли, как Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков, Д.А. Мережковский, Вяч.И. Иванов и К.В. Мочульский. Тему не обошли своим вниманием и наши современники. Действительно, заниматься исследованием творчества Ф.М. Достоевского и не писать о «Бесах» — значит, играть не в высшей лиге достоевсковедения... Однако человеческая, личностная тайна Николая Ставрогина, героя, которого Достоевский, по его собственным словам, «взял из сердца своего», не раскрыта. Самый трагический и самый притягательно-отталкивающий герой писателя ждёт своего часа и своих новых исследователей.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4484-0345-3

© Мехед Н.Г., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018

200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского и 150-летию со дня
выхода романа «Бесы» посвящается

Когда Христос становится орудием
земной политики, средством для
получения земных богатств и славы,
он перестает быть орудием спасения.
Святой Николай Сербский

Об авторе

Биография автора книги «Крест и Беси Николая Ставрогина» сама по себе может служить основой для авантюрного романа.

Выходец из среды технической интеллигенции (отец автора стал лауреатом Государственной премии за разработку новых материалов), в силу сложившихся обстоятельств изменил первоначальные планы и вместо МАДИ поступил на философский факультет МГУ.

Затем очная аспирантура Института философии АН СССР. Защита кандидатской диссертации на секторе этики. Область научных интересов была связана с историей русской этической мысли вообще и с творчеством Ф.М. Достоевского в особенности.

А дальше судьба делает крутой поворот, и молодой академический исследователь оказывается преподавателем кафедры философии Высшей школы КГБ им. Ф.Э. Дзержинского. По времени это совпадает с началом перестройки.

В тридцатилетнем возрасте автора аттестовали как офицера — сотрудника КГБ СССР. За пятнадцать лет он прошел путь от лейтенанта до генерала.

В памятном 1991 году после крушения СССР молодой автор оказывается одним из ведущих сотрудников только что созданного Аналитического Управления центрального аппарата Министерства Безопасности РФ. А в 1993 г., за полгода до трагических событий, связанных с расстрелом Белого дома, — становится прикомандированным сотрудником Группы политического анализа и прогноза, замыкавшейся на Главе Администрации Президента России. С этого времени и более 23 лет автор работал в высших органах власти новой России, постепенно продвигаясь и по служебной лестнице в российских спецслужбах.

Кстати говоря, он оказался единственным из советников Председателя Совета Федерации С.М. Миронова, кто продолжил карьеру и при Председателе СФ В.И. Матвиенко.

В настоящее время автор, отдавший государственной службе тридцать лет своей жизни, работает в бизнес-структуре.

Книга «Крест и Беси Николая Ставрогина» была задумана еще в аспирантские годы. Собран материал. Составлен план. Сделаны наброски. Но оказавшись в круговороте перестроечных и постперестроечных событий, автор взял тридцатилетнюю паузу: книга о Князе — Ставрогине оказалась на полке и ждала своего часа. Совершив определенный жизненный круговорот, автор решил, что пришло время рассчитаться со своей исследовательской философской совестью. Книга «Крест и Беси Николая Ставрогина» представляется на суд читателя.

О книге «Крест и Беси Николая Ставрогина»

Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» — самый читаемый из великого Пятикнижия писателя. За 150 лет с момента его создания он неоднократно попадал в «немилость» у критики и читающей публики.

Роман остро критичен по отношению к революционному насилию в любых его проявлениях. Писатель развенчивает идеологические посылки терроризма не только как политического явления, но, прежде всего, как особого морально-психологического феномена. В русской литературе Ф.М. Достоевский первым услышал звенящую духовную пустоту вершителей насилия во имя общественного блага.

Но это — первый срез. Социология и политология явления. Книга «Крест и Беси Николая Ставрогина» обращается к метафизике.

Две линии пересекаются в «Бесах». Линия Петруши Верховенского, политического авантюриста и практика революционного террора. И линия Князя — Ставрогина, морального экспериментатора и богоборца, взыскующего метафизических истин о моральном абсолюте и взаимоотношениях человека и Бога.

Николай Всеволодович Ставрогин — самый загадочный герой Достоевского. Отчасти это стало следствием того обстоятельства, что самая важная для понимания характера Ставрогина 9 глава «У Тихона» была исключена из публикации редакцией «Русского вестника» по цензурным соображениям.

Но в значительно большей степени загадочность Ставрогина стала его фирменной маской, брендом его литератур-

ного образа. Тем важнее попытаться раскрыть эту загадочность, разобраться в мотивах поступков Ставрогина и его романных сателлитов.

Загадку Князя — Ставрогина разгадывали такие корифеи русской философской мысли, как Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков, Д.А. Мережковский, Вяч.И. Иванов и К.В. Мочульский. Тему не обошли своим вниманием и наши современники. Действительно, заниматься исследованием творчества Ф.М. Достоевского и не писать о «Бесах» — значит играть не в высшей лиге достоевсковедения... Однако человеческая, личностная тайна Николая Ставрогина, героя, которого Достоевский, по его собственным словам, «взял из сердца своего», не раскрыта. Самый трагический и самый притягательно-отталкивающий герой писателя ждёт своего часа и своих новых исследователей.

«Почему никто из героев «Бесов» не стал нарицательным именем, концептом русского сознания, в отличие от других образов Достоевского — Родиона Раскольникова, князя Мышкина, Алёши Карамазова и ряда других? Не потому ли, что мы ещё не увидели себя в них?!

«Бесы» воспринимались и воспринимаются как критика революционного бесовства, которое, схваченное Достоевским в самом зачаточном виде, стало проклятием отечественной истории последних полутора столетий. Однако революционное бесовство — лишь одно, хотя и самое опасное, проявление болезненного состояния человека и общества в нашу эпоху, которое исследует Достоевский в своём творчестве, и, в особенности, в романе «Бесы». Что происходит с человеком, его нравственностью, когда он теряет связь с Богом? Обязательно ли он попадает во власть бесов? Вот вопросы, которые интересуют Достоевского.

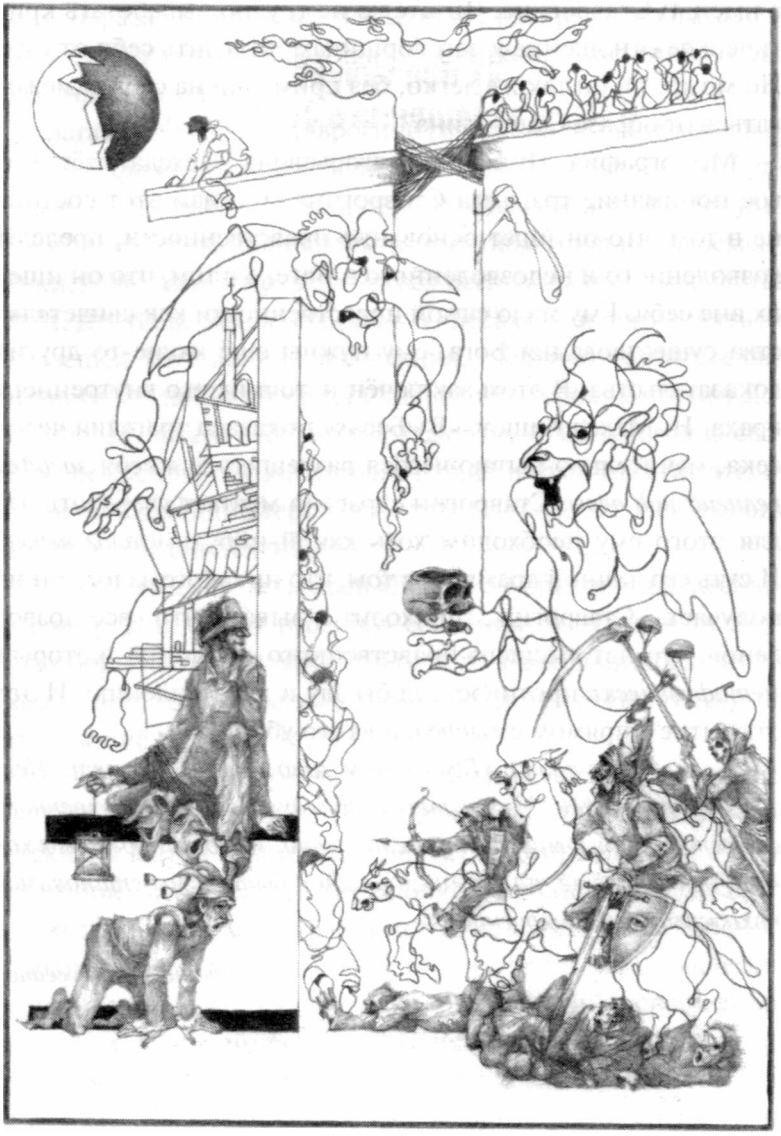
Для ответа на них важен, в первую очередь, образ Николая Ставрогина, не Кириллова, не Петра Верховенского,

а именно Ставрогина. Читателю не трудно выработать критическое отношение к заговорщикам, отделить себя от них. Но может ли он так же легко, без примерки на себя отмежеваться от образа Ставрогина?

Монография Николая Григорьевича Мехеда даёт новое понимание трагизма Ставрогина. Трагизм этот состоит не в том, что он ищет основание нравственности, пределы дозволенного и недозволенного в Боге, а в том, что он ищет их вне себя. Ему мало самой нравственности как свидетельства существования Бога, ему нужны ещё какие-то другие доказательства. В этом заключён источник его внутреннего краха. Н. Мехед пишет: «В «Бесах» показана трагедия человека, мучительно пытающегося разрешить для себя *загадку религиозной веры*. Ставрогин страстно мечтает уверовать, но для этого ему необходим хоть какой-нибудь «*залог веры*». И суть его личной драмы — в том, что никакого залога он не получает... Ставрогин... приходит к выводу, что «всё позволено», что нет высшего нравственного принципа, который *метафизически* противостоял бы злу и преступлению. И это открытие в прямом смысле слова его убивает».

Как сказал поэт, «Верь тому, что сердце скажет; Нет залогов от небес». Мужество индивидуально ответственного существования в мире — тяжёлая ноша. И тогда, когда мы хотим облегчить её, когда ищем алиби в бытии, мы становимся похожими на Ставрогина.

Академик А.А. Гусейнов



§1. Преамбула. О моём отношении к Ставрогину

Лето 1981 года. Москва. После окончания МГУ им. М.В. Ломоносова я готовился к поступлению в аспирантуру сектора этики Института философии АН СССР. Обязательный в таких случаях реферат по специальности был написан по морально-этической проблематике в творчестве Ф.М. Достоевского. Ключевое место отводилось теме нравственного сладострастия. Тема для кандидатской («Проблема личности в этической концепции Ф.М. Достоевского») выбрана как продолжение и дальнейшее развитие дипломной работы. Диплом же был посвящён проблемам совести: «Совесть как морально-психологический механизм и принцип жизни». Работа также была написана в основном на массиве творчества Ф.М. Достоевского.

Это сегодня стало общим местом считать, что Достоевский — первооткрыватель ряда морально-психологических феноменов («мечтательство», «двойничество», «подполье», «нравственное сладострастие» и т.д.). Что именно русский писатель сделал эти феномены объектом научного исследования. Литературно-художественными средствами зафиксировал эти морально-психологические явления и подверг их философскому анализу.

В начале 80-х гг. эти довольно тривиальные для сегодняшнего уровня достоевсковедения положения были дискуссионными. Я же попытался описать механизм нравственного сладострастия как *производную* деятельности морально-психологического механизма совести. Вот почему наиболее интересным объектом из галереи героев Ф.М. Достоевского

для меня оказался Николай Всеволодович Ставрогин, литературный герой романа «Бесы».

Почему Ставрогин? Не Раскольников, не герой «подполья», не Иван Карамазов, или Аркадий Версилов?

Выскажу личную точку зрения: *Николай Всеволодович Ставрогин* — самый загадочный и, одновременно, завораживающий герой Ф.М. Достоевского. А роман «Бесы» — *вершина* литературного творчества писателя. И всей русской литературной классики.

С того времени прошло более тридцати лет. В силу разных причин начатое когда-то исследование феномена Николая Ставрогина было отложено в сторону. И теперь на очередном витке биографии я вновь возвращаюсь к загадочной и притягательной личности Николая Всеволодовича Ставрогина.

Для того чтобы моя версия биографии Николая Ставрогина была доказательной, необходимо детально разобраться в событиях, в которых участвовал Ставрогин. Эту биографию надо воссоздать, положив в её основу «*факты*» романного повествования, а не их толкования другими, замотивированными персонажами, и выяснив, какое место в жизни «аристократа духа» занимает то или иное событие. Чтобы адекватно оценить конкретные поступки героя, надо их собрать в *систему*.

Что для этого надо сделать? Исходя из построения «Бесов», необходимо хронологически рядоположить события из жизни Ставрогина. Самое простое: следует составить сводную таблицу значимых поступков Ставрогина. Фактически она состоит из двух частей: жизнь Николая Всеволодовича Ставрогина до начала описываемых в романе событий и участие Ставрогина в событиях провинциальной скандальной хроники.

Между тем главные события в жизни Николая Ставрогина описаны в 9 главе «У Тихона», которая, как известно, не

вошла в окончательный вариант романа. Их необходимо состыковать с теми фактами его биографии, о которых в канонической версии романа сообщает Хроникёр. Естественно, что читатель, лишённый этой значимой информации, воспринимает фигуру Николая Ставрогина как таинственного героя байронического типа (в лучшем случае) или как фрондирующего бретёра (в худшем случае). Мотивы поступков которого не доступны пониманию рядового читателя.

Если предварительно объединить разрозненные эпизоды биографии Ставрогина в одну «линию судьбы», то проявится важнейшее для понимания характера Николая Ставрогина следствие. А именно: самые важные события в жизни Ставрогина, которые определили его судьбу, уже произошли в прошлом; и они из прошлого задают Ставрогина настоящего, вовлечённого в события теперешнего романа. Без их учёта фигура Ставрогина остаётся демонически загадочной.

Рассмотрим *сюжетные линии* «завязки» романа.

Пётр Верховенский приезжает в губернский город N затем, чтобы сцементировать подпольную ячейку и заманить в свои «сети» аристократа и «красавца» Николая Ставрогина.

Инженер Алексей Кириллов прибывает для того, чтобы реализовать свою идею о достижении человекобожества посредством идейного самоубийства.

Иван Шатов оказывается в городе потому, что ему необходимо окончательно завершить всякие отношения с бывшими единомышленниками по подпольной деятельности и получить формальное освобождение от своих обязательств.

Лиза Тушина (Дроздова) вместе с матерью стремится в губернский город с тем, чтобы окончательно прояснить отношения с героем «своего романа» — Николаем Всеволодовичем Ставрогиным.

Маврикий Николаевич сопровождает Елизавету Николаевну, поскольку надеется обрести личное счастье.

Капитан Лебядкин с сестрой Марьей Тимофеевной следуют в город, поскольку туда должен прибыть «благодетель» (Ставрогин) и решить вопрос о пенсионе-содержании.

Варвара Петровна Ставрогина ожидает приезда сына, рассчитывая развеять все недоумения и укрепить своё положение в обществе, победив «завистников и клеветников».

Степан Трофимович Верховенский ожидает решения своей участи «прозаическим другом» — генеральшей Ставрогиной.

«Великий писатель», Егор Кармазинов, возвращается в родные места с тем, чтобы продать последнее имение и навсегда обосноваться в Европе.

Перечень мотивов героев романа можно продолжать. Но все они находятся в едином временно-смысловом пространстве. И их объединяют сходные деятельные мотивы. Лишь один персонаж *выпадает* из общего ряда. И этот персонаж — Николай Всеволодович Ставрогин.

И, действительно, зачем приезжает Ставрогин в губернский город? Предваряя тщательный анализ мотивов его поступков, укажем на то, что Николай Ставрогин появляется в губернском городе с единственной значимой (осмысленной) целью — встретиться с архиереем Тихоном, живущим «на покое». Фактически остальные контакты Ставрогина подчинены интересам этого *метафизического рандеву*, имеющего для него сверхценное значение.

Внимательный читатель романа заметит, что совет посетить Тихона дал Ставрогину Иван Шатов во время их «судьбической» встречи. То есть желание побывать у Тихона не могло быть побудительным мотивом *до приезда* Ставрогина в губернский город.

Но если обратиться к тексту *9 главы*, то оказывается, что Николай Всеволодович страстно спорит с архиереем, — и этот спор, носит, казалось бы, абсолютно немотивированный

характер, — о том, бывал ли он (Ставрогин) *прежде* в монастыре, или нет. Исходя из контекста их беседы, складывается впечатление, что прав, скорее, Тихон. Николай Всеволодович Ставрогин *посещал* монастырь в прошлом. По крайней мере, *один раз*, за четыре года до описываемых событий, во время своего столь памятного пребывания в губернском городе. В таком случае Николай Ставрогин действительно мог намеренно приехать в город к исповеди у Тихона, *за покаянием*.

Отсюда появляется возможность понять героя Достоевского, основываясь не на гипотетических соображениях, а на достоверных мотивах, вытекающих из прошлых обстоятельств его жизни. Этот метод выстраивания линии жизненной биографии героя я бы назвал «*комментированным чтением*».

И ещё одно замечание. Адекватно оценить сложно-магнетическую фигуру Ставрогина возможно, если ответить на главный вопрос, которым мучился сам Достоевский и которым он заставил мучиться своего героя. Это вопрос о *бытии Божием*.

Существование Божие как основа и основание для нравственной нормы, нравственного закона. Как альфы и омеги и безусловного *Абсолюта Абсолютов*. Это главное. На мой взгляд, недопонимание значимости для Ставрогина вопроса о существовании Божием стало причиной тиражирования «мутного» образа Николая Всеволодовича рядом исследователей, а также многочисленных «художественных образов» Николая Ставрогина, созданных на театре и в кинематографе. А отсюда — и финальная *неадекватность* оценки фигуры Ставрогина.

О методе...

Николай Ставрогин, или «*Князь*», как определён писателем прообраз героя в подготовительных записках к ро-

ману, — наиболее сложная и богатая натура из портретной галереи персонажей Достоевского. Более того, ещё раз солидаризуюсь с точкой зрения, что роман «Бесы» — *вершина* психологического и художественного мастерства писателя.

Но в то же время именно этот образ художника в силу ряда обстоятельств (в частности, и потому, что центральная, главная для понимания его духовной биографии глава романа «*У Тихона*» не вошла в окончательную редакцию романа по причинам цензурного порядка) оказался размыт и этически не определён.

Между тем и в русском (в смысле «досоветском») литературоведении, граничащим с «академическим» этическим анализом, и в литературоведении советского периода, и в работах, посвященных изучению философского наследия Достоевского, таких, например, как блестящая книга Ю.Н. Давыдова «Этика любви и метафизика своеволия», образ и личность Ставрогина получали не только противоречивые оценки, но, на мой взгляд, так и не были адекватно оценены. Николай Ставрогин оказывался «пленником» различных идеологических схем и мировоззренческих конструкций, которые выстраивали авторы-исследователи, соревнуясь в оригинальности и эпатажности прочтения образа «красавца Князя».

Почему? Да потому, что эти исследования в большинстве своём фактически проигнорировали богатый методологический арсенал «*жизнеучений*» и «жизнеописаний», широко практикуемых в дореволюционном *гуманитарном* литературоведении. Таких, например, как «комментированное чтение» или «биографическая хроника судьбы одного литературного персонажа» и т.п. А ведь этот морально-биографический, «*житийный*» метод исследования личности героев был очень близок Ф.М. Достоевскому как писателю. Это явно проявилось даже в названии философского романа-эпопеи «*Житие Великого грешника*», задуманного писателем.

Из наших современников, пожалуй, чаще и больше других исследователей этот метод использовал Юрий Карякин. Он считал, что тексты Достоевского требуют не просто внимательного и вдумчивого прочтения. Исследователь должен буквально «*муравьишкой проползти*» по романным строчкам с тем, чтобы уловить тончайшие смыслы и обертоны, содержащиеся в тексте. А это предполагает постоянное возвращение к текстам и всё новое и новое их прочтение и толкование.

Применительно к «Бесам», это означает, что речь идёт об одном из художественных «пластов», чрезвычайно насыщенных морально-психологическим содержанием, одном из наиболее перспективных исследований моральных феноменов на *моралеведческом* уровне. В такого рода исследованиях совершенно не следует опасаться широкого использования цитатного материала, из которого вырастает объём романного пространства и выстраивается событийная хроника, которая затем детально прослеживается и анализируется шаг за шагом, поступок за поступком.

Таким образом, данное исследование представляет собой опыт морально-биографической *хроники*, реализованной на материале литературно-художественного творчества Ф.М. Достоевского. Подобного рода исследование может представить интерес для читателя именно как *житийный опыт*, как исследовательская попытка постижения мотивов поведения героев, осуществлённая на «практике» литературно-художественного текста. В конечном итоге мы воссоздаём «*Житие Николая Всеволодовича Ставрогина*».

Представляется такая цепочка:

— текст анализируется с целью реконструкции, воссоздания художественного мира героев;

— происходит, собственно, само *комментированное чтение*;

— выделенные события акцентируются с помощью введения моральных критериев. (Отсылаю читателя к моей давней статье в «Вопросах философии»: «Литературно-художественные открытия как объект этического исследования», помещенной в книге в качестве приложения.)

Основной методологический приём требует «выстроить» *линию судьбы* героя, выделив в ней центральные с точки зрения моральной биографии события, поступки. Иначе адекватно оценить его личность не получается.

Методологическим, исследовательским средством выступает философско-аналитическая реконструкция. Анализируется литературный текст, исследуется литературно-художественная ткань романного повествования, содержащая моральные «нити», детально реконструируются (опять-таки с помощью литературных средств) образы, рассматриваются система образов, сюжеты, их построение и развитие, диалектика развития образов и т.д. Но всё это «поднимается» на философский уровень обобщения. Из литературного контекста извлекаются морально-философские «проекции», принципиальные для оценивания личности героя.

Особенностью «Бесов» является то, что информация о главном герое, Николае Ставрогине, рассыпана крупицами по всему тексту романа. При этом в большинстве случаев эта информация подаётся не напрямую от повествователя (Хроникёра), или хотя бы самого героя (даже в Исповеди, искренность которой рядом исследователей ставится под сомнение), а от третьих лиц.

Поэтому основная задача: подвергнуть повествовательные тексты биографическому, событийному анализу с тем, чтобы разыскать истинные причины и скрытые автором смыслы. Ставрогин может и должен быть понят через другие персонажи.

Для того чтобы узнать Ставрогина настоящего, «всамделишнего», надо, помимо его автопризнаний, рефлексии (исповедь, личные письма, дневниковые записи и т.д.), учитывать мнения о нём других персонажей романа. Но здесь возникает необходимость делать сноску на их собственные настроения и интересы. Иначе об адекватной оценке «Ставрогина-сфинкса» придётся забыть.

Ставрогин — сфинкс?

Плох ли, хорош ли, а, главное, каков? Ставрогин — это *сфинкс*, загадка, «тайна». В чём же тайна? Сам Достоевский в своё время записал свое profession de foi (исповедание веры): «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что напрасно потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Первичным и самым простым объяснением *загадочности* Ставрогина может стать факт исключения 9 главы «У Тихона» из окончательной редакции романа. Вместе с этой главой, принципиально важной для понимания мотивов поведения Николая Всеволодовича, «ушло» исповедальное содержание его беседы с Тихоном. Что не могло не сказаться на *чёткости* образа Ставрогина-Князя. Но это — то, что лежит на поверхности.

Существует и второй план. В подготовительных материалах к роману Ф.М. Достоевский несколько раз специально оговаривал, что образ Ставрогина он «из сердца взял своего». По замыслу автора, Князь — *высший* человек по своим ментальным и нравственным качествам. От него следовало ожидать неординарных поступков и подвигов человеколюбия. Но в романной действительности Ставрогин существует как малосимпатичная, предельно эгоцентрическая личность. У квалифицированного читателя, знакомого с подго-

товительными материалами писателя к роману, неизбежно возникает *недоумение*: чем *такой* Ставрогин близок и дорог Ф.М. Достоевскому?

Невозможность возрождения Ставрогина обусловлена тем фактом, что в течение своей жизни ни одного человека он не сделал счастливым *практически.* Напротив, все, с кем он сталкивался, становились несчастными. Ставрогин сеет зло. А для Достоевского важнейшим является критерий «практического осчастливливания» конкретного человека. Абстрактное «добротолюбие» чуждо писателю.

Известно, что Достоевский высоко ценил творчество Виктора Гюго и считал его наихристианнейшим писателем 19 столетия. Именно потому, что главным предметом исследования человеческих феноменов у Гюго было не столько разнообразие типов падения человеческой личности, сколько процесс нравственного возрождения человека. Процесс, описываемой простой формулой: «обретение Бога Живаго». Достижение веры такой психоэмоциональной насыщенности, когда она перетекает, переплавляется в непосредственный мотив добродетельного поступка.

Об этом — Великое пятикнижие Ф.М. Достоевского. Роман «Бесы» — самый «*христианский*» роман писателя. В каком-то смысле даже «более христианский» (если уместны такие сопоставления), нежели (чем) роман «Идиот». В «Идиоте» писателем предпринята попытка представить образ положительно прекрасного человека, который пытается жить в условиях современного цивилизованного общества по христианским заповедям. И терпит неудачу, столкнувшись с жестокими социальными реалиями.

В «Бесах» показана трагедия человека, мучительно пытающегося разрешить для себя *загадку религиозной веры.* Ставрогин страстно мечтает уверовать, но для этого ему необхо-

дим хоть какой-нибудь *«залог веры»*. И суть его личной драмы — в том, что никакого залога он не получает. Даже тогда, когда ради обретения этого залога в порядке эксперимента он идёт на страшное преступление.

«Крест» Николая Ставрогина

Как впоследствии и Ивану Карамазову, Ставрогину надо «мысль разрешить». Исследователи давно обратили внимание на их духовное родство. Из всей «филиации» героев Ф.М. Достоевского Иван Карамазов, пожалуй, наиболее близок Николаю Всеволодовичу Ставрогину (учитывая хронологические и иные обстоятельства создания философских романов-эпопей). Более того, некоторые исследователи указывают на то, что образ Ставрогина стал синтетическим *«донором»* для образов братьев Карамазовых из последнего романа Ф.М. Достоевского.

В чём суть напрашивающейся *параллели* между Ставрогиным и Иваном Карамазовым? — Оба — «бунтовщики», оба *экспериментаторы*. Только Иван начинает свой бунт с рассказа брату Алёше об известных ему фактах морального изуверства и обосновывает свое право на публичный бунт самим фактом существования в мире подобного изуверства, а Ставрогин — бунтарь-оригинал, который сам участвует в зверствах, практикуя своего рода «метод включённого наблюдения».

Ивана возмущают изуверство людей и тот прискорбный факт, что изуверы не получают немедленной расплаты, кары Божией, здесь и сейчас. А Ставрогин возмущён тем обстоятельством, что его собственные преступления-эксперименты также не вызывают немедленного испепеляющего гнева Господня. *Нет залога — нет Завета.*

Существуют также линии, сближающие истории Николая Ставрогина и Родиона Раскольникова. По крайней мере,

в одном отношении у них также есть общая черта: их сближает опять-таки страсть к *экспериментаторству*.

Ставрогин и Раскольников начинают как бы с разных полюсов.

Когда Ставрогин для себя понял, что в мире не существует инстанции или закона, которые служили бы *онтологическим* основанием добра, что ответственность за все совершённое лежит на самом человеке, то он не смог вынести страшной ответственности за свои преступления. Он решил, что не существует такого подвига или страдания, которыми он мог бы искупить тяжесть своих преступлений. Не наказан, а потому не могу подняться, снова стать *морально вменяемым* человеком.

Ф.М. Достоевский был сторонником точки зрения, согласно которой мера ответственности каждого конкретного человека за всё, происходящее в мире, *бесконечна*. Именно в этом следует искать причину того, почему он не был приверженцем теории «социальной динамики». Дело не столько в социальной структуре общества, сколько в самом человеке: *все за всё виноваты*. Религиозный скептицизм Ставрогина по отношению к «природе человека» сродни скептицизму самого Достоевского.

А что же Раскольников?

Он-то с самого начала понимал, что ответственность за преступление — его единоличная ответственность... Смог ли он разделить её с кем-нибудь? Возрождение Раскольникова состоялось, но на какой почве? Уверовал ли он в христианскую идею возрождения? — Едва ли. Даже Евангелие его интересовало, скорее, только мотивами искупления, то есть соотношением, «балансом», калькуляцией тяжести преступления и соразмерной ей степени наказания. *Адекватно* ли воздастся раскаявшемуся? В смысле, «не слишком ли сильно я раскаялся»?

Раскольников сначала создаёт теорию «всё позволено», теорию нравственного превосходства и исключительности великих людей. А затем испытывает её на практике, ставит эксперимент. В конце концов, Достоевский заставил Раскольникова убедиться и осознать, что не «всё позволено».

Ставрогин, наоборот, систематически ставит эксперименты, один более вызывающий, чем другой. Всё пытается «мысль разрешить» о существовании Божием. А в результате приходит к выводу, что «всё позволено», что нет высшего нравственного принципа, который *метафизически* противостоял бы злу и преступлению. И это открытие в прямом смысле слова его *убивает*.

Поступки Ставрогина, линия его поведения свидетельствуют о том, что он бросает осознанный *вызов* своим преступлением. При этом чем страшнее преступление, тем сильнее вызов...

Ставрогин бросает вызов, поскольку его мучает вопрос, есть ли Бог, есть ли, во что веровать — общее правило и нравственный закон. Ставрогин хочет веровать, но сомневается в существовании Божием. Отсюда рождается идея поставить на себе, на своей жизни чудовищный *эксперимент* (по дерзости и масштабу вызова сродни кирилловскому) — желание воочию увидеть гнев Божий. *Увижу* — тогда уверую, тогда — смирение и покаяние, тогда — вериги и подвиг нравственного возрождения. А если Его (Бога) нет? Тогда и через покаяние не обретёшь нравственный закон, тогда всё *метафизически* напрасно.

(Отсылаю читателя к статье современного автора: Мехед Г.Н. Проблема теодицеи в этике И. Канта и Ф.М. Достоевского // Философия и культура. 2013, № 7. С. 967—973.)

Почему Ставрогин всё время мрачен и хмур? Почему он не весел? — Да потому, что он *приговорён* и знает об этом.

Ставрогин обречён, за его преступления он приговорён к смертной казни. Раз Бога нет, тогда ответственность за преступления лежит не на Божией воле, а на совести самого Ставрогина. Этого он не в состоянии вынести, поскольку понимает необратимость всего, им совершённого

Внешне Ставрогин производит впечатление «мёртвого как живого». Психология Ставрогина — это психология *приговорённого*. Нет радости в жизни, она принципиально невозможна, поскольку для него невозможно возрождение. Напрашиваются параллели: сопоставьте внешний рисунок поведения Николая Ставрогина и персонажей Достоевского, оказывающихся свидетелями или участниками процедуры смертной казни.

Трагизм положения Ставрогина — в том, что, как оказалось, даже на последний страшный вызов Ставрогина (Матрёша) небесные силы безмолвствуют. Нет Спасителя. Нет Творца. Мысль Ставрогина оказалась *разрешена*.

Чего так мучительно боялся Ставрогин после преступления над Матрёшей? — Сибири, каторги, осуждения людей? Наверное, более всего он боялся того, что последнего доказательства не получит, что ответ на самый важный для него «*метафизический*» вопрос будет негативный. Самое тягостное наказание для человека, прослушавшего курс философских наук в Геттингене, — метафизическая *неопределённость*.

Почему Ставрогин не убил Артемия Гаганова, а затем и Ивана Шатова? Ведь за убийство на дуэли, то есть произведённое по «всем правилам» чести и закона, уголовная ответственность не предусмотрена. К тому же Ставрогин — натура настолько психологически одарённая, что он должен был бы испытать наслаждение от очередного *острого* приключения. В чём же дело?

— Видимо, — в том, что он не хотел более *никакое* преступление брать на свою совесть, которая уже не очистится

покаянием. Никогда! Правда, остаётся ещё вопрос о Лебядкиных, Лизе Тушиной-Дроздовой, но это более позднее свидетельство уже окончательного, «метафизического впадения» в преступление.

Почему после преступления Ставрогин не убил себя? Он говорит, что «из страха». Дорожит ли Ставрогин жизнью? Нет, не дорожит. «Из страху убивают себя, но из страху остаются жить...» О каком страхе идёт речь? Перед смертью? — Едва ли. Ведь *ученик* Ставрогина Кириллов довёл танатологическую концепцию учителя до логического завершения и обосновал необходимость самоубийства. «Обязанность» к самоубийству *нивелирует* страх смерти.

Ставрогиным движет страх перед гневом Божиим. Он трепещет и не может вынести ожидания заслуженной им кары. Ставрогин ждёт зримого проявления этой кары, *жаждет* её наступления. Он предчувствует, что кара небесная могла бы вернуть его к жизни. И более всего он боится того, что эта кара никогда не наступит. Кара даёт веру, а вера даёт образ Христа — высший моральный авторитет и критерий нравственности. (Почему Матрёша говорит: «Я Бога убила»?)

К этим мыслям-чувствам Ставрогина примешивается ещё гордый вызов и наслаждение гордым вызовом, наслаждение, которое сродни *нравственному сладострастию.*

Ставрогин — это одновременно и «Крест», и «Беси». Это — и Дон Жуан, и статуя Командора. Это — и Родион Раскольников, и Сонечка Мармеладова.

Вот вопрос: что делал бы Дон Жуан, если бы к нему не явилась статуя Командора? Драматическое появление статуи не только завершило жизненный путь Дон Жуана, но и поставило точку в его моральной биографии. Оно символизировало собой воздаяние преступнику (как в уголовном, так и в нравственном отношении) за всё, им содеянное. Статуя

была посланцем высших сил, которым Дон Жуан, отказывавшийся подчиняться суду людскому, подчинился *беспрекословно.*

История Ставрогина — это история Дон Жуана, за которым *вовремя* не явилась статуя Командора. Для Ставрогина земная жизнь, событийный её ряд завершились в тот момент, когда кара небесная не настигла его. Время остановилось — поэтому он так дотошно расспрашивает Кириллова о временной «*эмблеме*»: Кириллов прервал бег времени, остановив часы. Кантон Ури («переулочек» Карамазовых) выступает как символ смерти. И с определённого момента для Ставрогина нет возрождения во веки веков. *Аминь.*

«Ты не холоден, не горяч... изблюю тебя из уст моих...» Эта фраза-формула из Апокалипсиса является смысловым стержнем всей фабулы романа «*про Ставрогина*». Но это здесь и сейчас, в пространстве романа, он *не холоден, не горяч.* А раньше? Повествователь очень скупо рассказывает о прошлом Ставрогина, но не забывает упомянуть о его *горячих* юношеских порывах, инициированных воспитательной методой его наставника — Степана Трофимовича Верховенского.

Думаю, что именно в этом *гордом вызове* и может заключаться сила Ставрогина, о которой говорят или которую подразумевают *знаковые* герои романа. Да и в чём ином могла бы она состоять? Ведь не в том же, что Ставрогин взял руки назад после пощёчины Шатова и не убил помещика Гаганова на дуэли, стреляя нарочито мимо. «Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость...» — говорит Тихон о Ставрогине. В мерзости ли сила? Или в вызове через мерзость (великая сила в великой мерзости)? В чём великая сила? Мерзостью великая? Праздная — мерзостью. А великая?

Почему обиженная им Матрёша вызвала чувство жгучей ненависти у Ставрогина? — Потому, что «вообразила себе невесть что...». То есть в порыве «страсти» Ставрогина она почувствовала какую-то личностную в себе заинтересованность. Это-то и взбесило Ставрогина. Поскольку Матрёшу он воспринимает лишь как *объект* для своего экспериментирования, и не более того. Всякое *личностное* к ней отношение он для себя заранее исключает.

Но ведь и женитьба на Марье Тимофеевне Лебядкиной «щекотала» страсти Ставрогина. Почему же предположение Матрёши возмутило Ставрогина, а не доставило *ожидаемого* специфического сладострастного наслаждения?

Ключевая фраза Тихона, адресованная Николаю Всеволодовичу Ставрогину в процессе исповеди, — «некрасивость убьёт». Почему «некрасивость» и каким образом «убьёт»? Как объяснить этот авторский «эстетизм»?

Может быть, благородство, изящество — суть выработанного типа (Николай Ставрогин)? Но, по известным оценкам, русское поместное дворянство на излёте исторической эпохи в большинстве своём отличалось грубостью нравов, вечным беспорядком, пьянством, развратом, отсутствием эстетически привлекательной формы. Где уж тут заиметь понятие об изяществе, благородстве и «красивости»...

В чём же тогда «некрасивость»? Какую именно «*некрасивость*» имеет в виду Ф.М. Достоевский? Возможный вариант: Ставрогин — «западный», нерусский человек? — См. Подготовительные материалы к «Бесам» («*идеологический комментарий*»). Там Князь прямо говорит, что «дворянство на Руси себя исчерпало».

«Спор Князя с Грановским.

Князь уверяет, что дворянин оказался ничем, Грановский же уверяет, что дворянин теперь всё — ибо в нём одном начало цивилизации и руководства» (11/129).

И ещё, — добавляет Князь, — «теперь вижу, что и всех виноватее и всех хужее мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы главная гниль, на нас главное проклятие и из нас всё произошло» (11/126).

Сам Ставрогин признаёт, что в происшествии с Матрёшей «было нечто, для страстей моих приятное». Что же именно он имеет в виду? Низость и самое буйное сладострастие, или же богоборческий вызов *небу*? Чем мог удовлетвориться Ставрогин? А может быть, здесь присутствует и то, и другое, одновременно и «крест», и «беси»?

Почему Ставрогин не может покаяться, почему, в конце концов, он отказывается смирить гордыню и искупить свои преступления подвигом *покаяния*? — *Судей своих презирает.* Не может не презирать, ибо если нет высшего Судии, то, стало быть, нет и его земного подобия. Высшего судии нет, нет и закона общего, а частному закону он подчиняться отказывается.

Ещё раз вернемся к известной оценке Достоевским творчества Виктора Гюго. Он потому и считал его наихристианнейшим писателем современности, что Гюго в своих произведениях не только вывел портретную галерею пороков и дал типологию человеческого падения. По мысли Достоевского, основная заслуга его — в том, что он наметил, показал пути нравственного возрождения падшего человека.

Ставрогин — это грешник, который страстно мечтает возродиться, но при этом напрочь отвергает путь покаяния. В основном, по причине «скуки» процесса и отсутствия привычки к систематическому труду души. Именно поэтому в любом случае Николая Ставрогина нельзя считать «действующим», «актуальным» христианином, таким, к примеру, как архиерей Тихон.

«Беси» Николая Ставрогина

Итак, «Крест» и «беси» Николая Ставрогина. По авторской ремарке Достоевского, «бесей ужасно много, изо всех болот налезли». («Беси веруют, и трепещут». Поминутно из-за креста выглядывают рожки бесей.)

В подготовительных материалах к роману Достоевский специально оговаривает, что в его повествовании орудуют не «бесы», то есть взрослые, самостоятельные, знающие свое дело (степенные, «точно чиновники»), а именно «беси»: недоросли, озорные, проказливые, «без царя в голове», от которых можно ждать что угодно. Обращает на себя внимание, насколько серьёзно Ставрогин и Тихон обсуждают проблему существования «бесей» и их *толкования*.

Принцип нравственного сладострастия, сформулированный ещё человеком «из подполья», гласит: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное положение, в котором приходилось мне бывать, а равно и смешное... вызывало у меня удовольствие». Механизм нравственного сладострастия основывается на ярком осознании низости и подлости своих поступков. В принципе, Ставрогин — один из ярчайших представителей галереи нравственных сладострастников. Но остаётся не разъяснённой фраза «...некрасивость убьёт, некрасивость преступления», которой Тихон *сражает* Ставрогина.

Если следовать логике нравственного сладострастника, то разве это сверхунизительное, сверхпозорное, а, главное, и смешное положение, в котором оказался Ставрогин, не должно было бы вызывать у него сладострастного наслаждения? В данном же случае всё наоборот. Камень преткновения — «аристократизм» Ставрогина.

Напомним два характерных «словца» Петра Верховенского: «Аристократ, когда идёт в демократию, обаятелен», и «Ставрогин, вы — красавец»! Петруша, как опытный ин-

триган и политический *проходимец* (по автохарактеристике), знает, что негативные идеологии могут быть успешны только в том случае, если они воплощены в эстетически привлекательные формы. В этом смысле Пётр Верховенский — это *ницшеанец до Ницше*. И именно «аристократизм» Николая Ставрогина, воплощённый эстетически, обрекает Николая Всеволодовича на то, чтобы быть объектом манипуляций (жертвой) Верховенского младшего.

В чём же дело? Кто из них (Ставрогин или Тихон) фальшивит, *подменяет подлинные мотивы на второстепенные*, неискренен?

Или всё-таки не любое позорное и низкое положение вызывает наслаждение? Или есть известный предел, дальше которого, больше которого не должна быть низость? Некий «порог низости», переступить который Ставрогин не может: действует *табу*. (Ведь отстрелил же на дуэли Ставрогин французу-виконту челюсть-то!) Напрашивается здесь и аналогия с Дмитрием Карамазовым: не только низок, но и благороден. Но тогда возникает сакраментальный вопрос: а кто устанавливает этот порог?

Или позор и низость вызывают смех тайный, внутренний, доступный только самому герою, невидимый окружающим, дарующий *сладострастное наслаждение*? А окружающим никакой смех не прощается и не допускается в принципе.

Как толковать автохарактеристику Ставрогина, когда он говорит о себе, что может «отставить» любое воспоминание о своих преступлениях, и в то же время он сам не хочет «отставлять», но, наоборот, сам вызывает эти воспоминания о Матрёше. Может быть, это — некая попытка принять бремя страданий? — Хотя едва ли. И именно потому, что «страдание» и «покаяние» — это не одномоментный акт. Это состояние может длиться годами. Не даром же Тихон предлагает

Ставрогину обет послушания у *старца* «такой христианской премудрости, что нам и не понять» на ближайшие *пять — семь* лет! Но вот вопрос: почему в итоге Ставрогин предпочитает всё-таки «вечное поселение» в кантоне Ури, а не послушание (временное, срочное) у старца?

Психологически Ставрогин — это тот человек, который выстрелил в образ и испытал весь смертный ужас после этого преступления — вызова. (См. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского за 1873 г.) Может ли быть что-либо более *страшное* для верующего (или ищущего веры) человека? Человека, который более всего, более жизни стремится уверовать? И не в этом ли состоит смертный ужас Матрёши, которая «*Бога убила*» (бога убила в себе, в своей личности и судьбе)?

Ставрогина, как и многих других героев Достоевского, «съела идея». К герою романа «Бесы» более всего подходит определение: «задумывающийся Ставрогин». Уже ко времени первого приезда Ставрогина в губернский город (когда ему было всего 25 лет!) произошли все главные события в его жизни.

Трагедия жизни и судьбы Ставрогина состоялась. Он приезжает опустошённым, равнодушным, «*мёртвым*». Жизнь началась и закончилась. Он не живёт, а доживает после центрального события своей жизни. Будущего уже не будет. Мысль разрешена. Временами только злоба приступами. (Крест захватили беси, которые кривляются, пороча его святость.)

Следует обратить внимание на то, что Ставрогин всё время или усмехается, или ухмыляется. В тексте постоянно встречаются эпитеты: «длинная улыбка», «кривая улыбка». Достоевский неоднократно подчёркивает, что Ставрогин не смеётся чистосердечным, весёлым, радостным смехом.

В течение романного действия Ставрогин лишь один раз рассмеялся, да и то на вечеринке у Липутина (10/41). (А каковы, интересно, взгляды Ставрогина на человека вообще?)

«*Бесы веруют и трепещут*», — записал Ф.М. Достоевский в подготовительной тетради к «Бесам». Правильно было бы союз «и» заменить на разделительный «но» или «да». То есть «бесы-то веруют, но и трепещут», — и бесы веруют, видят идеал, да трепещут, не следуют ему в жизни.

Случай со Ставрогиным — это не падение вообще, как и возрождение вообще, это исследование конкретного случая нравственного падения особого рода в результате непосильного бремени экспериментаторства. Следуя логике Достоевского, этот казус следовало бы поименовать «*бесовством экспериментаторства*».

Речь идёт о весьма своеобразном уклонении от идеала, когда «берега сходятся, все противоречия вместе живут». Дальше эту тему подхватит Дмитрий Карамазов, который много размышляет над этими «проклятыми» вопросами в завершающем романе Достоевского.

Проблема оказывается в том, что разделённые пропастью моральные полюса в пограничных ситуациях рядом стоят, между ними — *пропасть* и... только *один шаг*. Главный вопрос: почему так? Достоевский убеждён, что это — не «*онтологическое*» свойство самих моральных полюсов, это «*гносеологическое*» свойство личности, «штурмующей» эти полюса, «стягивающей» края пропасти, их разделяющие, до такой степени, что появляется возможность их просто *перешагнуть*.

Главное: то самое чувство, сильное, захватывающее, начало «эстетическое», которое в сущности есть самое что ни на есть этическое, о котором говорит Ф.М. Достоевский и которое только одно может послужить основанием беспрестанной деятельности, труда души, возрождающее нрав-

ственную силу, уберегающее от многочисленных уклонений, поднимающее человека. Это чувство — чувство огромной, бесконечной любви к образу Христа (по Достоевскому) — «*слово плоть бысть*», то есть идеал воплотившийся.

Таким образом оказывается, что и «подпольный человек» (1864), и Николай Ставрогин (1870), и Версилов (1874) ищут, — но не находят, а потому и не могут успокоиться, — одну и ту же основу, один и тот же «нравственно-философский камень» — сильное чувство. Все они пытаются найти способ, как искреннюю любовь к *идеально-реальной* личности Христа *распространить* на ближнего и сделать принципом своей повседневной жизни.

Николай Всеволодович Ставрогин — это герой нашего времени безверия, возжаждавший уверовать. Общая тема книги — *история* нравственных движений личности Николая Ставрогина, погружённая в контекст его религиозных исканий.

Для того чтобы раскрыть «загадку» романа «Бесы», необходимо ответить на совокупность вопросов:

— Кто такой Николай Всеволодович Ставрогин?

— Что движет Ставрогиным, в чем пружина, побудительный мотив, двигатель его судьбы?

— К чему больше тяготеет личность Ставрогина: к «Кресту» или к «бесям»?

— Почему Ставрогин не возродился личностно, не поднялся?

— Обречён ли был Ставрогин? Тема рока или судьбы в его биографии.

— Каков был идеал Ставрогина и что с ним случилось при соприкосновении с действительностью?

— Почему в конечном счёте для Ставрогина возрождение оказалось невозможно? Для таких, как Ставрогин? Что именно необходимо для их возрождения?

— Возрождение возможно для любого преступника против закона, совести и морали, но только до тех пор, пока этот человек не переступил такой-то и такой-то грани.

Какую запретную черту переступил Ставрогин? И *кто* установил эту грань?

— «Беси веруют и трепещут».

Во что они *веруют* и чего они *трепещут*?

— Когда Ставрогин идет к Матрёше, его бес «покусывает за пятку». Не само насилие его привлекает, а неожиданность, *новизна ощущений.* «Некрасивость» преступления убьёт Ставрогина (*Тихон*), а «красивость» — толкает на само преступление?

— Понимает ли читатель, наш современник, насколько глубока история Ставрогина?

Главное: «беси веруют и трепещут», то есть пламенная вера и в то же время цинизм. Идея-то хороша, а вот действительность, люди, которые исповедуют эту идею,...

— Для всякого ли человека в реальной жизни *открыта* дорога к праведности и святости?

Видел ли её сам Ф.М. Достоевский? Готов ли он был *подсказать* Николаю Ставрогину, в каком направлении её следует искать?

§2. История Ставрогина в литературе и философии: завершена ли дискуссия?

После выхода в свет романа Ф.М. Достоевского «Бесы» современники в большинстве своём увидели в нём исключительно несправедливую *пародию* на революционное движение в России. В такой трактовке романа главными действующими лицами оказываются, собственно, «бесы» — Пётр Степанович Верховенский и его «команда»: Липутин, Виргинский, Шигалёв, Лямшин и другие. А главным событием романной истории становится убийство Ивана Шатова (в реальности — студента Петровской академии Ивана Иванова). Отметим, что при подобном понимании замысла Ф.М. Достоевского философский роман превращается в *полицейскую хронику* преступлений Сергея Нечаева и его радикальных сподвижников-подельников.

Но с течением времени на передний план стали выходить сложнейшие смысложизненные, морально-философские вопросы, для рассмотрения которых, как стало ясно, и был написан роман писателем-провидцем. Вместе с переосмыслением проблематики романа менялось и понимание того, кому из действующих лиц принадлежат главные роли, а кому — второстепенные. К началу XX столетия пришло осознание, что главной фигурой *философского романа-эпопеи* является Николай Всеволодович Ставрогин.

Во многом переосмысление значения романа произошло благодаря трудам Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Д.С. Мережковского, Вяч.И. Иванова, К.В. Мочульского и других ярких представителей русской религиозно-философской

мысли конца XIX — начала XX столетий. Именно эти исследователи и интерпретаторы романа открыли его многомерность и религиозно-философскую глубину.

Вот характерное мнение Н.А. Бердяева: «Бесы — ... мировая символическая трагедия. И в этой символической трагедии есть только одно действующее лицо — Николай Ставрогин — и его эманации. Как внутреннюю трагедию духа Ставрогина хочу разгадать я «Бесы», ибо она доныне недостаточно разгадана. Поистине всё в «Бесах» есть лишь судьба Ставрогина, история души человека, его бесконечных стремлений, его созданий и его гибели. Тема «Бесов», как мировой трагедии, есть тема о том, как огромная личность — человек Николай Ставрогин — вся изошла, истощилась в ею порождённом, из неё эманировавшем хаотическом бесновании. ...

В чём же трагедия ставрогинского духа, в чём тайна и загадка его исключительной личности? Как понять бессилие Ставрогина, его гибель? Ставрогин остаётся неразрешимым противоречием и вызывает чувства противоположные. Приблизить к разрешению этой загадки может лишь миф о Ставрогине, как творческой мировой личности, которая ничего не сотворила, но вся изошла, иссякла в эманировавших из неё «бесах». Это — мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления» (Н.А. Бердяев. О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 47, 48).

По сути дела, в этом фрагменте содержится квинтэссенция понимания трагизма личности Николая Ставрогина в русской философской традиции. Суть его в том, что Ставрогин, будучи воплощением противоречия, «истощился» от «дерзновения на безмерные, бесконечные стремления», не знающие «границы». Весь вопрос теперь только в том, как

трактовать направление этих «стремлений». На что же они направлены?

Князь-Ставрогин пытается решить непосильную для смертного задачу — определить, во-первых, *где* пребывает абсолют, а во-вторых, постичь, *что* делает абсолют абсолютом. То есть, по мнению автора (Достоевского), Николай Ставрогин *незаконно* вторгается в метафизическую область, находящуюся *за пределами* «человеческого, слишком человеческого» понимания и разумения. И в этом смысле его *экспериментально-познавательную* попытку можно уподобить *человекобожескому прорыву* Алексея Кириллова в дерзновенной попытке «стать Богом». Обе попытки заведомо обречены на неудачу, поскольку постижение природы абсолюта является *божественной*, а не человеческой прерогативой.

Роману Ф.М. Достоевского «Бесы» и его главному герою, Николаю Ставрогину, посвящено огромное количество статей и монографий. Образ «аристократа духа», волей обстоятельств и логикой собственной судьбы оказавшегося в эпицентре буйства губернского «бесовства», досконально изучен, если не сказать, «*препарирован*». Но при всём при этом есть ряд узловых моментов, которые остаются дискуссионными и до сей поры вызывают ожесточённые споры. Остановимся на некоторых из них. (Глава «У Тихона», преступление над Матрёшей, Ставрогин как *моральный урод*, самоубийство Ставрогина).

9 глава «У Тихона»

Наиболее проблемным вопросом, по вполне понятным причинам, остаётся 9 глава романа «У Тихона», не вошедшая в окончательную версию романа. До сих пор она является предметом острых дискуссий исследователей.

Так, В. Ефремов, исследуя тему самоубийства в творчестве Достоевского (В.С. Ефремов. Самоубийство в художествен-

ном мире Достоевского. СПб.: «Издательство «Диалект», 2008. 584 с.), пишет: «Соглашаясь со многими исследователями творчества Достоевского, я считаю, что так как писатель в конце концов сам исключил главу «У Тихона» из текста романа, то «Исповедь Ставрогина» — это скорее «информация к размышлению», а не часть произведения, подлежащая непосредственному анализу...» (В. Ефремов. С. 465). Вопрос, однако, состоит не в том, чтобы «навесить» на Николая Ставрогина как можно больше преступлений, и при этом из разряда самых «некрасивых». И на этом основании окончательно отказать ему в праве на нравственную «реабилитацию».

Дело в том, что в «Исповеди» содержатся принципиально важные для понимания «бездны» Ставрогина итоги его самоанализа и самооценки. Отказываясь от 9 главы, мы автоматически отказываемся и от возможности исследовать эту морально-психологическую реальность Ставрогина. А, стало быть, теряем возможность хоть сколько-нибудь приблизиться к пониманию мотивов парадоксальных поступков Князя-Ставрогина. Наконец, мы утрачиваем образ архиерея Тихона, тонкого психолога и проницательного человековеда, который «пронзил» Ставрогина и своей подвижнической фигурой «сбалансировал» *христианский контекст* романа.

Именно поэтому К.В. Мочульский называл «выпавшую» главу «кульминацией в трагедии Ставрогина и высочайшим художественным созданием Достоевского». Ссылаясь на наличие двух её редакций (первоначальной, в которой история с Матрёшей представлена как реальный факт, и переделанной, где вся исповедь названа «болезненным продуктом, делом чёрта»), он писал: «Возможно, что Ставрогин из «страсти к угрызениям совести» выдумал всё происшествие и себя оклеветал» (К.В. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество. В кн.: Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 449).

В свою очередь, В. Ефремов полагает, что от переноса акцента с реально совершённого самого страшного преступления Ставрогина на его воображаемо-виртуальную проекцию суть дела не меняется: *преступление* и *мыслепреступление* по своим последствиям для Князя-Ставрогина *тождественны*. «Выдумка» с клеветой на самого себя весьма адекватно отражает духовное содержание этого персонажа, который от «вызова здравому смыслу» (его женитьба) и общепринятым нормам поведения (сцена в клубе и проч.) пожелал «бросить перчатку» самому Богу» (В. Ефремов. С. 449). (Но проблема «вызова здравому смыслу» в творчестве Достоевского — это особая тема, которая нуждается в очень подробном и тщательном комментировании...)

В порядке краткого комментария зададимся вопросом, а чем так уж плох «вызов здравому смыслу», которым будто бы «грешит» Ставрогин? И является ли «нестандартность» Николая Ставрогина *априори* негативной характеристикой? Во время ночного посещения домика в Заречье, где квартируют Лебядкины, лжекапитан с восторгом цитирует удачное *словцо* Ставрогина, согласно которому, «нужно быть великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла» (10/209). Иван Шатов также отдаёт должное Ставрогину, его способности к парадоксальным и нестандартным поступкам, которые недоступны другим, «обыкновенным» умам. И недаром в подготовительных материалах к роману Иван Шатов на контрасте назван «*надменным энтузиастом*», который поражает Князя своей «книжностью» и «безысходностью». Кстати, самого себя он называет «скучной книгой», «полунаукой» и «человеком без таланта». Но ещё важнее авторская позиция. В подготовительных материалах Князь спрашивает у Голубова, почему он не может «жить как все»? И Голубов отвечает ему: «потому что вы выше их».

Позволю себе ещё один риторический вопрос: а так ли уж Николай Ставрогин одержим манией «бросания перчаток самому Богу»? Это ведь совсем другая история. Он не бросает никаких *предметов* во Всевышнего. Ставрогин лишь пытается доступным способом прояснить для себя, существует ли *Он*, и мечтает получить от Него весточку — *залог.*

«Безусловно, сцена растления, последующее самоубийство Матрёши и поведение Ставрогина в процессе всего случившегося (если понимать их в соответствии с одним из возможных замыслов писателя как реальный факт) — показатель глубины нравственного падения персонажа. Однако и «выдумка» как своеобразный вызов Богу — также отражение духовной «мерзости», обнаруживаемой у Ставрогина «психологом» Тихоном, который находит «смешное» и в форме, и в сущности «Исповеди», предрекая, что «некрасивость убьёт» (В. Ефремов. С. 449).

Тем самым исследователь окончательно уравнивает преступление и намерение к его совершению.

«Сама по себе оценка святителем прочитанной им «Исповеди» с точки зрения эстетики знаменательна» (В. Ефремов. С. 449).

О какой «эстетике» идёт речь? О «началах эстетических», которые в данном случае выполняют роль *краеугольного камня*, на котором основываются моральные ценности? Но об этом очень подробно в подготовительных материалах рассуждает как раз... Князь-Ставрогин! Именно он в целях моральной пропедевтики разъясняет Шатову, как строится иерархическая система ценностей и какое место в этой системе занимает религиозная вера. На мой взгляд, это совсем не похоже на то, что «у Ставрогина нет стойкой системы убеждений» и что Князя едва ли можно рассматривать как «создателя философий». Любопытно, что во время «метафизической встречи» Ставрогина и Шатова последний подроб-

но пересказывает тезисы концепции Ставрогина, при этом разъясняя роль и значение «эстетического начала» в нравственной жизни человека.

«Если это вызов Богу... — развивает В. Ефремов свою мысль, — то само содержание «выдумки» важно для оценки «мерзости», поселившейся в сердце Ставрогина, пусть и в меньшей степени, нежели реально совершённые преступления, описанные в этих «листках». У этого персонажа отсутствие Бога в душе и «каноническая вера в беса» исключают какую бы то ни было эстетику построений богоборческого плана. Поэтому-то его и «не смущает мерзость»... реально совершённых или только «выдуманных» преступлений. Ставрогина, в отличие от Кириллова, уже «не мучает Бог» (В. Ефремов. С. 450).

Да, это правда, что Николай Ставрогин потерпел поражение в попытках «экспериментальным путём», методом «от противного» заставить обнаружить, проявить себя *Божественную волю*. Но это совсем не означает, что Ставрогина «не мучает Бог».

Если обратиться к подготовительным материалам романа (что довольно часто делает и сам В. Ефремов, но выборочно, используя лишь те цитаты, которые «работают» на его версию понимания Николая Ставрогина), то Князь в них не только соразмерен христианскому подвижнику Голубову, но и *превосходит* его глубиной постижения сущности христианского подвига. Другое дело, что в каноническом тексте романа христианские характеристики Князя-Ставрогина присутствуют в «снятом» виде. А по другому и быть не могло, — иначе художественный образ Ставрогина не получился бы таким объёмным, *стереометрическим*. (Напомню, что Достоевского волновало, насколько образ Николая Ставрогина выходит *живой*, насколько он лишён *ходульности*.)

В качестве ещё одного аргумента в пользу версии о Ставрогине-«оборотне» В. Ефремов ссылается на мнение само-

го Достоевского: «Основная мысль документа — страшная, непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной кары. А между тем эта потребность креста — всё-таки в человеке, не верующем в крест...» (12/108).

Всё верно, эта цитата говорит о том, что у Ставрогина есть потребность кары, но при этом он лишён веры в Крест. Но для Николая Ставрогина именно эта *«разность потенциалов»*, этот непреодолимый для него метафизический *зазор* между «карой» и «крестом» и является его собственным, индивидуальным, персональным *Крестом!* Который и суждено ему с тяжестью и мукой до его последнего пристанища — чердачной каморки в господском доме в Скворешниках.

О Ставрогине-идеологе

В. Ефремов комментирует работу Л.П. Гроссмана «Спешнев и Ставрогин», в которой маститый достоевсковед обосновывает в соответствии с принципом *комплиментарности* «необходимость» присутствия в романе *идеолога* в лагере «бесей»: «Рядом с буйно-деятельными устроителями кружков, пятерок, заговоров и убийств в центре романа недвижно стоит этот всеподчиняющий создатель разрушительных философий, взрывающих целые миросозерцания и смертельно отравляющих души своей духовной паствы» (Л.П. Гроссман. Спешнев и Ставрогин. В кн.: «Бесы»: Антология русской критики. М.: Согласие, 1996. С. 618).

В. Ефремов не соглашается с мнением Л.П. Гроссмана и намеренно «понижает» роль и значение Ставрогина-идеолога: «не вызывает сомнений, что зерна идей (включая и «смертельно отравляющие») были внесены Ставрогиным в те или иные «души» героев романа, но вряд ли его следует считать «создателем философий».

В отличие от «теорий» («философий») Шатова, Кириллова, Шигалёва и даже самого Петра Верховенского (при всей

примитивности его построений) как раз у Ставрогина и нет ни одной хотя бы приближающейся к целостности системы взглядов. По крайней мере, из текста романа или подготовительных материалов к нему это не следует. В черновиках романа можно прочесть: «Окончательное: Князь не имеет, однако же, особенных идей...» (11/131) (В. Ефремов. С. 462—463).

«Ставрогин раскрывается только в диалогах и тех или иных поступках».

«Маленький фрагмент письма Ставрогина Даше хорошо показывает не только отношение персонажа к революционному движению, но и к любым идеям вообще...» (В. Ефремов. С. 463).

Но вот с подобной трактовкой, наверное, самого интеллектуального героя Достоевского я принципиально не согласен! Напротив, именно Николай Ставрогин в романе является *Главным идеологом*, основным, как сейчас принято говорить, «креативщиком». Как легко видеть из внимательного прочтения романа, практически все основные мировоззренческие, *смысложизненные* концепции либо были прямо «подсказаны» Ставрогиным, либо были развиты учениками из его посылок.

(Отметим, что большинство современных авторов полагают, что герои Ф.М. Достоевского имманентно являются *идеологами*. Но их мировоззренческая *глубина* раскрывается не идеологическими, но литературно-художественными средствами: «Посредством образов и метафор, посредством определённых модельных ситуаций и сюжетных ходов происходит у Достоевского движение идей. Создание подобной эстетической схемы мышления, подобного, не побоимся этого слова, метода философствования, — новаторство Достоевского. И если Бахтин отмечает новаторство Достоевского в создании новой романной формы, то справедливо будет отметить и новаторство Достоевского в создании

новой формы философствования». — Мехед Г.Н. Проблема человека в этике и эстетике Ф.М. Достоевского // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Социальные науки», 2013, № 4 (32). С. 143.)

Впрочем, об *идеологической* составляющей образа Князя-Ставрогина речь пойдёт дальше. Мы специально остановимся на этом предмете. Но в качестве небольшого замечания отметим, что Достоевский *поделился* с Николаем Всеволодовичем своими самыми сокровенными мыслями и идеями. Что, в свою очередь, указывает на степень *доверительности* отношений автора и его героя. Не забудем, что Князя-Ставрогина Достоевский всё-таки «*из сердца взял своего*».

Женитьба на Хромоножке

Ещё один дискуссионный момент — женитьба Николая Ставрогина на Марье Лебядкиной (к этой теме мы также будем неоднократно обращаться). К.А. Баршт в монографии «Повесть безвременных лет (о романе Ф.М. Достоевского «Бесы») СПб.: Изд. Группа «Окно», 1994) пишет: «то, что Ставрогин женился на Лебядкиной в «пьяном виде» или «на пари» — лишь удобное для света объяснение, простая отговорка, в которую нам трудно поверить. На самом же деле женитьба Ставрогина на юродивой Марье Тимофеевне — это трудная и почти героическая попытка найти жизненно необходимую нравственную опору, спастись добрым, сочувственным вниманием к себе; выйти из этого ада, в котором он оказался после совершённых им убийств. Однако счастливый итог брака «Иван Царевича» с «Василисой Прекрасной» не удался. Для того чтобы этот уход к Христу через венчание с христианской юродивой удался, Ставрогину нужно было бы самому уверовать» (Баршт С. 105—106).

К этому стоит лишь добавить, что после заключения брака супруги расстались и не виделись более четырёх лет.

Поэтому, какими бы мотивами ни объяснялся этот морганатический брак, «христианское» значение его неизбежно оказалось ослабленным.

Но В. Ефремов оспаривает не степень глубины христианских чувств Ставрогина к Лебядкиной, он фактически отрицает само *христианское качество* мотивов женитьбы Николая Всеволодовича на юродивой Хромоножке.

«...следует сказать, что в их приглашении (Лизы и Даши. — *Н.М.*) на роль «сиделок» (к Лизе после проведённой вместе ночи, к Даше — в предсмертном письме) христианские мотивы совсем не звучат. «Спасение» не выглядит здесь как обретение веры, а скорее — как житейски понятное нахождение «тихой гавани», в чём сам герой, однако, выражает сомнение» (В. Ефремов. С. 475).

«Ни поведение самого Ставрогина, ни поступки Лизы или Даши, названных «христовыми невестами», никак не связаны с религиозными мотивами, что позволяет выразить большие сомнения в возможности гармонии этих людей «во Христе». Но и женитьбу на юродивой Марии Лебядкиной вряд ли следует понимать как спасение и путь обретения веры. В подготовительных материалах Достоевский пишет о Князе: «Обновление и воскресение для него заперто единственно потому, что он оторван от почвы, следственно, не верует и не признаёт народной нравственности. Подвиги веры, например, для него ложь. Отвлеченное же понятие об общечеловеческой гуманной совести на деле несостоятельно» (11/239) (В. Ефремов. С. 475).

И ещё:

«Мне представляется, что сравнение Шатовым факта женитьбы и случая с «прикушенным ухом губернатора» правомерно и в наибольшей степени соответствует объяснению поведения героя как «вызов здравому смыслу». «Позор и бессмыслица, доходящие до гениальности» — это не просто эпа-

тирующие выходки скучающего и ищущего новых ощущений человека, но именно выход за грань общепринятых и божеских, и человеческих законов и норм, по другую сторону добра и зла. Это стремление и попытка жить без каких-либо нравственных абсолютов и моральных ограничений. Если Раскольников ещё только пытался с помощью «весьма жёсткого эксперимента» узнать, «тварь ли» он «дрожащая» или «право имеет», то для Ставрогина этот вопрос уже решён самим автором романа, который, создавая «взятого из сердца» героя, видел и беспредельные возможности человека, и связанные с этим опасности» (В. Ефремов. С. 476).

Не могу не прокомментировать данный постулат В. Ефремова. В том-то и дело, что Ставрогин не только не пытается «жить без каких-либо нравственных абсолютов и нравственных ограничений», но, напротив, пытается их сформировать, буквально «вылепить» из *своего духовного ничего*. Но ему нужны «залоги» веры, без которых он отказывается видеть в абсолюте «абсолют».

О Ставрогине-нигилисте

«При рассмотрении сравнительных оценок нигилизма Ставрогина, данных Ницше... и самим Достоевским, Ю.Н. Давыдов в отношении характера «любовной страсти» рассматриваемого здесь персонажа пишет: «Это уже не садизм в точном смысле, поскольку здесь исключён гедонистический элемент. Более того, мы можем констатировать, что в том садизме, который Ницше предписывает «последовательному нигилисту» (пытаясь найти его и у Ставрогина), уже исчез и чувственно-познавательный момент. Осталось «чисто метафизическое» любопытство. Какую гадость, какую мерзость способен один человек причинить другому? Или иначе. Насколько неисчерпаема бездна зла, которую открыл в себе нигилистический человек (ницшеанский «до

конца последовательный» нигилист)?» (Ю.Н. Давыдов. Этика любви и метафизика своеволия (проблемы нравственной философии). М.: Молодая гвардия, 1989. С. 174).

Не претендуя на полноту обобщения существующих типов интерпретации образа Николая Ставрогина в литературе, отмечу наиболее очевидные:

«Ставрогин — моральный урод» (В. Ефремов),

«Николай Всеволодович — нигилист» (Ю. Давыдов),

«Николай Ставрогин — христианский подвижник» (К. Баршт).

Дискуссионной в литературе остаётся и тема взаимоотношений Николая Ставрогина с «бесовским воинством». В. Ефремов ссылается на мнение одного из самых известных представителей русского символизма и выдающегося его теоретика Вячеслава Иванова, который писал, что «он (Ставрогин. — *Н.М.*) нужен злым силам своей личиной, нужен как сосуд их воли и проявитель их действия, своей же воли у него уже нет». «Изменник перед Христом, он не верен и Сатане. Ему должен он представить себя как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль лже-Царевича, который бросит в народные массы пламя восстания» (Вяч.И. Иванов. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М.: Искусство, 1995. С. 392).

Можно понять Вячеслава Иванова, который в пылу эстетствующего *максимализма* приписывает Ставрогину именно те стремления, от которых он *по мере сил* отбивается, говоря своё твёрдое и окончательное «нет» главному искусителю — Петру Верховенскому. Кстати, эта сцена по мастерству изображения напоминает евангельское описание искушения Христа злым духом-Сатаною в пустыне.

И «бес» Верховенский «бьётся в бессильной злобе», ибо ни к самозванству, ни к роли «Иван-Царевича» *соблазнить*

Ставрогина он не может. Значит, всё-таки Николаю Всеволодовичу достаёт воли, чтобы лично противостоять бесовским силам! Но зачем Владимир Ефремов наделяет Николая Ставрогина качествами, которых он лишён? В трактовке самого сложного персонажа Ф.М. Достоевского, да и всей русской литературной классики (с чем, кстати говоря, В. Ефремов соглашается) никакие, даже малейшие, *натяжки* и *несоответствия* недопустимы. *Не следует из Ставрогина делать злодея большего, чем он есть на самом деле!*

«По мнению В. Иванова, изменяя всем и всему, Ставрогин и вешается «как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье» (В. Ефремов. С. 480—481).

«Пройдя весь путь «нигилиста» до конца, до отрицания общечеловеческих норм морали, не обретя никакой «новой веры» взамен отвергнутой «старой», этот персонаж должен был, в конце концов, обнаружить, что его жизнь лишена какого-нибудь смысла. Несмотря на все его «метания», «опора» и «цели» так и не были найдены» (В. Ефремов. С. 507).

В. Ефремов справедливо констатирует отсутствие «позитивного» смысла в жизни Ставрогина. Но в жизни «аристократа духа» присутствует и смысл *негативного примера*. Судьба Николая Ставрогина является наглядным уроком того, какие *установленные запреты* нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Даже в целях их экспериментального подтверждения (*верификации*).

В работе «Трагедия своеволия (образ Ставрогина)» Г.В. Бамбуляк и О.Н. Осмоловский пишут: «Отталкиваясь от возможных воплощений, Ставрогин не считает себя грешником, окончательно погрязшим в грехе или кающимся грешником, который мог бы стать святым. Он не атеист, но

и не богоискатель, хотя в его воле выбрать любой из этих путей» (Г.В. Бамбуляк, О.Н. Осмоловский. Трагедия своеволия (образ Ставрогина). В сб.: Литература и время. Кишинев: Штиница, 1987. С. 126—127).

О самоубийстве Ставрогина

«С одной стороны, это показатель глубины нравственного падения героя, его духовного содержания. По мысли Достоевского, то, что совершил Ставрогин в отношении Матрёши, является его «казнью», наступившей задолго до его добровольного прекращения собственной жизни. С другой стороны, упрощённое понимание самоубийства этого персонажа в соответствии с описанным в «Исповеди» преступлением (согрешил — раскаялся — наказал себя) никак не объясняет фразу в эпиграфе из его последнего письма о «великодушии» и отсутствии «отчаяния» ... (В. Ефремов. С. 455).

«Самоубийство Ставрогина намечалось автором уже на стадии замыслов о том, что будет делать Князь и как он кончит свою жизнь. Речь нигде не шла о крахе каких-то взглядов, несостоятельности тех или иных идей, разочаровании в них. У Ставрогина нет какой-либо стойкой системы убеждений. Те или иные идеи, даже подводящие человека к самоубийству, как у Кириллова, или переустройству общества, как у Верховенского или Шигалёва, не способны стать «бременем» для этого героя. Это же относится и к его «любви», в которой на первый план выступает «экспериментально-познавательный», а не чувственный компонент «любовных страстей» (В. Ефремов. С. 511).

По этому поводу есть два замечания. Первое: В. Ефремов отказывает Ставрогину в наличии у него «стойкой системы убеждений» только потому, что Николай Всеволодович предпочитает публично не раскрывать свои задушевные убе-

ждения. «Аристократ духа» не склонен «метать бисер» перед невежами — гордость не позволяет. Прослушав курс философии в Геттингене, свою *философскую систему* он никому не предлагает в систематическом изложении. Скорее, его привлекает *пример Сократа*, который в диалогах с учениками совместно постигал истину. А, значит, по логике В. Ефремова, если Ставрогин замалчивает свои убеждения, значит, их у него просто нет.

Второе замечание. В романе устами одного из героев (Федька Каторжный) прямо говорится о том, что человек — это текучая и изменчивая субстанция, вечно пребывающая в движении: «Пётр Степанович — астроном и все божии планиды узнал, а и он критике подвержен. Я пред вами, сударь, как пред Истинным... Пётр Степанович — одно, а вы, сударь, пожалуй что и другое. У того коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. ... Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, оченно легко жить на свете, потому он человека сам представит себе да с таким и живёт» (10/205).

Если, по автохарактеристике, эти слова справедливы по отношению к самому Федьке Каторжному, то ещё с большим основанием они характеризуют психологическую подвижность и динамичные изменения мотивов поступков Николая Ставрогина! Здесь амплитуда колебаний морально-психологического маятника просто *зашкаливает*. В том-то и дело, что Ставрогин только «по вторникам и средам» — грешник и «Гришка Отрепьев», а «по четвергам» он — «Князь», «великий праведник» и христианский подвижник!

Практически все исследователи творчества Достоевского (в том числе и В. Ефремов) согласны в том, что образ Николая Ставрогина формировался постепенно в процессе

работы над романом и претерпел значительные изменения. И масштаб этих изменений личности Князя-Ставрогина сопоставим с амплитудой его колебаний в окончательной версии романа.

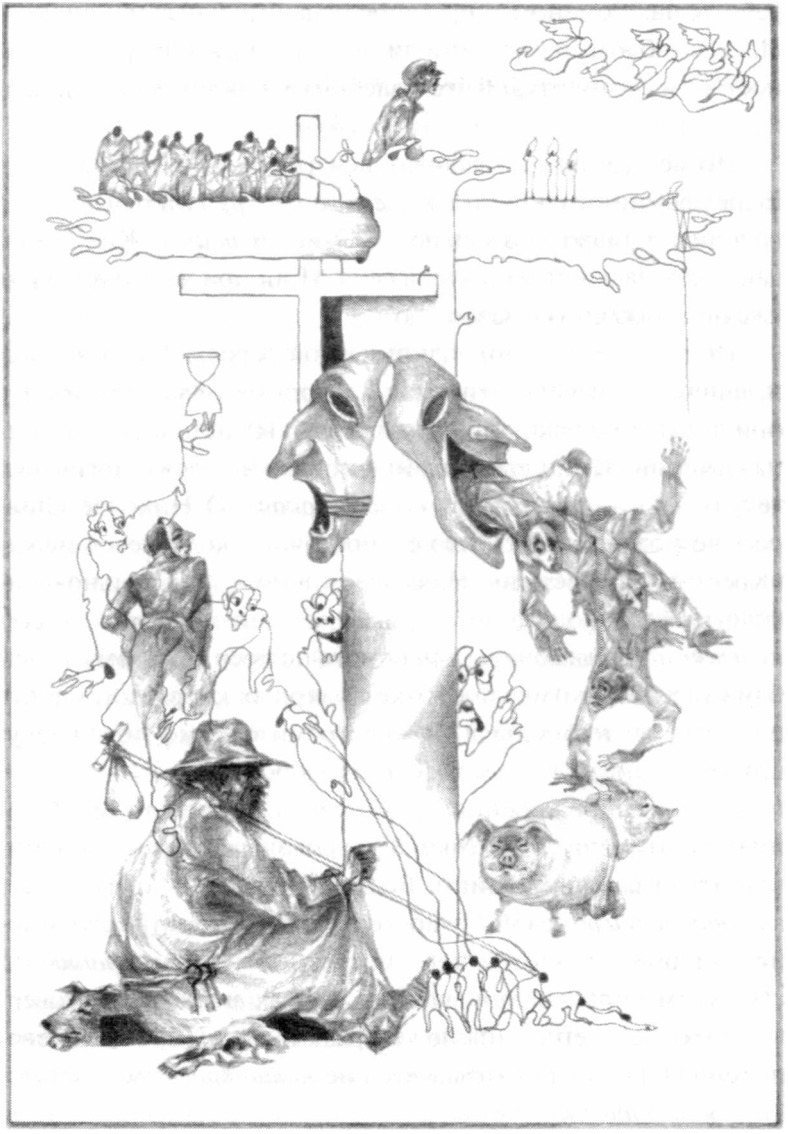
Но всё же ряд исследователей (и, опять же, Владимир Ефремов) понимают *символическую фигуру* Николая Всеволодовича Ставрогина исключительно *статично*. Как некую данность, замкнутую сама на себя. И ни при каких условиях уже не способную к развитию.

Полагаю, что сущностной чертой героев Достоевского, и, в первую очередь, Николая Ставрогина, является то, что они постоянно находятся в движении. Их отличает личностная динамика, они чрезвычайно подвижны, психологически текучи. У них отсутствует «*масса покоя*». О Николае Ставрогине можно сказать, что он постоянно колеблется между «Крестом» и «бесями». Наиболее точно эти морально-психологические колебания передаёт механизм *маятника, бесконечно раскачивающегося* от одного полюса к другому. И чем ближе герой находится к точке полярных координат одного из полюсов, тем больше центростремительные силы влекут его в обратном направлении. И наоборот...

Подчеркнём коренное различие интерпретаций. В нашем понимании, Николаем Ставрогиным движут подлинные христианские мотивы. Ещё раз отметим: «Бесы» — это *христианский роман* Ф.М. Достоевского, и в центре его находится герой, который хочет и пытается быть *Христианином*.

Таким образом, при всех оговорках и нюансах, совершенно определённо можно утверждать, что Николай Всеволодович Ставрогин оказывается не *Анти-Христом*, а *неудавшимся Христом*.

Что называется, почувствуйте разницу!



§3. Событийно-Хронологический Комментарий

Отметим, что у каждого героя романа — *своя хронология*, свой событийный ряд. Поэтому для каждого из них необходимо выстроить свою «хронологическую» реальность и «поместить» в свою временную Вселенную. Хроникёр (рассказчик) выстраивает своё повествование, «нанизывая» события на временную ось Степана Трофимовича Верховенского. Это вполне объяснимо, поскольку Хроникёр является членом кружка Степана Трофимовича и оказывается участником событий провинциальной хроники ровно настолько, насколько он вовлечён в мир «отставного профессора».

Итак, приступим по порядку. О рождении и происхождении старшего Верховенского практически ничего не известно. Судя по всему, он является выходцем из разночинной среды. «Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил как парижанин» (10/16).

Однако следует отметить, что один из самых колоритных персонажей романа, Федька Каторжный, являлся бывшим дворовым человеком Степана Трофимовича. Последний, как известно, в клубе проиграл его в карты. Стало быть, Степан Трофимович Верховенский владел дворовыми людьми, то есть, по всем признакам, принадлежал к дворянскому сословию: был (малопоместным) помещиком. Собственно, никакого секрета здесь нет. Сельцо и земельку Степан Трофимович получил в качестве приданого, женившись на

одной «легкомысленной девице из нашей губернии», и «кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к её содержанию...» «Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына» ... «Птенца ещё с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался всё время на руках каких-то отдалённых тёток, где-то в глуши» (10/11). (Исходя из ряда обстоятельств, первая супруга Степана Трофимовича умерла в 1847 году.)

Хроникёр не указывает, где и какое образование получил Степан Трофимович, но, вероятнее всего, он закончил Московский университет (недаром в тексте есть упоминание о том, что одно время имя Степана Трофимовича упоминалось наравне с именем профессора Т.Н. Грановского), а затем совершенствовался в познаниях в Германии. Очевидно, что он приготовлялся к университетской карьере.

Стремительно начавшаяся и столь же быстро прервавшаяся профессорская карьера Степана Трофимовича в университете была отмечена написанием капитального исследования «о благородстве рыцарей». За шесть лет до этого в Берлине, судя по всему, в студенческие годы им была написана романтико-элегическая поэма. Примечательно, что когда волей случая через несколько лет в рукописном списке она была перехвачена в Москве, то её сочли за проявление «вольнодумства». По этому поводу Степан Трофимович вынужден был объясниться «где надо», и затем всю оставшуюся жизнь полагал, что находится под тайным надзором полиции.

Степан Трофимович Верховенский начинал свою научную и педагогическую карьеру лектором на кафедре в университете. Это происходило в самом конце 40-х годов, после его вступления в повторный брак (во второй раз он женился на «берлинской немочке»), когда Степан Трофимович

вернулся из-за границы. «Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах» (10/8).

После скоропостижной смерти и второй жены (с которой он прожил менее года) Степан Трофимович принял, наконец, предложение генеральши и богатой помещицы N-ской губернии Варвары Петровны Ставрогиной и стал воспитателем её единственного сына — Николая Ставрогина. На этот момент Ставрогину было 8 лет. (Таким образом, Николай Всеволодович Ставрогин, ориентировочно, 1840 года рождения.)

В первый раз место воспитателя было предложено Верховенскому-старшему после смерти его первой жены. Но тогда он отклонил это заманчивое предложение и занял место на кафедре. (Одним из мотивов, в конечном счёте побудивших Степана Трофимовича предпочесть всё-таки предложение Варвары Петровны, стали, по-видимому, европейские события. Революционные выступления «смущали» кабинетного мыслителя. Вернуться в Европу для продолжения университетской карьеры Степан Трофимович не захотел. В тексте романа какие-либо намёки на эту тему отсутствуют. Но и Хроникёр, от имени которого ведётся повествование, стал общаться со старшим Верховенским лишь десять лет спустя, в самом конце пятидесятых.)

Как отмечает Хроникёр, с этого момента установилась «классическая дружба» Степана Трофимовича и Варвары Петровны Ставрогиной «с лишком на двадцать лет», то есть дружба этих двух выдающихся жителей губернского города простиралась вплоть до начала 70-х годов. Но, ретроспективно, очевидно, что какие-то отношения и раньше связывали Степана Трофимовича и Варвару Петровну. Ведь не случайному же и совсем постороннему ей человеку предлагала она занять место воспитателя своего единственного сына! Однако Хроникёр умалчивает об обстоятельствах знакомства

Верховенского и Ставрогиной. Фактически все эти двадцать лет Степан Трофимович Верховенский пользовался правами члена семьи Ставрогиных и находился под покровительством своего «прозаического друга».

Николая Ставрогина «по шестнадцатому году повезли в лицей», то есть, он покинул отчий дом в 1855 году. Этот год — год смерти его отца, генерала Всеволода Николаевича Ставрогина, скончавшегося по пути к месту службы в действующую армию в Крым.

«Первые два года приезжал на вакации» (из лицея), то есть летом 1856 и летом 1857 годов. Последний раз до известных событий в Петербурге Ставрогин приезжал в родные пенаты в 18-летнем возрасте. В следующий раз он появится в родном городе только через 7 лет.

Губернские обыватели воспринимают Степана Трофимовича как отставного «профессора», который вследствие «вихря» сошедшихся (политических) обстоятельств вынужден был оставить университетские занятия и войти в дом Варвары Петровны Ставрогиной на правах «воспитателя» молодого Ставрогина.

Между тем помощник губернатора Лембке Блюм, наведя необходимые справки о Верховенском-старшем, выяснил, что «он был... всего лишь доцентом, и по чину всего только коллежский асессор при отставке, ... знаков отличия не имеет, уволен из службы по подозрению в замыслах против правительства. Он состоял под тайным надзором...» (10/283).

Отношения двух друзей за двадцать лет несколько раз подвергались испытаниям.

В 1855 году, сразу после кончины генерала Всеволода Николаевича Ставрогина, в мае месяце, произошла сцена в павильоне, у окна, распахнутого в цветущий сад. Это был

период, когда Варвара Петровна, ставшая вдовой, пыталась осмыслить своё новое положение и определить своё будущее. Очень может быть, что в этот момент у Степана Трофимовича был шанс завоевать в «дружеском» сердце Варвары Петровны совсем другое положение. По крайней мере, именно так впоследствии полагал Верховенский-младший.

Через десять лет Степан Трофимович рассказывал Хроникёру о «тонкости момента» их взаимоотношений с Варварой Петровной в то время. По его словам, тогда она не была для него только «прозаическим другом». Это романтическое мгновение Степан Трофимович вспоминал ещё в середине шестидесятых годов. То есть хронологически это довольно близко к периоду пребывания Николая Всеволодовича в губернском городе (как известно, Ставрогин прожил там полгода *до* болезни, а затем лечился *до весны*, итого, провёл в городе около восьми месяцев. Затем, то есть весной 1866 года, он уехал в заграничное четырёхлетнее путешествие).

Другой памятной для Степана Трофимовича (а, значит, и для его близкого конфидента, Антона Лаврентьевича) хронологической вехой стало появление у Варвары Петровны «заезжего барона» из Санкт-Петербурга 13 лет назад (от момента происходящего действия). То есть этот казус имел место примерно в 1857 году. Это — отдельный событийный сюжет.

Суть его в том, что Варвара Петровна очень дорожила своими немногими оставшимися «высокими» связями и знакомствами. И на отношения с этим бароном возлагала определённые надежды. Степан Трофимович, как человек европейского образования и учёности, должен был *изящно* подчеркнуть «столичный» статус пребывания Варвары Петровны и её окружения в провинциальном городе. Но этих надежд Варвары Петровны Верховенский не оправдал. Отсюда — и её убийственная реплика: «Я вам этого никогда не

забуду». (Кстати, эмоциональность реакции Варвары Петровны на «неудачу» Степана Трофимовича могла быть вызвана тем, что она рассчитывала с помощью барона «*непринуждённо*» ввести Николая Всеволодовича в высший свет. Летом 1857 года Николай Ставрогин как раз гостил дома «на вакациях».)

К моменту происходящих событий Степану Трофимовичу исполнилось 53 года (по характеристике Хроникёра, это был «пятидесятилетний младенец»). Таким образом, Верховенский-старший родился около 1817 года. Разница в годах между воспитателем и воспитанником составляет более 20 лет.

В конце 50-х в обществе наступило предчувствие реформ. У чувствительного к общественным переменам Степана Трофимовича открылась «хандра» и жажда «деятельности». Тем более что его воспитанник уже «вылетел из гнезда».

«В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны Степан Трофимович всё ещё помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьёзно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл» (10/20). По-видимому, обязанность образовывать и воспитывать молодого Ставрогина в какой-то степени ещё стимулировала творческую активность «профессора». Затем необходимость в этом отпала, и жажда творчества угасла.

Эти события происходят ровно через десять лет после начала «служения» у Варвары Петровны.

Параллельно Николай Ставрогин тогда же (конец 50-х годов) заканчивает курс наук в петербургском лицее и поступает в гвардейский кавалерийский полк.

«Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если воз-

можно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь» (10/20—21). Очевидным мотивом такого решения могло быть желание находиться в Петербурге рядом с сыном, наблюдать и, при необходимости, способствовать его «успехам» в высшем свете. Другое дело, что по не зависящим от неё причинам данный проект не состоялся.

Тем не менее Николай Ставрогин в Петербурге посещал те общественные мероприятия, «литературные вечера», которые устраивала его мать, Варвара Петровна, и воспитатель, Степан Трофимович Верховенский. Очевидно, что на этих «литературных вечерах» и в этих петербургских салонах молодой Ставрогин приобретал необходимый опыт общения и знание «света».

Степан Трофимович через 9 лет вспоминал «слезы умиления», пережитые им на одном из литературных вечеров, где ему, как бывшему «известному профессору» и «общественному деятелю 40-х годов», столичная экзальтированная публика устроила чуть ли не овацию. В самом конце 50-х про него вспомнили, и он снова ощутил свою востребованность к «общественному служению».

«Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Всё, однако, к Великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал ещё отвратительнее» (10/21).

После наступившего фиаско на поприще общественного служения (попытка издавать журнал, открыть «прогрессивный» литературный салон и т.п.) в Петербурге и Москве Степан Трофимович уехал за границу «отдохнуть».

Поездка в Европу пришлась на 59—60 гг. и продолжалась 4—5 месяцев («Но погулял он немного, четырёх месяцев не

выдержал и примчался в Скворешники». — 10/25). После возвращения из зарубежного турне еще на 9 лет установилось относительно спокойное «общее житие» в Скворешниках. Исходя из деталей, легко высчитать, что Степан Трофимович путешествовал по заграницам (Европа) в возрасте классического акмэ (44 года).

Разочаровавшись в «общественном служении», Варвара Петровна сосредоточилась на хозяйственной деятельности и существенно подняла доходность своего имения. Именно тогда Степан Трофимович стал называть её своим «прозаическим другом». «После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила в городском своём доме, а летом в подгородном своём имении» (10/26).

Возвращаемся в конец 50-х, начало 60-х годов. Николай Ставрогин вышел из лицея и поступил в военную службу. Перед молодым человеком открывались блестящие перспективы. Но далее последовали разнузданные кутежи и особо циничные безобразия. Две дуэли с тяжёлыми последствиями. Он оказался виноват в обеих. Последовали суд и разжалование в солдаты. Каковы мотивы этих «ужасных» поступков молодого Ставрогина, подававшего столь блистательные надежды? — Они остаются за гранью понимания Хроникёра. И, следовательно, читателя, поскольку о событиях семейной хроники Ставрогиных мы узнаём только благодаря летописи Хроникёра, Антона Лаврентьевича Г-ова.

В 1863 году Николай Всеволодович «отличился» (в Польше) и получил офицерский чин. Всего в солдатской шинели и под ружьём он провёл около двух лет. Затем уволился и вышел в отставку. Но к матери в губернский город не приехал. Начался период «насмешливой жизни» Ставрогина в Петербурге. Если сопоставить известные данные, оказывается, что

«насмешливой» версией жизни Николай Всеволодович «наслаждался» около года.

Как отмечает Хроникёр, особенно сильное влияние Варвара Петровна имела в губернском обществе последние 7 лет, вплоть до смены губернатора. То есть начиная с 1863 года. Хронологически это совпадает с «отличием» Николая Ставрогина в польской военной кампании, получением «крестика» и производством его в офицеры за проявленную храбрость. Таким образом, оказывается, что влияние Варвары Петровны достигло своего максимального значения именно тогда, когда младший Ставрогин, участвуя в боевых действиях, «смыл» свои юношеские шалости «кровью».

«Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно и задолго ещё начали осушать в честь его тосты. Это было ещё давно-давно, тогда ещё не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович ещё жил в одном доме с Варварой Петровной» (10/31). Но, стало быть, к этому времени Хроникёр уже вошёл в круг общения Верховенского-старшего.

Хроникёр отмечает в своей летописи, что через три года после Манифеста об освобождении заговорили «о национальности» и что в губернии зародилось «общественное мнение», то есть эти события происходят в середине 60-х годов. Примерно в это же время Николай Ставрогин впервые приезжает в губернский город.

Вообще, по поводу Хроникёра, Антона Лаврентьевича, следует заметить, что он вошёл в круг контактов Верховенских-Ставрогиных сразу после 1858 года, но до Манифеста императора Александра II от 19 февраля 1861 года. Первые два года молодой Ставрогин приезжал из лицея домой на вакации. Но тогда с Хроникёром они не пересекались. С дру-

гой стороны, после известных «испытаний» Николай Ставрогин согласился на просьбу матери приехать в губернский город. «Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал» (10/37).

Первый приезд Николая Ставрогина в город произошёл, когда ему было около 25 лет, то есть в 1865 году, и произошло это, если верить его Исповеди (всё та же 9 глава!), вскоре после «казуса с Матрёшей». Молодой человек имел внешность «законченного джентльмена». Прожил в губернском городе полгода. Затем наступила катастрофа. «Волк показал (оскалил) зубы».

Одним из самых важных является вопрос, встречался ли Николай Ставрогин с архиереем Тихоном во время своего первого приезда в губернский город? В силу известных обстоятельств, Достоевский вынужден был впоследствии «убрать» из канонического текста романа любые возможные намёки на такую встречу. Но в самой 9 главе они были оставлены, поскольку уже было принято решение о её невключении в окончательный вариант текста романа.

О «загадочности» Ставрогина говорит хотя бы тот факт, что его личность, мотивы его поведения и основные жизненные цели оказываются абсолютно закрыты от матери. Для Варвары Петровны Ставрогиной сын действительно является сфинксом: «Сын явился пред нею теперь как бы в виде какой-то новой мечты».

«А между тем она очевидно боялась его».

«Заметно было, что она боялась чего-то неопределённого, таинственного, чего и сама не могла высказать...»

«Варвара Петровна была ужасно поражена».

«Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил». На самом деле проблема состоит не в *нежелании* Николая Всеволодо-

вича что-либо «объяснять», а в том, что он ничего объяснить и *не может*. Это — проблема отсутствия «онтокоммуникации» между сыном и матерью — невозможности общения по поводу самых важных для человека *метафизических* сущностей. Что мог бы сказать ей Николай Ставрогин? О чём с ней поговорить? Как он смог бы объяснить матери *мотивы* своих поступков? Поэтому единственно возможный в такой ситуации ответ — это молчание. Но на самом деле молчание Ставрогина весьма красноречиво.

Впечатление о себе как о «сфинксе» Николай Ставрогин производит не только на Варвару Петровну, но и на окружающих. Характерна реакция губернатора, Ивана Осиповича, который пребывает с семейством Ставрогиных в родственных отношениях. «Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника».

«Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль». После дерзких выходок Ставрогина в клубе и в губернаторском доме поведение Ставрогина расценили как «наглое оскорбление всему нашему обществу...»

«Полагаю, что за гордость его ненавидели».

«И вот теперь всё опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите!»

«Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде».

«...но любопытно, что и он (Иван Осипович) считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке».

«Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьёзен и несколько даже мрачен». Но внешние проявления «серьёзности» выздоровевшего Ставрогина не убедили губернскую общественность. «Право, некоторые у нас так и остались

в уверенности, что негодяй просто насмеялся над нами, а болезнь — это что-нибудь так».

Второй раз в городе Ставрогин появляется «четыре года спустя», то есть ко времени событий романа Николаю Ставрогину около 30 лет.

«Наш принц путешествовал три года с лишком...

Европа, Египет, Иерусалим, учёная экспедиция в Исландию; одну зиму слушал лекции в одном немецком университете». Напомним читателю, что, по заметкам самого Николая Ставрогина, он прослушал лекционный курс по философии в университете в Геттингене. А на Афоне, у «святых старцев», выстаивал восьмичасовые всенощные. (Возвращаясь к дискуссии об *искренности* желания Ставрогина уверовать, казалось бы, зачем ему эти всенощные восьмичасовые афонские стояния, если он индифферентен к проблемам веры? Очевидно, что эти поступки выводят Ставрогина за рамки стандартных туристических программ.)

События основного романа начинаются с того, что Варвара Петровна получила письмо от своей старинной подруги. «Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своём Прасковья Ивановна, — с которою Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь...» (10/46), намекала на то, что за границей между её дочерью и сыном Варвары Петровны наметились романтические отношения.

Если вписать историю отношений двух старинных подруг-пансионерок в общий хронологический контекст, то окажется, что их отношения прервались «восемь лет назад», то есть где-то в 1862 году. Но в это время Николай Ставрогин уже был разжалован в солдаты и изгнан из гвардии!

Очевидно, что Прасковья Ивановна даже теоретически не могла допустить, чтобы её единственная подрастающая дочь Лиза (которой на тот момент было 14 лет) в будущем могла составить пару для эксцентричного Николая Всеволодовича Ставрогина. Теперь же Лизе Тушиной (Дроздовой) исполнилось 22 года, и она — завидная невеста на выданье.

Получив столь важные известия от своей пансионной подруги, Варвара Петровна решила лично проконтролировать ситуацию и, в любом случае, исключить в дальнейшем какие-либо случайности. «В половине апреля — Париж, и потом, — в Швейцарию. Вернулись в июле. Дроздовы ожидались в конце августа». Таким образом, основные события «провинциальной хроники» разворачиваются осенью. И хотя Хроникёр прямо не обозначает месяц, когда Николай Всеволодович вернулся в город, судя по всему, это произошло в сентябре.

После возвращения из-за границы Варвара Петровна, посвящая Степана Трофимовича в интригу, которая завязалась в Швейцарии и в центре которой оказалась Лизавета Николаевна, заметила, что Николай Ставрогин ей обещал «непременно приехать к нам в ноябре». Необходимо совершенно точно разобраться с этой путаницей в календарных датах. В дальнейшем станет понятно, насколько важны для понимания внутренней интриги романа время года и месяц, в течение которых происходили основные события.

В это же время в Париже, а затем в Швейцарии Ставрогин близко сошёлся с рядом персонажей романа. Так, у него завязались близкие отношения с Марьей Игнатьевной Шатовой (женой Ивана Шатова). Параллельно он вступает в близкие отношения с Дарьей Павловной Шатовой, сестрой всё того же Ивана Шатова. Там же он встретил Петра Степановича Верховенского.

«В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы» (10/53).

«Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока» (10/55). Таким образом, если изначально Николай Всеволодович планировал появиться в губернском городе только в *ноябре* месяце, то теперь, по просьбе матери, должен был приехать в *октябре*. А на самом деле Ставрогин появляется в *сентябре*. Именно поэтому его возвращение оказалось *неожиданным* для всех, кроме Петра Степановича Верховенского.

Вообще, исходя из текста, довольно трудно рассчитать, сколько времени длится кульминация событий романа. От конца августа, когда в город вернулось семейство Дроздовых, через сентябрь («роковое воскресенье») и возвращение Николая Ставрогина, «стрела романного времени» направлена к поздней осени, когда происходят основные события романа и наступает развязка.

Итак, события памятного воскресенья, когда завязалась основная интрига романа, происходят в *сентябре*. По-видимому, во *второй половине* месяца. В 1870 году воскресные дни в сентябре приходились на 18 и 25 числа месяца. Скорее всего, события «рокового» воскресенья происходят именно 18 сентября. Тогда первый выход Николая Ставрогина в город после событий воскресенья пришёлся на понедельник 26 сентября.

Скрытая подсказка содержится в беседе Петра Верховенского с «Великим писателем», Кармазиновым. На вопрос последнего, когда бы в России, к примеру, могли бы случиться события, «о чём замышляют» (нигилисты), Верховенский-младший отвечает, что «к началу будущего мая начнётся, а к Покрову всё кончится» (10/289). Можно полагать, что, проецируя планы будущего на текущие события,

Петруша намеревался организовать «судорогу» в губернском обществе, взяв за ориентир праздник Покрова Богородицы, то есть 14 октября. По крайней мере, именно эту дату можно рассматривать как рабочую гипотезу. Этот день приходится на пятницу.

Если исходить из гипотезы про «*Покров*», то на подготовку всех «мероприятий» у Петруши Верховенского имелось времени всего-навсего около месяца! Следует отдать должное организационным талантам подпольщика и профессионального политического провокатора Петра Степановича Верховенского.

Повествуя о жизнеописании Николая Всеволодовича Ставрогина, Хроникёр затрагивает несколько весьма «тонких» и деликатных тем. В частности, «у нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его (Марья Шатова. — *Н.М.*) некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже, и именно *года два* тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, — правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве» (10/112). (Не могу удержаться от замечания, а в чём «неясность» этого слуха, тем более, если он «достоверный»?)

Отметим, что Хроникёр, как правило, очень точен в сообщении хронологических вех и деталей событий провинциальной хроники. Но в данном случае он ошибается. Или не говорит всей правды, которую может и не знать. Поскольку Марья Игнатьевна Шатова родила ребёночка в начале октября, то, следовательно, последний физический контакт её с Николаем Ставрогиным состоялся не позже января текущего, 1870 года. То есть уж точно не два года назад.

Мизансцена возвращения Николая Ставрогина на *передний план* драматического действия романа выстроена авто-

ром виртуозно. Его появление подготовлено Хроникёром, подробно, в деталях изложившего биографию путешествующего «принца Гарри». И основной вопрос, который с неизбежностью встаёт перед лицами, вовлечёнными в историю Ставрогина, — изменился ли он *духовно* за прошедшие четыре года? И не задаст ли кто-нибудь, как и четыре года назад, сакраментальный вопрос: «Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? ... Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду?»

На это же *тревожное* ожидание предстоящего возвращения Николая Всеволодовича работают говорящие детали.

Характерен образ Варвары Петровны, «засвеченный» Хроникёром как раз в «роковое воскресенье»: «Одна лишь Варвара Петровна была скромно и по-всегдашнему одета во всё черное; так одевалась она в продолжение последних *четырёх* лет» (10/121). Не является ли даже стиль одежды Варвары Петровны неким символом, *знаком горькой* материнской памяти о тех пугающих обстоятельствах, которые сопровождали визит её сына, Николая Ставрогина, в предыдущее посещение губернского города?

Не менее выразителен и образ Хромоножки, появившейся на воскресной церковной службе и мгновенно ставшей центром внимания губернского общества. «Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголённою длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком тёмном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный *сентябрьский* день...» (10/122).

И на этом мрачно-выразительном фоне *контрастом* выглядит развернутая характеристика впечатлений Хроникёра о *теперешнем* Николае Всеволодовиче Ставрогине. «По-ви-

димому, он был всё тот же, как и *четыре* года назад: так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Лёгкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна; взгляд так же строг, задумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его «походило на маску», как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, — теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не оттого ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел? Или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?» (10/145).

Какая «новая мысль» могла «светиться» во взгляде у Ставрогина? Какие принципиальные решения для себя он принял? Если верно предположение о главной цели его приезда в губернский город, то мог ли он подобным образом *предвосхищать* свою встречу с архиереем *на покое* Тихоном? Хроникёр — внимательный наблюдатель. Большую часть информации о душевном состоянии и внутренних мотивах Ставрогина мы узнаём именно от него. И на фоне «сумеречного» состояния духа, в котором постоянно пребывает Николай Всеволодович, замечание о «светящейся новой мысли» заслуживает внимания.

Вообще, позиция Хроникёра-Наблюдателя чрезвычайна важна для сохранения целостности повествования, единства времени и места повествовательного пространства романа.

«Как хроникёр, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными» (10/55—56).

О хронологии «нового романа»

Итак, попытаемся внести ясность и полную определённость в последовательность событий романной истории о Николае Всеволодовиче Ставрогине. В воскресенье (возможно, 18 сентября) в городском доме Варвары Петровны Ставрогиной собралось довольно значительное общество. В этот день произошли следующие памятные события:

— встреча Варвары Петровны в церкви с Хромоножкой;

— «бенефис» Лебядкина;

— внезапное появление Петра Степановича Верховенского;

— явление «обновлённого» Николая Всеволодовича Ставрогина;

— «разоблачение» Степана Трофимовича Верховенского его сыном, Верховенским-младшим («чужие грехи»), и последовавшее за этим «отлучение» Варварой Петровной Ставрогиной «профессора» от дома;

— пощёчина Шатова Николаю Ставрогину;

— обморок Лизаветы Николаевны. Занавес.

После воскресной завязки сюжет романа стал развиваться стремительно. Существенное ускорение своей энергией ему придал Пётр Степанович. Всего за четыре дня (к 22 сентября) Пётр Верховенский перезнакомился со всем городом. Во вторник (после воскресенья) — он сопровождает в коляске Артемия Павловича Гаганова, злейшего врага Николая Ставрогина в губернском обществе.

В среду Пётр Степанович «забежал» к отцу. В пятницу он уехал куда-то в уезд и пробыл там до понедельника (то есть, возможно, до 26 сентября). И так происходит по нарастающей, вплоть до кульминации и драматической развязки.

Как известно, через восемь дней после воскресных событий, то есть, возможно, 26 сентября, в понедельник, Ни-

колай Всеволодович в первый раз по приезду в губернский город вышел из дома, чтобы провести ряд встреч.

Но до того, как он вышел из дома, к нему забежал Пётр Степанович. Ему было необходимо увидеть Ставрогина, в том числе и для того, чтобы «объясниться» по поводу воскресных событий: «Отправляясь сюда, ... в этот город, десять дней назад, я, конечно, решился взять роль» (10/175).

«Кстати, я всё ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос... Ах да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю — вся так и сияет. Это что же?

— Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься» (10/178). Разговор происходит в понедельник вечером. Следовательно, Ставрогин обещал Варваре Петровне посвататься к Лизе до следующего воскресенья, то есть к 1 октября (суббота). Правомерен вопрос, если он говорит *серьёзно*, то как он собирается «распорядиться» с Хромоножкой? И, сообщая эту новость Петруше Верховенскому, неужели Ставрогин не понимает, что тем самым он даёт своему «бесу-искусителю» дополнительный рычаг для давления (и не только психологического)?

Итак, вечером в понедельник Николай Ставрогин побывал у инженера Алексея Кириллова, в доме Филиппова.

Там же он встретился с Иваном Шатовым.

Перейдя по понтонному мосту на другой берег и столкнувшись с Федькой Каторжным, поздно ночью Ставрогин навестил семейство Лебядкиных, квартировавшее в Заречье.

На следующий день, 27 сентября, днём, в два часа пополудни, состоялась дуэль между Николаем Всеволодовичем Ставрогиным и Артемием Павловичем Гагановым. Заметим,

что Пётр Степанович Верховенский узнал об этой дуэли лишь постфактум. И это обстоятельство по каким-то причинам очень сильно его расстроило.

А ещё через день, 28 сентября, на праздновании именин супруги предводителя дворянства «нашей губернии» собрался цвет общества. Генерал, один из «самых осанистых членов нашего клуба», открыл для обсуждения интересовавшую всех тему: «Роль и значение Николая Всеволодовича Ставрогина как представителя дворянского сословия, в губернском обществе».

В связи с таким «плотным графиком» встреч и контактов Николая Ставрогина возникает всё тот же «центральный» вопрос: когда он побывал на исповеди у Тихона? В день дуэли с Гаганoвым? Естественно, что до самого события дуэли. Как отмечает Хроникёр в своих записках, Николай Всеволодович появился у стен Спасо-Ефимьевского монастыря около половины одиннадцатого утра. Чтение старцем Тихоном исповедальных листков Ставрогина продолжалось около часу. Вся встреча максимально могла уложиться в период до двух часов. Таким образом, теоретически Николай Всеволодович мог успеть *совместить* два этих мероприятия, поскольку дуэль была назначена на два часа пополудни. В таком случае особое настроение Николая Ставрогина во время дуэли объясняется морально-психологическими последствиями его встречи с Тихоном.

Водоразделом, после прохождения которого события приобрели необратимый характер, стал *Праздник по подписке*. «День праздника, задуманного Юлией Михайловной по подписке в пользу гувернанток нашей губернии, уже несколько раз назначали вперёд и откладывали» (10/248).

Следует напомнить, что Юлия Михайловна приехала в губернский город в самом конце августа, практически од-

новременно с Дроздовыми. Скорее всего, идея праздника по подписке в пользу «недостаточных гувернанток» была своего рода «домашней заготовкой» новой губернаторши. Она предполагала новыми веяниями «всколыхнуть» губернию, продемонстрировать городским обывателям столичный характер новых «губернских правителей». Кроме того, вероятно, здесь подспудно присутствовал мотив *соперничества* с предыдущей «правительницей», управлявшей губернией, Варварой Петровной Ставрогиной, которая была известной меценаткой и благотворительницей.

Вообще, есть несколько «узловых» точек в событийном ряду, которые, в силу своей неопределённости, не позволяют выстроить непротиворечивую хронологическую схему.

Первая точка, — события «рокового воскресенья», с которого, собственно, и начинается действие нового романа. Про этот знаменательный день известно, что он — сентябрьский и воскресный. Однако, только основываясь на этом указании Хроникёра, однозначного варианта хронологии выстроить не получается.

Вторая точка, — праздник, который столь долго готовился Юлией Михайловной и её командой, и который послужил кульминацией, развязкой большинства сюжетных линий романа.

Третья точка, — финальное странствие Степана Трофимовича. Начало его «привязано» к событиям *наутро* после праздника. А вот концовка «плавает» во времени. Между тем именно от этой датировки во многом зависит определение временных параметров завершающей сцены романа, в том числе прощание с миром гражданина кантона Ури, Николая Всеволодовича Ставрогина.

Но самое важное — это то, что первая и вторая точки жёстко не привязаны друг к другу. То есть между ними мо-

жет существовать хронологический сдвиг, в результате чего сохраняется временная неопределённость.

Читатель, естественно, может задаться вопросом: а так ли уж важны для понимания событий романа и мотивов его действующих лиц хронологические детали? Ну не один, а два месяца происходили романные события: на что это могло бы повлиять и что в содержании *исторической* повести о Ставрогине изменилось бы в итоге?

На самом деле от точной датировки событий романа зависит довольно многое. — Динамика развития сюжета и психологическая насыщенность действия. Скорость протекания психологических реакций действующих лиц романа. А следовательно, и достоверность поступков героев. Морально-психологическая *обоснованность* движущих ими мотивов.

В качестве примера приведём эпизод с губернатором Лембке. Он происходит *после* хлопотного для Петра Степановича Верховенского дня (основные события этого дня: посещение Петрушей губернатора, встреча с Кармазиновым, вечером этого же дня — совместный поход со Ставрогиным к «нашим» и, наконец, выяснение отношений со Ставрогиным).

Наверняка можно утверждать, что день выезда губернатора Лембке на природу, в пригородное имение Ставрогиных Скворешники был ещё *сентябрьским.*

«Кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу, но только что стали подъезжать к господскому дому, он вдруг велел повернуть и везти опять в город. ... Не доезжая городского валу, «они мне велели снова остановить, вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле; думал, что по какой ни есть слабости, а они стали и начали цветочки рассматривать... Так показывал кучер. Я припомнил в то утро погоду: был холодный и ясный, но ветреный *сентябрьский* день; пред зашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстилался су-

ровый пейзаж обнажённого поля с давно уже убранным хлебом; завывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших жёлтых цветочков...» (курсив мой. — *Н.М.*) (10/341).

В этот же день состоялось объяснение Николая Всеволодовича с Маврикием Николаевичем. Сразу после этого эпизода Ставрогин и Верховенский-младший и направились к «нашим».

На *следующий* день — Степана Трофимовича «описали». В этот же день в губернаторском доме, в ситуации, когда Степан Трофимович с губернатором Лембке *пересеклись* с кампанией Юлии Михайловны, вернувшейся из поездки в Скворешники, Николай Всеволодович делает *публичное объявление* о своём браке с Марьей Тимофеевной Лебядкиной, известной в губернском городе Хромоножкой.

Таким образом, губернский праздник состоялся сразу после того дня, когда Степана Трофимовича *описали*.

Именно в день праздника, после утренних литературных чтений, где так ярко отметились Кармазинов, Степан Трофимович и «безумный» профессор из Петербурга, Лизавета Николаевна бежала к Николаю Всеволодовичу в Скворешники.

«Слуги были грустны и говорили о Лизе с какою-то особенною почтительностью; её любили. Что она погибла, погибла совсем, — в этом я не сомневался, но психологической стороны дела я решительно не понимал, особенно после *вчерашней* сцены с Ставрогиным» (курсив мой. — *Н.М.*) (10/384). Таким образом, между признанием Николая Ставрогина о тайном браке и побегом Лизаветы Николаевны проходит всего *один* день!

В разговоре Петра Степановича с Юлией Михайловной также проскальзывают некоторые хронологические детали.

«По-моему, ничего не произошло, ровно ничего такого, чего не было прежде и чего не могло быть всегда в здешнем городе. Какой заговор? Вышло некрасиво, глупо до позора, но где же заговор? Это против Юлии-то Михайловны, против ихней-то баловницы, покровительницы, прощавшей им без пути все их школьничества? Юлия Михайловна! О чём я вам долбил весь *месяц* (курсив мой. — *Н.М.*) без умолку? О чём предупреждал?» (10/379). Таким образом, Пётр Верховенский подтверждает, что со времени его приезда и вплоть до состоявшегося *Праздника* события романа укладываются в *месячный* срок. Добавим ещё неделю, в течение которой завершились основные сюжетные линии, и получаем *пять недель* романного времени. «Бесы» — хронологически очень *компактный* роман Достоевского.

«Но к Липутину я не зашёл, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких объяснений: не сходит ли он *сегодня* к Марье Тимофеевне? На это Шатов выбранился, и я ушёл. Записываю, чтобы не забыть, что в *тот же вечер* он нарочно ходил на край города к Марье Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашёл её в возможно добром здоровье и расположении, а Лебядкина мертвецки пьяным, спавшем на диване в первой комнате. Было это ровно в девять часов» (курсив мой. — *Н.М.*) (10/385).

Зачем Хроникёр просил Шатова посетить Марью Тимофеевну именно в день *Праздника*? С какой конкретно целью? Считал ли Антон Лаврентьевич, что Лебядкиным может угрожать какая-нибудь опасность, особенно *после* того, как Николай Всеволодович публично объявил о своём браке с Хромоножкой (*буквально накануне Праздника)?*

На следующее после праздника утро (после ночного убийства сестры и брата Лебядкиных) Петра Верховенского

многие видели. «Он был в чрезвычайно возбуждённом состоянии». В два часа пополудни он забегал к Гаганову. (10/413).

«Около двух часов разнеслось вдруг известие, что Ставрогин, о котором было столько речей, уехал внезапно с полуденным поездом в Петербург. Это очень заинтересовало; многие нахмурились. Пётр Степанович был до того поражён, что, рассказывают, даже переменился в лице и странно вскричал: «Да кто же мог его выпустить?» Он тотчас убежал от Гаганова. Однако же его видели ещё в двух или трёх домах.

Важный вопрос, *до* или *после* известия об отъезде Ставрогина Верховенский «забежал» к Гаганову? Если после, — то он мог забежать с целью получить хоть какую-нибудь информацию о Ставрогине. Как у единственного человека в городе, продолжающего упорно ненавидеть Николая Всеволодовича. И замотивированного на предоставления любой информации, могущей создать Ставрогину дополнительные проблемы или трудности.

«Около сумерек он нашёл возможность проникнуть и к Юлии Михайловне, хотя и с величайшим трудом, потому что та решительно не хотела принять его. ... Она не сообщила подробностей, но заметила с содроганием, что он «изумил её тогда сверх всякой меры». Полагаю, что он просто напугал её угрозой сообщничества, в случае если б ей надумалось «говорить» (10/414—415).

Вечером этого же дня, то есть в день *побега* Степана Трофимовича и *гибели* Лизы, у Эркеля собрались «наши» во главе с Петром Степановичем. Именно в этот вечер к Шатову вернулась его жена, Марья Игнатьевна Шатова.

Среди прочего, кроме «отчёта» членов пятёрки об их участии в известных скандальных *событиях*, Пётр Степанович выдвинул на повестку дня собрания вопрос о дальнейшей судьбе Шатова. Верховенский изложил свой план. «Он состоял в том, чтобы завлечь Шатова, для сдачи находившейся

у него тайной типографии, в то уединённое место, где она закопана, завтра, в начале ночи, и — «уж там и распорядиться» (10/419). То есть, по плану Петруши Верховенского расправа над Шатовым должна была состояться через день после ночного пожара, убийства Лизаветы Николаевны и отъезда Николая Ставрогина. (Отметим, что с момента отъезда Ставрогина Пётр Верховенский считает себя свободным от всяких обязательств перед *Князем*, в том числе и в связи с Шатовым.)

Сразу после совещания у «наших» Пётр Степанович и Липутин отправились к Алексею Кириллову, чтобы удостовериться относительно его намерений совершить «идейное самоубийство» в указанный подпольщиками момент и взять ответственность за совершённые ими преступления на себя.

Ещё на следующий день — убийство Шатова и самоубийство Кириллова (которое произошло ночью). А ещё через день — утром дня, следующего за «шатовским» убийством, отъезд Верховенского из губернского города. Таким образом, Петруша Верховенский покинул город на третий день после злополучного *Праздника для недостаточных гувернанток нашей губернии.*

Далее хронологическая «привязка» событий романа происходит уже по событиям «*хроники странствий*» Степана Трофимовича.

Степан Трофимович отправился в своё странствие наутро после произошедшего пожара в Заречье, то есть на следующий день после праздника и буквально за полчаса до гибели встретившейся ему на пути Лизаветы Николаевны. И в день отъезда из губернского города полуденным поездом Николая Ставрогина.

В течение светового дня на попутной крестьянской телеге он добрался до села Хатово, а затем на нанятой бричке уже в компании книгоноши Софьи Матвеевны в село Устьево,

откуда предполагался переезд на пароходе до села Спасово, близ которого располагался известный монастырь. Там, в Устьево, в проезжей избе он и заночевал. В этой избе он и слёг с тяжелым заболеванием. Можно сказать, что там он и обрёл последнее пристанище. Для Степана Трофимовича село Устьево стало *толстовской станцией Астапово*.

«Для Софьи Матвеевны наступили два страшных дня её жизни» (10/496).

На второй день, в Устьево, Софья Матвеевна читала Степану Трофимовичу из Евангелия.

На третий день Степан Трофимович впал в беспамятство. Так продолжалось вплоть до приезда Варвары Петровны.

Всего Софья Матвеевна провела с тяжело больным Степаном Трофимовичем три бессонные ночи.

Анисим, некогда бывший в услужении у старшего Гаганова человек, вернувшийся в город, на следующий день побывал в доме у Варвары Петровны, таким образом открылись подробности «бегства» Степана Трофимовича.

Варвара Петровна отправилась на поиски своего «бежавшего друга», видимо, на следующее утро после убийства Шатова, то есть в день отъезда Петра Степановича. Отсутствовала она (по болезни Степана Трофимовича) всего «дней восемь».

Степана Трофимовича причастил и соборовал местный священник. Это произошло наутро, после тяжёлой ночи и ночного консилиума доктора Зальцфиша, которого Дарья Павловна по приказанию Варвары Петровны привезла из города в карете поздно ночью.

Степан Трофимович Верховенский скончался через три дня после пребывания в беспамятстве.

Утором того дня, который последовал за вечерним убийством Ивана Шатова и ночным самоубийством Алексея Ки-

риллова (день, в который Варвара Петровна отправилась на поиски Верховенского-старшего), Марья Игнатьевна, не дождавшись мужа, подняла тревогу. Обстоятельства смерти двух американских *друзей-путешественников* стали известны начальству очень скоро.

«К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича» (10/509).

«Замечу, что Варвара Петровна, рано утром и не зная ни о чём, выехала для поимки Степана Трофимовича» (10/509).

«Тело отыскали в пруде в тот же день, к вечеру, по некоторым следам» (10/509).

На другой день всё открылось благодаря Лямшину, который «не вынес» (там же).

Весь день после убийства Шатова он «пролежал в постели, отвернувшись к стене и не говоря ни слова, почти не отвечая, если с ним заговаривали. Он ничего, таким образом, не узнал во весь день из происходящего в городе» (10/509).

На следующий день «просидел он, однако, взаперти почти до полудня и — вдруг побежал к начальству» (10/510).

«Он объявил всё, всё, рассказал всю подноготную, всё, что знал, все подробности...» (там же).

«В тот же день, разумеется, арестовали и Виргинского...» (там же).

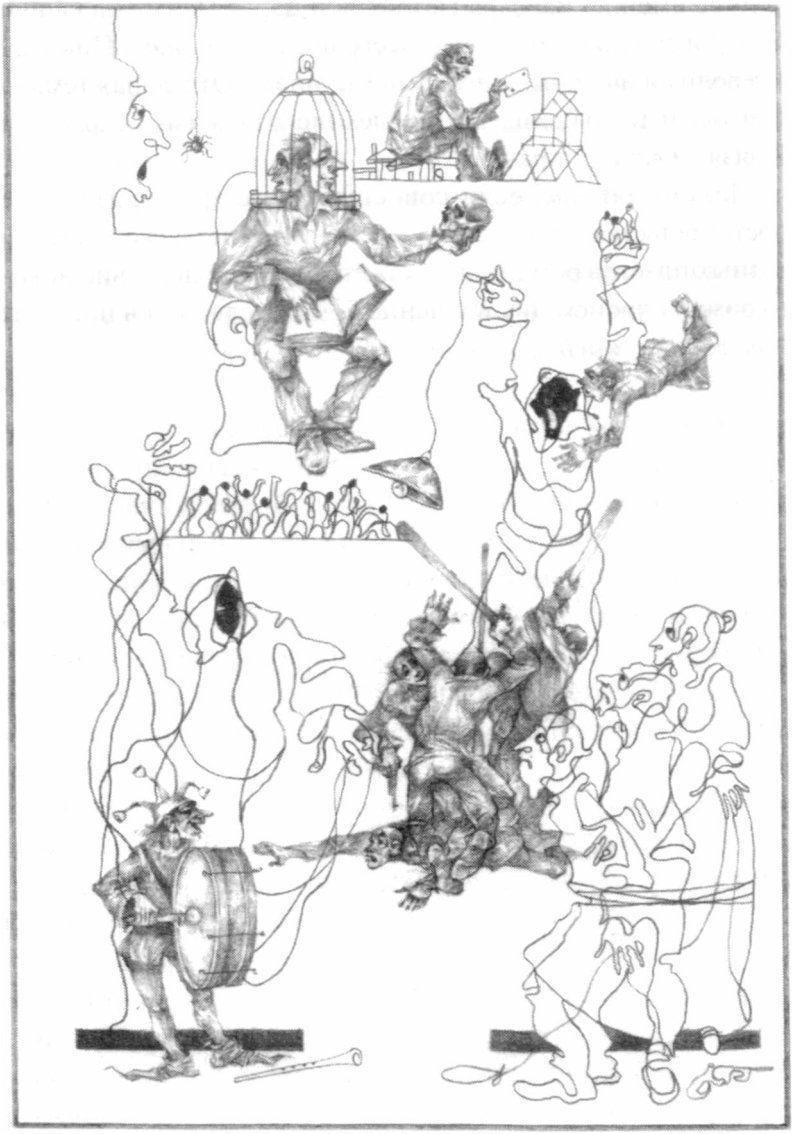
«Липутина арестовали в Петербурге, где он прожил целых две недели» (10/512).

Когда Варвара Петровна с Дарьей Павловной по прошествии *восьми дней* вернулись в город, то на имя Дарьи Павловны было получено письмо от Николая Всеволодовича с приглашением отбыть вместе с ним в кантон Ури.

Но на следующий день пришло неожиданное известие, что Николай Всеволодович внезапно вернулся в Скворешники и «заперся на своей половине». Срочно выехав в заго-

родное имение, Варвара Петровна и Дарья Павловна нашли Ставрогина повесившимся. Всего после *Праздника* Николай Всеволодович прожил *одиннадцать* дней. (Отдельная тема — чем были наполнены эти последние дни жизни «красавца Князя» и «аристократа духа».)

Таким образом, если сопоставить все хронологические обстоятельства и сложить временные периоды течения разных пластов романа, то окажется, что всё действие нового романа происходит в течение 5—6 недель, или в пределах полутора месяцев.



§4. Князь-Ставрогин как идеолог. Комментарий

Помимо изобилия остросюжетных поворотов роман «Бесы» буквально пронизан идеологическим контентом. «Идеологизированность», точнее, насыщенность литературно-художественных текстов идейным, концептуальным содержанием, является особенностью творчества Ф.М. Достоевского как писателя. Поэтому некоторые идейные конструкты, содержащиеся в романе, нуждаются в комментировании.

Тем более что главный герой романа, Николай Всеволодович Ставрогин, на большинство персонажей оказывает мощное *идеологическое* воздействие. Что, кстати говоря, совершенно «опрокидывает» имеющее хождение экспертное мнение об идеологической «пустоте» или «нейтральности» Ставрогина, его неспособности продуцировать идеологемы или создавать «философские системы».

В подготовительных материалах к роману содержится несколько пластов материалов идеологического, или мировоззренческого характера.

Условно их можно объединить в несколько тематических блоков.

Самый крупный — «*философско-исторический*». Князь (прообраз Николая Ставрогина) и его собеседники, Шатов, Голубов, Грановский (прообраз Степана Трофимовича Верховенского), Нечаев (прообраз Верховенского-младшего) и другие рассуждают о движущих силах истории, оценивают современное состояние общества. Рассматривают проблему взаимоотношений России и Запада. Эти материалы стыкуются с концепцией «народа-богоносца», которую в романе развивает Иван Шатов, опираясь на тезисы Николая Ставрогина.

Другой блок вопросов концентрируется вокруг *«философско-нравственных проблем»*. Самыми значимыми из которых оказываются проблема обоснования морали, рассматривается вопрос о возможности личной нравственности, критериях и условиях моральности. Здесь же присутствует «человекобожеская» теория Алексея Кириллова.

Наконец, третий блок вопросов, едва ли не самый значимый, затрагивает проблематику *религиозной веры*. Христианство как носитель цивилизационного начала. Взаимоотношения религии и морали. «Эстетическое чувство» как основание морального поступка. Роль и значение образа Иисуса Христа в моральной жизни человека. Беседы Князя с Голубовым. Князь как христианский подвижник.

Обратимся к первоисточнику.

а). Концепция «народа-богоносца» Ивана Шатова

Начнём с того, что Шатов ожидал Ставрогина после известных событий в доме Варвары Петровны Ставрогиной (события «рокового воскресенья») совсем не для прояснения личных отношений, хотя в первом душевном порыве «для самозащиты» он даже приобрёл у Лямшина револьвер. На самом деле Шатов ждал Николая Всеволодовича для того, чтобы получить ответы на свои «метафизические» вопросы. Поэтому и степень значимости этой встречи возрастает до «метафизического» уровня.

«Я вас слишком давно ждал, я беспрерывно думал о вас. Вы единый человек, который бы мог... Я ещё из Америки вам писал об этом» (10/195).

Из долгого ожидания и нервного стресса проистекает и крайняя степень эмоционального напряжения.

«Я уважения прошу к себе, требую! — кричал Шатов. — Не к моей личности, — к чёрту её, — а к другому, на это только время, для нескольких слов... Мы два существа и сошлись

в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу... Опять вы улыбаетесь вашею брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймёте меня! Прочь барича! Поймите же, что я этого требую, требую, иначе не хочу говорить, не стану ни за что!» (там же).

Кого Шатов именует «*баричем*»? В тексте романа подобная характеристика Ставрогина нигде и никем (кроме одного *специального случая*, во время решающего разговора Ставрогина и Петруши Верховенского) более не упоминается. Зато в подготовительных материалах она используется неоднократно. В том числе и как автохарактеристика Николая Ставрогина. А если говорить о содержательном наполнении, то «баричем» Шатов именует Ставрогина периода «петербургских чудачеств», периода безумных кутежей и «казусов» Матрёши и Марьи Тимофеевны Лебядкиной.

Но Шатову известен и *другой Ставрогин*. Тот, который «единый» может «поднять знамя», тот, кто способен вещать «огромные слова» и нести миру «новое слово обновления и воскресения», тот, кто по отношению к Шатову-ученику выступил как *Учитель* и стал провозвестником новой идеологии.

Поэтому Шатов и начинает разговор с Николаем Всеволодовичем с напоминания основных тезисов их прошлой беседы. «Знаете ли вы, — начал он почти грозно, приналгнувшись вперёд на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою..., — знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-«богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем нового бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова... Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?

— По вашему приёму я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский...(10/196).

...

«А самому вам незнакомы эти слова?

— Очень знакомы... Вся ваша фраза и даже выражение «народ-богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года назад, за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку...

— Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель.

— Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество и только потом уехали в Америку.

— Да, и я вам писал о том из Америки... Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слёзы моей ненависти... Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак... Но семя осталось и возросло (10/196) ...

...

Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить? ... Вот что давит меня теперь (там же).

— Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может, ещё больше хлопотал о себе, чем о вас, — загадочно произнёс Ставрогин» (10/197). Любопытное замечание. Ставрогин прямо объявляет, что в этом конкретном случае он с Шатовым «не шутил». Но, очевидно, были и другие ситуации, где Николай Всеволодович выступал именно как «шутник».

Итак, про Ставрогина «известно», что он — «барич», «человек не русский», — в смысле, «западник», — но при этом

именно он является *творцом* концепции о русском народе как «народе-богоносце».

И ещё. Необходимо понять, что происходило со Ставрогиным и большинством персонажей из его близкого окружения два года назад. То есть во время его «заграничного» четырёхлетнего странствования. Ещё одна хронологическая веха. Необходимо взять на заметку: а где именно происходил разговор Ставрогина с Шатовым перед отъездом последнего в Америку (*за границей, в Швейцарии)?* И когда Николай Ставрогин прослушал курс философских наук в Геттингене? До отъезда Шатова в Америку или после? Между прочим, этот курс был рассчитан на год.

Точно так же следовало бы понять, где в этот момент находятся основные персонажи романа? — Пётр Верховенский, брат и сестра Лебядкины, Лизавета Николаевна и т.п. В чём состояла причина сбора «наших» (в смысле «швейцарцев»), если таковой действительно имел место?

Шатов продолжает изложение «концепции Ставрогина»: «...вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! ...

— Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий, — очень серьёзно произнёс Николай Всеволодович» (10/197—198). (Тем самым Ставрогин признаёт своё *авторство* концепции о «народе-богоносце». И подтверждает, что своей идеологической позиции за прошедшие *два года* он не изменил. Но, подтвер-

ждая свои *прежние* мировоззренческие приоритеты, Ставрогин даёт понять, что по-настоящему его волнуют теперь *другие* смысложизненные проблемы. И, забегая вперёд, укажем, что, судя по его суровому тону, которым он вопрошает Шатова, это проблема *личной религиозной веры*.)

«— Ни один народ, — начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, — ни один народ ещё не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; таки будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога» — как называю я всего проще. Цель всякого движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда ещё не было, чтоб у всех или многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей (10/198), когда боги начинают

становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не было ещё народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких ещё не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Всё это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу её. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова» (10/199).

«— Не думаю, чтобы не изменили, — осторожно заметил Ставрогин, — вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уж одно то, что вы бога низводите до простого атрибута народности...

...

— Низвожу бога до атрибута народности? — вскричал Шатов. — Напротив, народ возношу до бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого,

а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться бога истинного, и оставили миру бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм всё-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нём одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он (10/199) один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестаёт быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ — «богоносец» — это русский народ, и ... и ... и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, — неистово завопил он вдруг, — который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово,

последнее слово, единственное слово обновления и воскресения, и... и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука! ... О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!

Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.

— Напротив, Шатов, напротив, — необыкновенно серьёзно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места, — напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были ещё исключительнее, ещё самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить всё, что вы говорили, даже до последнего слова...» (10/200).

Обратим внимание на слова самого Ставрогина о «самовластии». Алексей Кириллов говорит о самовластии (своеволии) как главном пункте своей человекобожеской концепции. Если основные тезисы доктрины Кириллову были подсказаны Ставрогиным, то, возможно, и главный пункт теории о «своеволии» также был «подарком» Николая Ставрогина? И ещё: в силу каких особенных причин у Ставрогина именно два года назад был такой *творческий подъём*?

б). Инженер Кириллов и концепция «человекобожества»

Наиболее полно Алексей Кириллов формулирует свою «человекобожескую» концепцию, находясь уже практически на пороге «метафизического перехода» к инобытию, во время финальной встречи с Петром Верховенским.

«Бог необходим, а потому должен быть.

— Ну, и прекрасно.

— Но я знаю, что его нет и не может быть.

— Это вернее.

— Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?

— Застрелиться, что ли?

— Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь, что может быть такой человек, один человек из тысячи ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесёт.

...

— Ставрогина тоже съела идея, — не заметил замечания Кириллов, угрюмо шагая по комнате.

— Как? — навострил уши Пётр Степанович. — Какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил?

— Нет, я сам угадал: Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует.

— Ну, у Ставрогина есть и другое, поумнее этого... — сварливо пробормотал Пётр Степанович» (10/469).

«Но тон превосходства и нескрываемого всегдашнего к нему презрения Кириллова всегда и прежде раздражал его, а теперь почему-то ещё больше прежнего. Потому, может быть, что Кириллов, которому через час какой-нибудь предстояло умереть ... казался ему чем-то вроде уже получеловека, чем-то таким, что ему уже никак нельзя было позволить высокомерия.

— Вы, кажется, хвастаетесь предо мной, что застрелитесь?

— Я всегда был удивлён, что все остаются в живых, — не слыхал его замечания Кириллов.

— Гм, положим, это идея, но...

— Обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Молчи, ты не поймёшь ничего. Если нет бога, то я бог.

— Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта: почему вы-то бог?

— Если бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.

— Своеволие? А почему обязаны?

— Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю.

— И делайте.

— Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому.

— Да ведь не один же вы себя убиваете; много самоубийц.

— С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия — один я.

...

— Знаете что, — заметил он раздражительно, — я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил бы кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться.

— Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и себя убью» (10/470).

«Своим умом дошёл», — злобно проворчал Пётр Степанович.

— Я обязан неверие заявить, — шагал по комнате Кириллов. — Для меня нет выше идеи, что бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать бога. Пусть узнают раз навсегда (10/471).

...

— Кому узнавать-то? — поджигал он. — Тут я да вы; Липутину, что ли?

— Всем узнавать; все узнают. Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным. Вот *Он* сказал.

И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Пётр Степанович совсем озлился.

— В *Него-то*, стало быть, всё еще веруете и лампадку зажгли; уж не на «всякий ли случай»?

Тот промолчал.

— Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, ещё больше попа.

— В кого? В *Него*? Слушай, — остановился Кириллов, неподвижным, исступлённым взглядом смотря перед собой. — Слушай большую идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после *Ему* такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо своё же не пожалели, а заставили и *Его* жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?

— Это другой оборот дела. Мне кажется, у вас тут две разные причины смешались; а это очень неблагонадёжно. Но позвольте, ну, а если вы бог? Если кончилась ложь и вы догадались, что вся ложь оттого, что был прежний бог?

— Наконец-то ты понял! — вскричал Кириллов восторженно. — Стало быть, можно же понять, если даже такой как ты, понял! Понимаешь теперь, что всё спасение для всех — всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьёшь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьёшь себя сам, и будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнёт и докажет? Это я убью себя сам непременно (10/471), чтобы начать и доказать. Я ещё только бог поневоле, и я несчастен, ибо *обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасёт всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашёл: атрибут божества моего — Своеволие! Это всё, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою» (10/472).

На самом деле Кириллов, совершая свой подвиг самопожертвования, уподобляется Христу. Но, в отличие от Иисуса Христа, новый «человекобог» Кириллов совершенно «не гарантирует» потустороннего, загробного существования, «жизни вечной». Он становится Спасителем, по-

скольку он «отворяет дверь», «открывает человечеству глаза» и уничтожает «великий страх» смерти. Парафраз евангельской формулы: «Слово плоть бысть», то есть слово воплотившееся. Единство принципа и его воплощения. Слова и поступка.

...

«— Давай перо! — вдруг совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении. — Диктуй, всё подпишу. И что Шатова убил, подпишу. Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов! Сам увидишь, что всё тайное станет явным! А ты будешь раздавлен... Верую! Верую!» (10/472).

Итак, два года назад Николай Ставрогин в одно и то же время поделился с Иваном Шатовым и Алексеем Кирилловым тезисами двух концепций. Они были восприняты учениками и, как мы видели, развиты до конечных следствий. По прошествии этих двух лет Ставрогин с интересом знакомится с концептуальными наработками своих последователей.

Но в отличие от них, каждый из которых развивал только «свою» теорию, Ставрогин «синтезирует» обе. Он одновременно с Шатовым выводит следствия из теории «народа-богоносца», а вместе с Кирилловым обсуждает нюансы концепции «человекобожества». То есть Шатов и Кириллов сыграли для Ставрогина роль экспериментальных «площадок», на которых он «обкатал» свои наработки.

Но Николай Всеволодович пошёл дальше своих учеников: он объединил обе концепции в единую теорию более высокого порядка. А средством, способом и носителем этого объединения стала его собственная личность. Совершив этот шаг, Ставрогин будто бы самостоятельно («своевольно») распорядился собственной судьбой. Но и здесь, как и в

других «проекциях» его судьбы, перед ним возникло всё то же непреодолимое препятствие. И в одном, и в другом случае Ставрогин должен вполне определённым образом ответить на вопрос о *личной вере*. Однозначно сформулировать своё отношение к Богу.

Отметим, что все пласты «идеологии» в романе «Бесы», как и в подготовительных материалах к нему, оказываются глубоко связаны с религиозно-философской проблематикой, развиваемой Ф.М. Достоевским в записных книжках и тетрадях 1860—1865 гг. (в частности, в конспекте статьи «Социализм и христианство»). В своей совокупности они составляют идейный фон происходящих в романе событий и содержание ведущихся героями дискуссий. Идеология является неотъемлемым элементом, а, точнее, равноправным «действующим лицом» романа «Бесы».

* * *

Концепция «народа-богоносца» оказывается теорией *философско-исторического* порядка. Она рассматривает движущие силы и источники исторического процесса.

«Человекобожеская» теория Алексея Кириллова является *героической версией* обоснования индивидуальной моральности.

При этом обе концепции оказываются крепко связаны друг с другом. И дело не только в том, что генетическим *источником* обеих является Николай Ставрогин, который предложил своим ученикам, Шатову и Кириллову, развить сформулированные им тезисы. Обе теории связаны концептуально.

Первая утверждает, что движущей силой исторического развития является вера в особого, индивидуального национального бога. Именно уникальный бог является основой

существования и участия в историческом процессе любого народа. Отметим, что эта историософская теория какими-то своими тезисами напоминает концепцию А. Тойнби.

Вторая концепция исходит из «экспериментального» отрицания участия бога в личностном мире человека, из чего с неизбежностью следует, что «если бога нет, то я становлюсь богом». (Кстати, отметим, что этот тезис представляет собой инверсию знаменитого «Если Бога нет, то всё позволено»!) Но в данном случае отсутствует предопределённость, заданность, *фатальность*, ничего не происходит автоматически, помимо воли и желания самого человека. Напротив, это открытие налагает на человека бремя страшной ответственности, ибо тот, кто осознал, что бога нет, «обязан заявить своеволие» и вынужденно стать богом «*поневоле*». А высшей точкой этого своеволия оказывается идейное самоубийство.

Таким образом, личность, осознавшая, что бога нет, с необходимостью *обречена* на героические поступки и уподобляется древнегреческим богам, вступившим в открытое противостояние с Судьбой. А в предельном случае, становясь богом, она приближается к Иисусу Христу как воплотившемуся идеалу.

«Если Бога нет, — то я становлюсь богом», «Став богом, я обязан заявить своеволие», «Высшая степень моего своеволия — самоубийство, как героический подвиг, который позволит «открыть дверь» и освободить всё человечество. Благодаря этому подвигу человечество впервые в истории освобождается от *страха смерти* как родового проклятия.

Заметим, что Пётр Степанович, выслушав тезис Кириллова о жёсткой необходимости «заявить своеволие», если «бога нет», предлагает Алексею Кириллову «сделку»: отложить самоубийство и убить «кого укажут», то есть совершить заказное политическое убийство. Но для инженера Кирил-

лова убить другого человека (независимо от мотива предумышленного убийства) — это *низший* пункт акта своеволия.

Нечто подобное испытывает и Ставрогин, когда в порядке «мысленного эксперимента» обсуждает с Кирилловым возможность «перенесения на Луну» после совершения на Земле какого-либо преступления или предельной низости поступка. Но в системе философских координат Кириллова это — проявление низшей степени своеволия, а потому подобные эксперименты (даже мыслительные) для него неприемлемы.

Готов ли Николай Ставрогин стать «богом»?

Если да, то каким образом он собирается «заявить своеволие»? С учётом того обстоятельства, что вплоть до последнего момента он категорически отвергает для себя возможность самоубийства, полагая его проявлением великодушия, на которое, по его мнению, оказался способен только «несчастный Кириллов».

Носителем исторического процесса является «народ-богоносец». Возможность действовать и стать историческим «актором» он получает благодаря наличию собственного уникального «бога». Если использовать терминологию и понятийный аппарат Л.Н. Гумилёва, «бог» является источником пассионарности «народа-богоносца».

Русский «народ-богоносец» оказался единственным, кто сохранил «истинного Христа», в отличие от римского католичества.

Что необходимо, по мнению Шатова, для того чтобы «народ-богоносец» заявил о себе на исторической арене? — Необходим человек, который способен *осознанно* подхватить «знамя». По убеждению Шатова, таковым может быть только Николай Ставрогин. Как по масштабу личности, так и по своей способности «формулировать» смысложизнен-

ные проблемы. Но при одном допущении: условием является «обязательство» Ставрогина уверовать (в специфических терминах их беседы, «поймать зайца»).

Но почему Шатов полагает, что именно Ставрогин способен «поднять знамя»? — Потому, что, по мнению Шатова, Николай Всеволодович является исключительной, *пассионарной* личностью. (Но ведь именно по этой же причине в свой политический проект мечтает «заполучить» Ставрогина и Пётр Степанович Верховенский!)

В случае, если он не верует (на прямой вопрос Шатова, атеист ли он, или нет, Ставрогин подтверждает, что как и сейчас, так и два года назад он был и остаётся атеистом), то вся «воля его», и он обязан «заявить своеволие». И снова всё возвращается к исходному тезису Алексея Кириллова: Николай Ставрогин движется по заколдованному кругу.

Отметим, что в литературе пока ещё не встречались попытки «пересечь» в одной плоскости теорию «народа-богоносца» и «теорию человекобожества». И точку этого пересечения сфокусировать на Николае Ставрогине.

Остановимся на нескольких самостоятельных фрагментах.

Фрагмент первый. Спор Грановского с нигилистами об историческом оправдании насилия (11/103).

Одна из главных тем дискуссии Т.Н. Грановского (Степан Трофимович Верховенский в окончательной редакции романа) со своим идеологическим оппонентом: человек перерождается и лично и общественно в течение длительного исторического срока. По мнению Грановского, программа человеческого «перерождения» потребует несколько столетий. Таким образом Грановский «схлестывается» с «недосиженными» нигилистами именно по вопросу о том, что

немедленным *политическим* переворотом (как декабристы, например) позитивной цели в короткие исторические сроки достичь невозможно.

Отсюда понятна и постановка вопроса о месте и роли насилия в истории.

Ключевым является спор Грановского с идеологическим оппонентом (главным образом с сыном, будущим Петром Верховенским, представителем молодых, «горяченьких»). Основная тема «родственной» дискуссии — соотношение цели и средств, морально возвышенной цели и политических средств её достижения.

Главный пункт дискуссии, соразмерны ли (по своему масштабу) те социальные и политические преобразования, которые достигаются революционным насилием. Вопрос ставится так: когда насилие может быть «оправдано» с исторической точки зрения как «революционное»?

Отметим конкретную постановку вопроса: заранее, безусловно, отвергается не любое и не всякое насилие. «Приемлемым» насилием для участников дискуссии является таковое, когда мотивом его использования объявляется «*благо человечества*». В классической постановке вопроса Ф.М. Достоевским эта проблема формулируется так: «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», заглушает одинокий голос жертвы насилия.

Главное, а каковы конкретные критерии (и кто их определяет?), которые позволяют хотя бы в приближённом виде рассматривать акт насилия как «революционный» и «оправданный» по отношению к сопротивляющемуся старому и отжившему, это, во-первых.

А во-вторых, как соизмерить значимость достигнутого результата и масштаб использованных насильственных мер?

Может ли таковым мерилом выступить личность, получаемая в результате «революционной переделки»?

Фрагмент второй. Философия истории (11/145).

Тезисы Шатова на *публичном чтении* содержат квинтэссенцию философии истории в понимании, близком авторскому замыслу.

«На Западе старый строй изветшал. Французская революция.

Весь XIX век — борьба и брожение. Не политический, а социальный переворот.

Чтоб разбить общество и цивилизацию, нужно замену. Социалисты — страстная вера. Сравнивали с христианством.

Правда, примазалось ужасно много и мошенников. А сколько дураков к ней примазалось, как вышли на улицу.

Религия на Западе пала. Тамошний мир мучается недостатком духовной жизни (об религии, необходимости ее, наука не заменит пустоты после веры).

Бросились на социализм и жаждущие жизни духовной, и голодные.

Если нет религии, то замена другою нравственностью.

Чтоб уничтожить прежнюю нравственность — надо уничтожить душу и веру в бога.

Там, как нарочно, все сошлись, ибо католицизм уничтожил веру в бога, извратив Христа.

Наши бросились на готовое. Западная опека. Если б знали, чему наши служат» (11/145).

Ключевым пунктом полемики, ведущейся Достоевским с социализмом, было противопоставление его социальной прагматике («всех накормить») христианской религиозно-нравственной доктрины.

Комментируя факт широкого распространения идеи социализма, роста её привлекательности и популярности по мере развития и обострения присущих буржуазной цивилизации социальных противоречий и антагонизмов, Ф.М. Достоевский объясняет его так (применительно к Западу):

«Бросались на социализм и жаждущие жизни духовной, и голодные».

Обратились же к социализму возжаждавшие жизни духовной потому, что «на Западе религия пала...»

Достоевский же убеждён, что разрешить эти социальные вопросы — накормить голодных и успокоить искателей духовной жизни, при этом так, чтобы одновременно разрешились обе проблемы, — в состоянии только православное христианство.

Итак, полагает Достоевский, к «социализму» (понимаемому им не как общественное состояние, которого общество достигает закономерно, а как некую ошибочную теорию, как своего рода уклонение не очень добросовестного ума) западную цивилизацию подталкивают два обстоятельства:

а) всеобщий и повсеместный упадок в обществе *объединяющих идей*; к социалистическому учению обращаются возжаждавшие жизни духовной как к спасительной соединяющей и скрепляющей человечество идее в общем деле достижения цели; это следствие того, что «религия на Западе пала», и в результате «тамошний мир мучается недостатком духовной жизни...»;

б) другим фактором, вызвавшим широкое распространение социалистических учений, явилось *массовое обнищание*, стремительный рост пауперизации западноевропейского общества, голод, болезни, тяжелый изнурительный труд, нещадная эксплуатация труда капиталом.

Как естественная реакция на торжество капитала появляются различные виды социалистических учений, манящие человечество перспективами социального освобождения, достижения социального равенства и благоденствия.

Таким образом, позиция Достоевского по отношению к социализму имеет ряд особенностей:

С одной стороны, Ф.М. Достоевский признаёт объективный характер общественных устремлений к социализму, то есть считает, что социалистические идеалы являются *объективным* порождением состояния духовной дезориентации и пустоты, переживаемых западным буржуазным обществом, это, во-первых.

А во-вторых, то, что социалистические учения являются следствием социальной борьбы, *закономерным итогом* того бедственного состояния, в которое оказались ввергнуты трудящиеся массы буржуазной цивилизацией.

Но, с другой стороны, Достоевский прямо называет эти социалистические устремления трудящихся уклонением от правильного развития общества, опасной социальной и идеологической ошибкой.

Как же он разрешает это противоречие?

Достоевский «позволяет» идти своим чередом социально-историческому процессу на Западе со всеми его «уклонениями» (вплоть до социализма).

Но России предначертан иной исторический путь — Ф.М. Достоевский убеждён, что и без социализма, этого западного «идеологического симулякра», будут разрешены насущные социальные проблемы. И разрешит их православие. Страждущих мировоззренчески и ищущих идеи оно уврачует духовно, голодных оно накормит по принципу: «Если все Христы, будут ли бедные?»

Отсюда становится очевидным конкретный смысл, который Достоевский вкладывает в формулу: «Не политический, а социальный переворот».

В советское время у обществоведа-марксиста такое *противопоставление* «политического» «социальному» вызвало бы недоумение: возможен ли политический переворот вне социально-экономической трансформации оснований общественной системы? Каким, собственно, образом в усло-

виях антагонистического общества можно совершить социальный переворот, не прибегая к политическим средствам борьбы, не меняя, по существу, классовую структуру общества?

Достоевского, однако, подобная постановка вопроса не смущает. Ибо политический переворот — это путь к «борьбе классов», это путь к кровопролитию и насилию, которые, по убеждению мыслителя, абсолютно и безусловно *неприемлемы*. И, в первую очередь, неприемлемы потому, что искажают человеколюбивую конечную цель — создание гармоничного, социально справедливого общества. При этом Достоевский готов признать, что, применяя насилие, человечество способно эффективно достигать промежуточных политических целей («промежуточных станций», по меткому выражению М.Е. Салтыкова-Щедрина).

Содержательным наполнением социального переворота, противопоставляемого политическому, оказывается программа индивидуально-личностного перерождения и *переделывания* человека в совершенную личность по моральным канонам православия.

Но и в данной постановке вопроса присутствует один нюанс. Писатель намеренно максималистски заостряет акценты. Безоговорочно и безусловно отвергая насилие в социально-историческом масштабе, Ф.М. Достоевский допускает использование и даже необходимость его применения на *индивидуально-личностном* уровне.

Речь идет о безусловной необходимости самоограничения, самопринуждения, «*самовыделки*», на пути воссоздания своей личности по образу и подобию Иисуса Христа. Отнюдь не случайно Достоевский упорно подчеркивает первостепенное значение дисциплины — «надо православной дисциплиной и смирением», — формулирует Князь свое кредо.

Вслед за Ф.М. Достоевским Князь полагает нравственность важнейшим *эксклюзивным* инструментом разрешения общественных конфликтов и антагонизмов. «Если нет религии, то замена другой нравственностью». По мысли Князя, только нравственность (в религиозной ли оболочке, в светской ли форме) способна играть позитивную социально-преобразующую роль в обществе.

Фрагмент третий.

Философия морали как философия религии (11/145).

В предполагаемую речь Шатова на публичном чтении (рукописные редакции «Бесов») Достоевский включил дорогие его сердцу и близкие к его собственному proffession de foi идеи.

По сути, она является *фундаменталистской*, в ней Достоевский высказывает свое понимание основных положений и законов нравственности, то есть формулирует основные понятия, вводит исходные посылки своей религиозно-этической системы.

Например, указывает на главенствующее значение религии для формирования моральных систем. Здесь же рассматриваются проблемы морального авторитета, утверждения абсолюта, санкционирующего и освящающего мораль, проблема идеала и т.д.

Из этого «компендиума» мыслей главная есть та, что «общество созидается нравственностью и религиею», причем нравственности принадлежит непосредственная роль «созидателя» общества. Мимо всех социальных, экономических, политических и иных аспектов и уровней мыслитель сразу же обращается к моральной сфере общественной жизни, определяющей строй социально-экономической жизни общества в конкретных исторических условиях.

Итак, общество созидается и покоится не на определённых объективных и не зависящих от воли и сознания людей

материальных общественных отношениях, складывающихся между людьми по поводу их роли и места в системе производства (привет от *марксизма!)*, а нравственными и религиозными идеями и идеалами.

Далее. Каково же соотношение между нравственностью и религией?

«Нравственные начала исходят из религии». Таким образом, в качестве аксиомы постулируется *производный* (но не второстепенный) характер нравственности. Здесь есть противоречие.

С одной стороны, утверждается самодостаточный, абсолютный характер нравственности, её самоценное значение, её независимость от мира внешних объектов, материального мира с его потребностями, заботами и нуждами.

С другой, признаётся вторичный характер морали. Казалось бы, признание вторичности морали открывает возможность для установления её «действительного места» в системе социально-экономических отношений в обществе и их отражения в головах людей (в духе марксизма, например, или иных философско-материалистических концепций).

Однако Достоевский делает другой вывод: мораль вторична, но она является не отражением социально-экономических отношений, господствующих в обществе, а выражением *зависимости* от религии. Мыслитель стремится «укрепить» моральные нормы авторитетом *абсолюта.* И этот абсолют для него, несомненно, имеет *божественное* происхождение.

«Судьбическая» драма Николая Всеволодовича Ставрогина как раз в том и состоит, что он находится в поисках «абсолюта», который мог бы послужить для него безусловным основанием нравственности. Стать личностной точкой опоры. А поскольку такой абсолют может основываться только

на религиозной вере, он и пытается всеми силами такую веру «обрести». Но для него вера возможна только при нахождении «залога» веры. Собственно, в течение всего романа (и до начала текущего действия, и во время романных событий) Николай Ставрогин пытается обрести такой «залог». Для этого он раз за разом совершает рискованные эксперименты, граничащие с преступлением.

Но проблема заключается в том, что, несмотря на все усилия, залога он не находит, уверовать не может, и абсолюта, следовательно, не обретает. В силу этого он оказывается в постоянно неопределённом положении, то ли следовать нравственным нормам, то ли нет. Морально-психологическая *амбивалентность* личности Ставрогина является следствием отсутствия абсолюта. В случае Николая Всеволодовича Ставрогина это проявляется в виде бесконечно колеблющегося «ценностного маятника», извечно продолжающейся диалектики «Креста» и «бесей».

Отсюда проистекает постулирование следующего требования:

«Эстетические стремления должны быть твёрдо утверждены, понятие о зле и добре». То есть понятие о красоте должно быть непосредственно *очевидным*, *безусловным* и *непротиворечивым*.

Отметим, что Достоевский отнюдь не случайно определяет понятие о добре и зле как «эстетические стремления», так как полагает, что в основе определения добра находится переживание эмоционально окрашенных чувств по поводу *красоты идеала*.

8 июня 1870 года датирован конспект предполагаемой беседы Шатова и Князя, которая происходит во время их первого «свидания».

Шатов конспективно излагает уже знакомые нам идеи:

«Общество движется началом эстетическим... Эстетическое начало зависит от религии. Религия от себя самой, откровения и непосредственного вмешательства бога. Тайна Христова».

Таким образом выстраивается логическая, последовательная цепочка определяющих социальных зависимостей:

— общество движется началом эстетическим;

— эстетическое начало (суть понятие о добре и зле) есть производное от религии;

— религия же самодостаточна, она зависит от себя самой, откровения и непосредственного вмешательства бога. «Непосредственное вмешательство» бога как раз и есть тот самый «*залог*», который столь тщетно ищет Николай Ставрогин. И этот залог есть «тайна Христова». (11/154).

Почему понятие о добре и зле является эстетическим, а не этическим началом?

Дело в том, что «дух святый есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное стремление к ней» (11/154). (Ср. со знаменитой формулой «Красота спасет мир».)

Таким образом понятие о добре и зле, которое движет человеком, суть производная функция от *непосредственного* понимания красоты. Укажем, что в данном случае имеется в виду не некая абстрактная, «теоретическая» или «идеальная» красота, а вполне «конкретная», содержательная красота. Красота *образа Спасителя*, красота идеала человека, Иисуса Христа. Логическим следствием отсюда является следующая максима: «*Христос — начало всякого нравственного основания*». (11/185).

Это понимание нравственности противопоставляется «рациональному материальному закону нравственности» (11/148) по принципу: «кто сильно верует в себя, того все уважают» (там же).

Формула евангельского фундаментализма Достоевского

В «пророческом откровении» (по стилю беседу Князя и Шатова иначе и не назовешь) Князь формулирует исходные аксиомы своей морально-этической, морально-политической программы. (11/178).

1. Сила в нравственной идее.

2. Нравственная идея в Христе.

3. На Западе Христос исказился и истощился. Царство антихриста. У нас православие.

4. Значит, мы носители ясного понимания Христа и новой идеи для Воскресения мира.

(...)

5. А чтоб заявить православие, нужен подвиг.

Отсюда проистекают максимально «жёсткие» требования, которые Достоевский предъявляет к личности. Моральная программа, провозглашаемая писателем, обрекает личность на *подвиг*, на героическое деяние. Подвигом же в системе Достоевского является самообладание и *самовладение* личности (на грани *абсолютного*) в духе христианского миропонимания. Но исполнение этой программы требует самопринуждения, то есть актов «самонасилия».

Вот откуда у Ф.М. Достоевского такой интерес к феноменам умерщвления плоти, схимничеству, странничеству, подвигам христианских подвижников, пустынников, страстотерпцев и т.п. Но ведь эти состояния являются полной *противоположностью* (инверсией) по отношению к «пиру плоти»: сладострастию, распущенности нравов, полувере и предательству божественных идеалов... Вся проблема в том, на какой «стороне» маятника оказывается личность. А Николай Всеволодович Ставрогин умудряется всё время находиться в состоянии качающегося «маятника» — в движении от одного крайнего положения к другому.

(...)

Шатов, обращаясь к Князю, «Надо в монахи, коли так (то есть если прямо поступать по провозглашенной программе: «Представьте себе, что все Христы, будут ли бедные?»)

Князь же ему отвечает:

«Зачем? Провозглашайте Христа в Русской земле и провозглашайте собою. Нужны великие подвиги».

«Провозглашение собою Христа» и приравнивается по своей значимости к великому подвигу. Таким образом, Достоевский предлагает целостную, последовательную программу нравственного совершенствования человека. Будучи православной по своей сути, фактически она лишена мистического элемента. Достоевский противопоставляет её современной науке, которая, по его мнению, социально «не исполнена», на «главные (*смысложизненные*) вопросы не отвечает».

Вот почему, когда Шатов интересуется у Князя, какое содержание вкладывает он в максиму «надо дело делать», Князь отвечает:

«Каяться, себя созидать, царство Христово созидать... надо православной дисциплиной и смирением».

Кстати, в данном случае этот логический ряд выражает понимание самим Достоевским «правильных» способов и методов достижения «рая Христова», которыми являются покаяние и личностное *самосозидание*.

Главный пункт моральной программы, мыслимой Достоевским как преобразующее социальное средство, — «начни с себя, с самоисправления и самопостроения личности».

Распространяя эту максиму с отдельной личности на всё человечество, Достоевский уверен, что подобное тотальное, проведённое в масштабах всего общества, личностное самоисправление и самоусовершенствование вызовет кардиналь-

ную социальную перестройку, будет иметь своим следствием утверждение новых, гуманных и справедливых, общественных начал. «*Социальный переворот прежде политического*».

Всё это так. Но «биографический» опыт Николая Всеволодовича Ставрогина показывает, что нет ничего сложнее, чем ежедневно практикуемое «самоограничение» и личностное «самопостроение». И это в случае с «Князем» — Николаем Ставрогиным! Что же тогда можно ожидать от людей, менее склонных к рефлексии, менее сильных духом и менее возжаждавших уверовать? — Того же Шатова, который «тоже проповедовал смирение и умер надменным энтузиастом» (11/126).

Фрагмент четвёртый.
Идейно-психологическая эволюция Князя

«Он в романе судья нигилизма». (11/126).

«Я, — говорит он, — прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточённым, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хужее мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы главная гниль, на нас главное проклятие и из нас всё произошло».

(11/129).

NB Князя выставить в романе врагом нигилизма и либерализма и высокомерным аристократом.

Спор Князя с Грановским.

«Князь уверяет, что дворянин оказался ничем, Грановский же уверяет, что дворянин теперь всё — ибо в нём одном начало цивилизации и руководства. (Идея Князя, что он всё-таки без почвы и космополит — а стало быть, нуль)».

Любопытно отметить, что дворянин «Князь» уверен в историческом закате дворянского класса, а разночинец «Грановский» убеждён в «цивилизаторском» значении дворянина и дворянства. (11/129).

«Вы говорите, мы верхний слой, оторванные от народа люди и ему изменники; но я себя считаю тоже самостоятельной единицей и скажу обратно, что мне изменили, а не я изменил. Оставьте меня, я сам по себе. Я эгоист и хочу жить в эгоизме». (11/134).

Это Князь говорит Шатову. О каком «эгоизме» идёт речь? Этот эгоизм сродни *героическому эгоизму* Алексея Кириллова, то есть является эгоцентризмом, феноменальным проявлением метафизической установки на себя, «Я-центризма».

Православная программа нравственного перерождения

«Вообще он убеждается, что быть честным и особенно новым человеком не так легко, что тут мало одного энтузиазма, что и объявляет Воспитаннице, когда предписывает ей под конец условия.

«Я новым человеком не буду, я слишком неоригинален, — говорит он, — но я нашел наконец несколько драгоценных идей и держусь их. Но прежде всякого возрождения и Воскресения — самообладание; и потому ты мне нужна, ты меня спасёшь своею тихостию» (11/126).

Что понимает Князь под состоянием «*тихости*»? — Нивелирование психологических крайностей, сдерживание чувственного разгула, отказ от запредельных эмоций, определённая рационализация морально-психологического мира человека, подчинение психоэмоциональной спонтанности хоть какому-то руководящему принципу. Короче, — Князя может спасти Воспитанница (будущая Дарья Павловна, сестра Ивана Шатова), но никак не Лизавета Николаевна, психологический тип личности которой *сродни Ставрогинскому*.

Главное, по мысли Князя, «тихость» является необходимым основанием и исходным пунктом для «всякого возрождения и воскресения». «Тихость» ведёт к самообладанию, и, достигнув самообладания, человек способен найти пути

к возрождению и воскресению. Эту максиму выражает и позиция Голубова. Голубов говорит: «Больше смирения надо; сочтите себя за ничто, тогда спасётесь и спокой получите» (11/126).

«Шатов тоже проповедовал смирение и умер надменным энтузиастом» (11/126).

Заметим, что из-за Князя между Шатовым и Голубовым даже вспыхивает некое психологическое «соперничество». «Шатова он мог слушать, но видел в нём много ненависти, а потому и смотрел всё время на него несколько свысока. Но Голубова он слушает почтительно. Вера и православие» (...)

«В результате выходит, что он укрепляется в идеях Голубова, а остальное всё отвергает» (11/130).

А идеи Голубова — «необходима православная дисциплина и выделка себя». Голубов в рукописных редакциях «Бесов», — это более ранний парафраз архиерея Тихона, по иронии судьбы и волею редакции «Русского вестника», оказавшегося за чертой канонического текста романа.

Заметим, что в отличие от канонического текста романа, героем которого является Николай Всеволодович Ставрогин, в подготовительных материалах к роману *Князь* охотно разъясняет свою позицию, указывая на мотивы своих поступков.

Главные личностные характеристики Князя: гордость и неприятие лжи. Князь — враг ломания и неискренности, «выделанности». (11/127).

«NB Это человек идеи. Идея обхватывает его и владеет им, но имея то свойство, что владычествует в нём не столько в голове его, сколько воплощаясь в него, переходя в натуру, всегда с страданием и беспокойством, и, уже раз поселившись в натуре, требуя и немедленного приложения к делу.

Теперь, во-первых, по возвращении в город, он давно в нём не был.

В это время успел измениться в убеждениях. Измениться в убеждениях — значит для него тотчас же измениться и во всей жизни, так что он приехал уже с затаённою мыслию хоть отказаться от наследства и разорвать совсем. Он стал вдруг ужасным скептиком, недоверчивым и предполагающим всё дурное, — явление, понятное в человеке твёрдом, для которого решиться — значит сжечь корабли и исполнить. Этот человек ещё может усумниться перед решением, если не совсем ещё убеждён; но если он усумнится, то по страстности натуры своей делается скептиком до цинизма» (11/130).

11 марта 1870

«Последний образ Князя

Князь приехал, уже всё разрешив, все сомнения.

Он — новый человек. Он разрывает с двумя девушками, намерен окончательно разорвать с матерью. В бешеной, засевшей внутрь энергии мало высказывается, смотрит насмешливо и скептически, как человек, уже имеющий у себя окончательно разгадку и идею. Он всех выслушивает до времени и мало возражает. Смеётся про себя свысока над Грановским, болезненно поражается Шатовым и совершенно ясно видит его книжность и безысходность, с удивлением и любопытством приглядывается к Нечаеву и прислушивается, — желая угадать, наконец; на чём это люди так твердо могут стоять?.. Голубов один потрясает его, но он с энтузиазмом... признаётся ему, что это совершенно и его мысль, им отысканное убеждение» (11/133).

Не прояснённым остаётся вопрос, а почему Князь «намерен окончательно разорвать с матерью»? Судя по известным событиям из летописи Хроникёра, Варвара Петровна готова *смириться* с любым *мировоззренческим* увлечением сына и не намерена ему мешать. Сошлёмся на её решимость в финале последовать за Николаем Всеволодовичем и Дарьей Павловной на *край цивилизованного мира* — в кантон Ури.

Как Князь определяет нравственную идею

Князь говорит: «Я хочу быть вне движений и колебаний, я сам по себе; да и ваша нравственность сводится на то же».

«Князь говорит свысока и насмешливо: «Я не верую в бога, но надеюсь быть честным человеком» (11/134).

Если всё было бы так просто, то и роман о Ставрогине не состоялся бы! Идейной сутью романа, его смыслом и основной фабульной интригой является *диалектика веры-неверия*, через которую шаг за шагом проходит Николай Всеволодович Ставрогин.

Любопытно, а как бы прокомментировал эту сентенцию («я не верую в бога...») архиерей Тихон? ...

15 марта (1870)

«Князь — человек, которому становится скучно. Плод века русского. Он свысока и умеет быть сам по себе, т.е. уклониться и от бар, и от западников, и от нигилистов, и от Голубова (но вопрос остаётся для него — что же он сам такое? Ответ для него — ничто). У него много ума, чтобы сознаться, что он и в самом деле не русский» (11/134).

Авторская ремарка о Князе («он свысока») указывает не только на идеологическую *самодостаточность* Князя-Ставрогина. Она является ещё одним подтверждением особой роли Князя в романной действительности. Характерно, что Князь оказывается в особом положении не только по отношению к «нигилистам» или «западникам», но и к Голубову. И это — довольно неожиданно.

«Но он натура высокая, и быть никем — его не удовлетворяет и мучит, сам в себе не находит никаких оснований, и ему скучно».

...в последний раз идёт к Голубову.

Говорит: «Удивляюсь, что я не могу жить, как другие: как мать, как Граф, как Грановский, Губернатор, Великий писатель.»

(Ответ: потому, что выше их.)

Мысль же автора: выставить человека, который сознал, что ему недостаёт почвы» (11/135).

Очень важный вопрос содержится в контексте беседы Князя и Шатова. На «Фантастической странице» (11/177).

Кстати, по тексту весьма сложно установить, кто является автором произнесенной ключевой фразы. Между тем от авторства этого программного заявления зависят и смысловые акценты самого заявления.

Тезисы беседы Шатова и Князя, относящиеся к так называемой «фантастической странице», имеют чёткое, каждый раз особо оговариваемое авторство. Достоевский всякий раз скрупулёзно расставляет авторские ремарки: «Шатов», «Князь» и т.д. Поэтому путаницы с установлением авторства высказываний не возникает.

Кроме того, диалог Князя и Шатова в основе своей построен по классической схеме: реплики участников беседы строго чередуются. А затем Достоевский почему-то перестаёт расставлять ремарки, прежнее чередование реплик уже не выдерживается.

Единственным способом установления авторства остается только смысловое содержание высказываний. Итак, Князь (это установлено) задаёт Шатову центральный «метафизический» вопрос: «*Веруете ли в вечное пребывание Христа в мире*?»

Если *да*, то тогда Вам доступно повторение подвига Христа, его образ является путеводной звездой Вашей нравственной жизни, источником неиссякаемой энергии, именно для Вас «слово плоть бысть».

Если *нет*, то образ Христа в лучшем случае является культурным знаком, символом принадлежности к определённой культурной традиции, практически, цивилизационным *артефактом*.

Формула синтезирует общественную и личную проекции. Когда в «вечное пребывание Христа в мире» верует большинство личностей, составляющих народ, то образуется «народ-богоносец». Когда в «вечное пребывание Христа в мире» верует отдельная личность, то «знаете ли, как бывает силён один человек»? Здесь опять стыкуются концепции Ивана Шатова и Алексея Кириллова.

В конспекте предполагаемой речи Шатова на публичном чтении (рукописные редакции «Бесов») главная тема — положение религии в современном мире. По сути, это — автокомментарий Ф.М. Достоевского. В своей речи Шатов допускает, что его программа морального перерождения современного человека на началах православного христианства может оказаться *нежизнеспособной*. Например, в случае, если он переоценивает значение и распространенность религии в современных исторических условиях. Он заявляет: «Если нет религии, то замена другой нравственностью» (11/145).

Николай Всеволодович Ставрогин, собственно, и попытался найти замену религии (христианства) «другой нравственностью». «Князь говорит свысока и насмешливо: «Я не верую в бога, но надеюсь быть честным человеком» (11/134).

Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» — это ровным счётом история о том, что из всего этого получилось... Но как мы увидим, другой нравственности, помимо и вне религии, ни для Шатова, ни для Князя, ни для «литератора» Достоевского не существует. Любая иная версия *внерелигиозной морали* оказывается несостоятельной, поскольку она нежизнеспособна.

Но всё же, если допустить, в целях проверочного эксперимента, что возможна иная нравственность, отличная от евангельских заповедей, то заменит ли она, вытеснит ли прежнюю? И при каких обязательных условиях?

«Чтоб уничтожить прежнюю нравственность — надо уничтожить душу и веру в бога». Рассказанная Ф.М. Достоевским история губернских «*бесей*» наглядно демонстрирует, как утрата веры в Бога уничтожает «прежнюю», то есть христианскую нравственность.

Фундаментализм (11/178).

Ф.М. Достоевский в монологе Князя формулирует принципы своей этической доктрины. С полным на то основанием её можно назвать «моральным фундаментализмом».

«Нравственные основания даются откровением. Уничтожьте в вере одно что-нибудь — и нравственное основание христианства рухнет всё, ибо всё связано».

Что имеет в виду Достоевский, когда говорит о том, что достаточно уничтожить что-нибудь «одно» для того, чтобы рухнуло нравственное основание христианства? О каком «*одном*» элементе *веры* идёт речь?

Православной этической доктрине противостоит «рациональный материальный закон нравственности» (11/148). В чём он состоит? — «Кто сильно верует в себя, того все уважают. Надо удивить толпу смелостью. Все Максимы Ивановы за нами пойдут».

Успенский: «Да ведь это негодяй, преступник».

— Негодяев нет, есть угнетённые обстоятельствами, всё по естественным законам. Максим Иванов, по-моему, был вполне прав...

Нечаев: «Помните, что для нас догмат веры — что нет ни негодяев, ни преступников».

Успенский: «Совершенно, как в древнем христианстве».

Нечаев: «К тому же нам нужно только разрушить; к разрушению же всё пригодится, всяк материал».

Мысли Князя об историческом, «естественном» братстве как основании русского общества, «русского мира».

Ф.М. Достоевский утверждает, что это — «новая мысль». «Это не право англосаксонца, не демократия и формальное равенство французов (романского мира). Это естественное братство. Царь во главе, рабь и свободь (апостол Павел). Никогда народ русский не может восстать на царя». (11/167).

Идеологическое содержание материалов «Фантастической страницы» (11/177) позволяет сблизить позиции автора и Князя. Доказательством служат Записные книжки и тетради 1862—1865 гг., в которых философские позиции Ф.М. Достоевского изложены от первого, авторского лица.

Итак, на «фантастической странице» Князь выступает с обширной программой православной деятельности, которая, по его убеждению, должна привести к значительным социальным последствиям и переменам, вплоть до окончательного торжества общества социального братства.

Свою программу, которая, конечно, не может не отвечать определённым социальным потребностям, удовлетворять определённым общественным интересам, а посему не может не иметь принципиально политического характера, Князь противопоставляет именно политике, политическим средствам решения назревших проблем русского общества.

Он чётко и осознанно выступает против того, что «веру из политики принимаем». (Это убеждение Князя коррелирует с принципиальным тезисом самого Ф.М. Достоевского «Социальный переворот прежде политического».)

На самом же деле целей социального равенства, человеческого братства, политического и социального освобождения следует искать *другими* (то есть *неполитическими*) средствами, с помощью *принципиально* других идейных программ и идеологических доктрин, а именно: «...надо православной дисциплиной и смирением». Ибо, по мысли Князя, которую всецело разделяет и сам Ф.М. Достоевский, социальный

смысл христианства, социальные следствия осуществлённого на практике истинного христианства (то есть православия) таковы: «несть раба, все свободны».

Речь не может идти о насильственном уничтожении социальных условий политическими инструментами, которые неизбежно вновь вызовут к жизни разные формы социального отчуждения с целым веером соответствующих им явлений в духовной жизни общества.

В данном случае имеется в виду совсем иное «освобождение» от социального угнетения, классовой вражды и несправедливости. Речь идет о так называемом «духовном» освобождении «*раба*» в морально-этической сфере, в своем моральном сознании «уничтожившим», вычеркнувшим, духовно преодолевшим социальную зависимость и социальное угнетение. Достоевский уверен, что в духовном плане возможно полное освобождение (и личностное, и всеобщее, социальное), если оно опирается на добрую волю и возросшее самосознание других членов общества, прежде всего, «сильных мира сего».

Конечно же, подобная программа в целом, как глобальное средство разрешения социальных противоречий, *утопична*. С позиций современной социальной науки многие положения философско-этической концепции Ф.М. Достоевского, в основном, ориентированной на православную этическую доктрину, выглядят историческим анахронизмом.

Так, например, в записи, относящейся к знаменитой «фантастической странице» рукописных редакций и подготовительных заметок к «Бесам» (запись от 23 июня 1870 г.), автор сочувственно пересказывает основной тезис программы, с которой Князь вернулся в родные края: «Идея его — православие настоящее, деятельное (ибо кто нынче верует). Нравственная сила прежде экономической» (11/173).

Достоевский разводил и даже противопоставлял нравственные начала и экономические. Писатель подчеркивает известную самостоятельность и *невыводимость* нравственного мира личности, моральной сферы жизни общества из экономического строя. Позиция Достоевского-мыслителя изложена предельно чётко и ясно: нравственное начало должно и обязано *превалировать* в общественной жизни над экономическим.

Более того, только «правильное» нравственное развитие общества может послужить благодатной основой для развития экономических, производительных сил общества. Очевидно, что для Ф.М. Достоевского средством, которое обеспечит взлёт производительного труда и «накормит» всех страждущих членов общества, может быть только православная моральная доктрина.

«Князь уверяет Шатова, что все тайны, как довести себя до совершенства и братства, даны православием и его дисциплиной» (11/168).

Таким образом, подразумевается, что православие заключает в себе программу не только нравственного перерождения личности на пути самосовершенствования её личных качеств, но содержит в себе и необходимый проект реформ в масштабах всего общества.

Этот путь переустройства общества, когда личность целенаправленно обращает волевое усилие на себя и подвергает себя процедуре самоусовершенствования, Ф.М. Достоевский и называет «*социальным*» переворотом. Он противопоставляет его перевороту «*политическому*», понимаемому как революционное (то есть с использованием *насилия*) и *внешнее* по отношению к человеку разрешение острейших социальных противоречий, и протекающего как социальный катаклизм.

Ф.М. Достоевский, испытавший в своей личной судьбе страшные потрясения, психологически не приемлет никаких катаклизмов как таковых.

Но и относительно самой программы и процедуры «*самосовершенствования*» Князю есть, что сказать:

«Пусть не смущаются, что это трудно бывает. И не нужно всех, нужно некоторых, чтобы не умерла идея и переродился мир.

— Знаете ли вы, как силён «один человек» — Рафаэль, Шекспир, Платон и Колумб или Галилей? Он остаётся на 1000 лет и перерождает мир — он не умирает.

Иные перерождаются слишком скоро и заметно, другие незаметно» (11/168).

Проблема как раз в том и состоит, что Князь с удивительной ясностью понимает, в чём суть процесса нравственного совершенствования личности. В беседах с будущими героями романа он фактически шаг за шагом раскрывает программу и саму христианскую методику нравственного возрождения человека.

Теорией вопроса он владеет. Но на практике сам ей следовать не способен. В отличие от своего ученика Алексея Кириллова. «Казус инженера Кириллова» является очевидным нравственным парадоксом. Его суть в том, что ошибочная посылка («если бога нет, то я — бог!») своим результатом имеет героически-возвышающую линию поведения личности («я обязан заявить своеволие»). А образцом героического деяния является человеколюбивый подвиг Христа. Самораспинание Алексея Кириллова как акт самопожертвования во имя человечества: «я дверь отворю!»

К фантастической странице: «формула» идеологии *in brief*

Князь и Шатов

Князь: «Всё это только слова — надо делать».

Шатов: «Что же делать?»

Князь: «Каяться, себя созидать, царство Христово созидать. Мы веру из политики принимаем. Славянофилы и об-

раза — надо православной дисциплиной и смирением. Несть раба, все свободны».

«Не в промышленности, а в нравственном перерождении сила — нужно иметь полную силу, чтоб высказать всю идею. Мы, русские, несём миру возобновление их утраченного идеала. Зверь с раненой головой, 1000 лет. Представьте себе, что все Христы; будут ли бедные?

Шатов: «Надо в монахи, коли так?»

Князь: «Зачем? Провозглашайте Христа в Русской земле и провозглашайте собою. Нужны великие подвиги. Надо сделать великий подвиг. Нужно быть великим, чтобы пойти против здравого смысла».

Шатов: «Они говорят: в науке сила».

Князь: «Наука нравственного удовлетворения не даёт; на главные вопросы не отвечает».

Князь: «Нужен подвиг. Пусть же русская сила и покажет, что может сделать это. Подвигом мир победите».

Шатов странно задумался:

«Знаете, все это одни фантазии, — сказал он, — то же книги или... религиозное помешательство. Привлеките-ка всех к подвигу.

Князь: «Зачем всех. Поверите ли, как может быть силён один человек. Явись один, и все пойдут. Нужно самообвинение и подвиги, идея эта нужна, иначе не найдём православия и ничего не будет».

Сила в нравственной идее.

Нравственная идея в Христе.

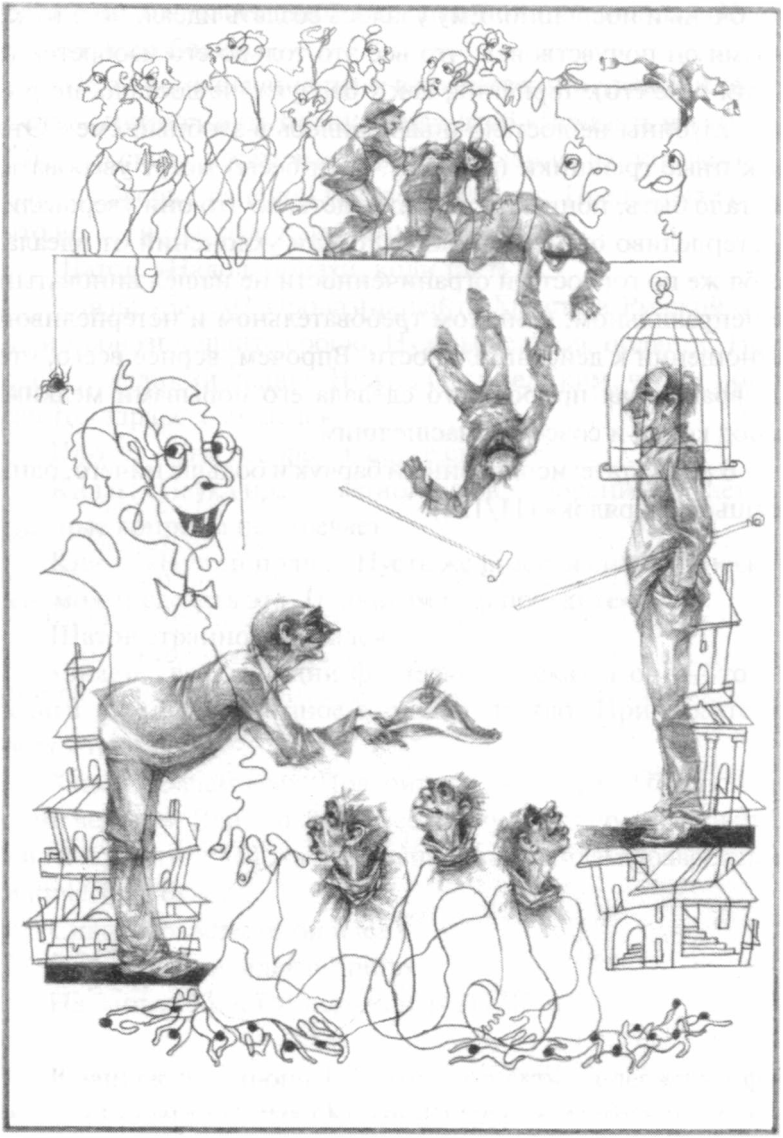
На Западе Христос исказился» (11/177).

В записи от 9 июня 1870 года, по сути, содержится финальная характеристика Князя. Даётся окончательная оценка истории богоискательства Князя.

«Князь, еще одна характеристика: испорченная природа барчука и великий ум и великие порывы сердца. Страстно

уж очень и поспешно. Ему удалось создать идеал, но в то же время он почувствовал, что всё это только его изобретение (хотя и не его). Терпения, как у барчука, не достало, ширины, глубины не достало и выкроилось в злобный смех. Это как иные грешники (говорят, что и бесы) могут уверовать, а стало быть, понимать и ясно видеть, во что они уверовали. Нетерпеливо он не простил в России уклонений от идеала; себя же по гордости и ограниченности не нашёл виноватым в неправильном, слишком требовательном и нетерпеливом отношении к действительности. Впрочем, вернее всего, что развращённая природа его сделала его порывами мелким, а под конец и совсем сумасшедшим.

В результате: испорченный барчук и больше ничего, один лишь беспорядок» (11/152).



§5. Степан Трофимович, Варвара Петровна и Николай Ставрогин: отзеркаливание героя

Исследователи творчества Ф.М. Достоевского, обращаясь к анализу личности Николая Всеволодовича Ставрогина, как правило, упускают одну важную линию. А именно: роль Степана Трофимовича Верховенского в воспитании молодого Николая Ставрогина. Между тем понять генезис становления личности Ставрогина — значит во многом разобраться в мотивационной основе его поведения.

Отметим, что в светском обществе города N, где происходят события романа, имеют хождения некоторые острые словечки о Николае Всеволодовиче, «запущенные» с лёгкой руки самого Степана Трофимовича. Например, именно ему принадлежит авторство «литературно-художественных» характеристик «резвящегося» Ставрогина, таких, как «принц Гарри», или «Гамлет».

С одной стороны, используя шекспировские образы, Степан Трофимович как бы изящно дистанцируется от морального «чудовища». И тем самым снимает с себя часть личной ответственности как с воспитателя молодого Ставрогина.

С другой стороны, именно Степану Трофимовичу в наибольшей степени, чем кому-либо другому, доступно понимание психологических мотивов экспериментальных «подвигов» Ставрогина.

«Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника» (10/35).

«Впрочем, во всём деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда ещё она вполне в него веровала» (там же).

«Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, ещё неопределённое ощущение той вековечной священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешёвое удовлетворение» (там же).

«...он (Ставрогин. — *Н.М.*) присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и всё по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать» (там же).

Опять же, после известной катастрофы, случившейся с Николаем Всеволодовичем в Петербурге, именно Степан Трофимович разъяснял Варваре Петровне сложные психологические парадоксы в характере Николая Всеволодовича. Значит, не только же в детстве и ранней юности своего воспитанника Степан Трофимович имел некоторое влияние на судьбу Николая Ставрогина (пусть хотя бы и косвенное!).

В интродукции романа, динамичной сцене появления Николая Всеволодовича в губернском городе, в доме матери, Варвара Петровна прямо обращается к Степану Трофимовичу со словами благодарности: «...вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высокость его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом» (10/151).

И опять же, говоря о характере сына, Варвара Петровна опирается на ключевые характеристики, автором которых является Степан Трофимович. — «Грустный и внезапный демон иронии», который всю жизнь терзал Николая Всеволодовича (там же). Из любопытства: исходя из каких таких данных она заключила, что именно «демон иронии» всю жизнь терзал Николая Всеволодовича? А если отвлечься от *литературно* красивых эпитетов, то кого следует подра-

зумевать под маской «внезапного демона иронии»? Никем не поименованный из присутствующих, уж не враг ли рода человеческого, то есть Сатана («беси»), мыслится доведённой до крайней степени отчаяния матерью?

В свою очередь, опираясь на «базовые» психологические компоненты характера сына, Варвара Петровна готова предложить своё понимание: «...мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Nicolas, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта «насмешливость жизни»..., эта ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант...» (10/151).

«...это было нечто высшее чудачества и, уверяю вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано оскорблённый, дошедший до той «насмешливости», о которой вы так метко упомянули, — одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович и что было бы совершенно верно, если б он не походил ещё более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду» (10/151).

Кем или чем был «рано оскорблён» Николай Ставрогин? Уж не «демоном» ли «иронии»?

Здесь необходим комментарий. Многократно отмеченный факт. Ф.М. Достоевский на каторге мог пользоваться единственной книгой — Святым Евангелием. Евангельские истории стали источником, своего рода «компендиумом», сюжеты и проблемные (модельные) ситуации которого писатель впоследствии использовал в своих произведениях. История «ставрогинских странствий» по петербургским углам — парафраз из этого же ряда. А сам Николай Всеволодович Ставрогин уподобляется Христу. Князь-Христос. Образ «светлого Князя» перекликается с образом другого Кня-

зя — Льва Николаевича Мышкина. Имплицитно это сравнение Ставрогина со Христом содержится и в словах Варвары Петровны, когда она отмечает, что в поступках сына было «нечто даже святое».

Кстати, в аналогичной проекции оказывается и Степан Трофимович Верховенский, совершая свое финальное паломничество. Удивительная история «переклички» христианских, евангельских мотивов «похождений» ученика и «странствий» учителя.

В особом комментарии нуждается вопрос об отношении Степана Трофимовича Верховенского к образу Иисуса Христа и христианству в целом.

«В бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? — говаривал он иногда, — я в бога верую, ... я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий «на всякий случай», — или как наш милый Шатов, — впрочем, нет, Шатов не в счёт, Шатов верует *насильно*, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всём моём искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гёте или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, — что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчёт же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело?» (10/33).

Определив для себя в качестве ведущей «христианскую» интерпретацию «подвигов» сына, Варвара Петровна продолжает развивать эту тему: «...неужели Nicolas, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме..., неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое состра-

дание, ту благородную дрожь всего организма, с которою Nicolas вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею». Высокий, святой ответ!» (10/152).

Слова Варвары Петровны могут быть восприняты как некоторая пародия на «высокое» и «романтическое». Но их можно интерпретировать и как простодушное желание матери придать образу сына черты высокого служения, готовности к совершению христианских подвигов. Любопытно, что Достоевский, всегда внимательно отслеживающий динамику развития внутреннего, духовного мира своих героев, практически «закрыл» внутренний мир Варвары Петровны Ставрогиной. Нам известно только, что Варвара Петровна — человек верующий, серьёзно занимающийся благотворительностью и имеет склонность ко всему «высокому и прекрасному». Что проявилось, например, в её желании издавать литературный журнал «с направлением» или устраивать литературные вечера.

«Пётр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника, — восторженно подхватила — Варвара Петровна, — одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного...» (10/155—156).

Но эти слова Варвары Петровны прозвучали через четыре года после первого «шумного» появления Николая Ставрогина в губернском городе. Когда ему было 25 лет или около того. И тогда его мамаша-генеральша несколько по-другому смотрела на наклонности своего экстравагантного сына.

«Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое знакомство Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счёт. Он уже и кроме того завёл несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже ещё ниже, — но уж такую имел наклонность» (10/40).

Здесь также необходим комментарий. Николай Ставрогин завёл «низкие знакомства» в определённой среде губернского общества ещё до *десантирования* туда Петра Степановича Верховенского. Симптоматично, что среди его контактов оказались Липутин, Лямшин и иные персонажи, которые впоследствии составили ядро подпольной организации, созданной Петром Верховенским. Но общаться с ними Ставрогин начал не по поводу революционных идеалов и социалистических убеждений. К этим людям его влекло безошибочно узнаваемое им чувство морально-психологического *подобия*, *сходства* человеческих натур. Ставрогин перенёс свои *«петербургские углы»*, свою «насмешливую жизнь» из столицы империи в губернский город N.

Дерзкие, «экспериментальные» выходки Николая Всеволодовича «ужасно» поразили Варвару Петровну. «Она призналась потом Степану Трофимовичу, что всё это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом самом роде». Казалось бы, на чём могло бы основываться её ожидание таких масштабных психологических катаклизмов? О чём предупреждал её внутренний голос?

«На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда ещё с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил» (10/40).

«Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал её некоторое время насупившись, но очень серьёзно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел» (там же). Через четыре года эта сцена повто-

рится буквально в деталях, когда Варвара Петровна публично «допросит» Николая Всеволодовича о его «женитьбе» на Хромоножке.

Почему, как в первом, так и во втором случае Николай Ставрогин не обратил вопрос матери в шутку, в лёгкий и изящный розыгрыш, в чём был большим мастером, а так «серьёзно насупившись», ушёл от ответа? Шутить не стал, а правды сказать не захотел. Оставил ситуацию дозревать «на поверхности», «на потом»... Не был ещё готов? Или особым образом готовился «заявить себя», предполагая устроить некоторую манифестацию?

Сопоставление влияния на Ставрогина обоих Верховенских

Особую тему в истории «профессора» Верховенского составляет его отцовство. Хроникёр отмечает, что Степана Трофимовича связывают с сыном, Петром Степановичем, весьма непростые отношения. Так, ему стало «совестно пред ce cher enfant (которого он в последний раз видел целых *девять* лет тому назад, в Петербурге, студентом». То есть родной отец последний раз видел своего сына (1861) и общался с ним во время совместного с Варварой Петровной путешествия в столицу империи, предпринятого для «заявления» о себе и о своей деятельности. Поскольку по характеристике Хроникёра, Петру Степановичу «на вид было лет двадцать восемь», то будучи *девятнадцатилетним* юношей он наверняка посещал литературные вечера, которые устраивал его отец, вместе со своим добрым знакомым Николаем Ставрогиным.

И ещё одно замечание. Своему воспитаннику, Николаю Ставрогину, чувствительный к идеальной красоте Степан Трофимович смог привить любовь ко всему «высокому и прекрасному». Но его собственный сын, вследствие того, что они были разлучены, и отец фактически не участвовал в его воспитании, оказался заражён ядом «нигилизма», и не

только как политическим принципом, но и как определённой культурной (точнее, *антикультурной*) матрицей.

«О Петруше доходили к нам всё такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет *шесть* тому назад, он слонялся в Петербурге без дела». Шесть лет назад, то есть приблизительно в 1864 году. В это время, как известно, Николай Всеволодович, уже выйдя в отставку с военной службы (интересно, что Хроникёр нигде не упоминает, какое воинское звание было присвоено Николаю Ставрогину при производстве его в офицеры), вёл «насмешливый» образ жизни в Петербурге. Это время, непосредственно предшествующее его первому посещению губернского города. Именно в этот период произошёл «казус Матрёши», а затем Николай Ставрогин тайно обвенчался с Марьей Тимофеевной Лебядкиной. Пётр Степанович Верховенский, кстати, был свидетелем на церемонии венчания. Этот факт указывает на то, что молодые люди поддерживали довольно тесные взаимоотношения.

А дальше их дороги разошлись. Николай Ставрогин уехал к матери в губернский город. А Пётр Верховенский погрузился в заграничную подпольную политическую деятельность.

«Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подмётной прокламации и притянутый к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, — бежал чего доброго» (10/63).

«Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года *четыре*, вдруг появляется в своём отечестве и извещает о скором своём прибытии: стало быть, ни в чём не обвинён» (там же).

Эти последние *четыре* года и Николай Ставрогин, и Пётр Верховенский провели за границей. Ставрогин, путешествуя (занимаясь «образовательным туризмом», как сказали бы

наши современники), Верховенский — на положении политического эмигранта. С большой долей уверенности можно утверждать, что в течение этих четырёх лет они несколько раз встречались.

«Мало того, даже как будто кто-то принимал в нём участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чём-то там хлопотал» (там же). Отметим, что именно Николай Ставрогин обеспечил Верховенского-младшего рекомендательными письмами весьма влиятельных особ (от графа К., например), которые ему очень пригодились по возвращении в отечество.

Почти случайная встреча с Липутиным и Алексеем Кирилловым ввергла Степана Трофимовича в состояние видимой растерянности.

«Я... давно уже не видал Петрушу... вы за границей встретились? — пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.

— И здесь и за границей» (10/73).

В связи с этим возникает вопрос, а когда Алексей Кириллов встречался с Петром Степановичем «*здесь*», то есть в России, в губернском городе? Могли ли они приезжать в город и встречаться *конспиративно*?

Комментарий Липутина привносит дополнительную информацию о взаимоотношениях Николая Ставрогина, Петра Верховенского, семейства Лебядкиных и других лиц из близкого окружения Николая Всеволодовича: «Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырёхлетнего отсутствия, — подхватил Липутин, — ездили для усовершенствования себя в своей специальности...» (10/73).

«Они и Шатова знают и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались» (10/76).

«Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, — раздражительно продолжал он, — но только

скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился, в Петербурге, лет *пять* или *шесть* тому, в ту малоизвестную, если так можно выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда ещё он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомств в Петербурге около себя завёл. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились» (10/83—84).

Таким образом, оказывается, что Лебядкины познакомились с Николаем Ставрогиным в 1864—1865 гг. Точно так же, как и Алексей Кириллов. (Получается, что из всего круга лиц, общающихся с Николаем Всеволодовичем, дольше всех он знаком с Петром Степановичем Верховенским и Иваном Павловичем Шатовым.) Это было время, когда Ставрогин был произведён в офицеры и уже оставил военную службу. Именно тогда он вёл в петербургских углах «жизнь насмешливую». Основным содержанием которой было тотальное экспериментирование над своей жизнью и жизнью окружающих.

Единственное замечание: в устах Липутина весьма необычна характеристика знакомств Ставрогина «того времени» как «странных». Любопытно, а себя Липутин к какой категории знакомств Николая Ставрогина относит?

Если же сопоставлять степень влияния на Николая Ставрогина обоих Верховенских, то именно Степан Трофимович является «демиургом» ставрогинского характера и его отношения, по крайней мере, к ценностям европейской цивилизации. Определённо, что не без влияния наставлений Степана Трофимовича Николай Всеволодович посещал лекции в Геттингенском университете, совершил паломничество в Палестину, побывал в Египте и принял участие в «учёной» экспедиции в Исландию.

По отношению же к Петруше Верховенскому Николай Ставрогин, скорее, «отзеркаливает». Заметим, что дважды в романе (один раз — Ставрогиным, второй раз — Кирилловым) Петр Степанович Верховенский назван «обезьяной» (то есть *пародией* на Николая Всеволодовича).

Впрочем, если в юные годы между воспитанником и воспитателем установились очень близкие психологические отношения, то впоследствии юный Ставрогин отдалился от Степана Трофимовича и, видимо, тяготился его откровенными излияниями. Когда и почему Ставрогин перестал быть «учеником» Степана Трофимовича и стал самостоятельной фигурой?

Отношение Николая Ставрогина к христианству вообще и к личности Христа в частности. На мой взгляд, эта тема — ключевая для понимания мотивов поведения Ставрогина. Напомню слова Шатова: «Разве не вы говорили, что если бы вам математически доказали, что истина вне Христа, то вы, скорее, предпочли бы остаться с Христом, нежели с истиной?» Квинтэссенция характера Ставрогина. Отношение к Христу Ф.М. Достоевского.

Можно ли провести параллель между «исходом» Степана Трофимовича и «евангельской» историей? Трогательная пародийность его «евангельских» скитаний. Но основной смысл его «побега» — обретение «*живого*» Христа и возвращение в христианскую семью из тупика либерального скептицизма (напомним привычки клуба друзей Верховенского-старшего: «...выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о боге вообще и о «русском боге» в особенности» (10/30). Пусть и в пародийной форме, но это реальный, и при том весьма решительный разрыв со «ставрогинской» реальностью.

Любопытно сопоставить отношение к Христу Степана Трофимовича и его либерального «двойника» — писателя

Кармазинова. Если на пороге смерти Степан Трофимович отбрасывает всё наносное и искренне открывается Христу, то для Кармазинова Христос — «*устарел*», он является «прибежищем для крестьянских баб». («Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. Простой народ ещё держится кое-как русским богом; но русский бог, по последним сведениям, весьма неблагонадёжен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере сильно покачнулся», — это слова Кармазинова, которые он произносит, «заискивая» перед Петром Степановичем Верховенским (10/287).

Кармазинов относится к сообществу мелких (либеральных) «бесей», имя которым — легион. В известном смысле последнее «скитание» или паломничество Степана Трофимовича — это то же «Mercі» Кармазинова, прощальный жест человечеству, но только искреннее и трогательное в своей беззащитности и беспомощности душевное движение интеллигентного русского человека.

Отдайте должное гениальности Достоевского! Почти за сорок лет до реальных событий он предвосхитил земной исход еще одного «евангельского» персонажа — Льва Николаевича Толстого. В известных описаниях «бегства» Льва Толстого из Ясной Поляны прослеживаются очевидные параллели с гордым вызовом, который Степан Трофимович бросил ставрогинскому миру. Своим уходом он порывает и с преступно-экспериментальной реальностью Николая Ставрогина, и с «царством опеки», то есть отсутствием свободы, которое утвердилось в Скворешниках, имении властной и деспотичной Варвары Петровны Ставрогиной. Кстати, Степан Трофимович, самый «чеховский» персонаж Достоевского, проходит свой экзистенциальный путь к свободе задолго до героев «Вишнёвого сада» или «Трёх сестер».

Зададимся вопросом: а известный эпиграф из Евангелия от Матфея (по поводу «стада бесноватых свиней») относит-

ся ли он к личности Степана Трофимовича Верховенского? Иными словами, принадлежит ли он к сообществу «бесей», которые спрыгнули с кручи и потонули в озере?

А сам «премудрый змей», Николай Всеволодович? Можно ли его уход рассматривать как участие в коллективном акте «потопления» стада «свинобесей»? Или это — «затяжной» метафизический прыжок в космическую бездну моральной ответственности и божественной правды? Парадокс в том, что самоубийство Николая Всеволодовича Ставрогина в его личностной биографии надо рассматривать именно как высший *христианский подвиг*. Это полный разрыв с «царством бесей» и окончательный переход под сень «Креста». Этот подвиг достигается им ценой «земной» жизни. И в случае с гражданином кантона Ури открывает дорогу к обретению жизни «вечной».

Кстати, о кантоне Ури. Уединение в кантоне Ури (с кем бы то ни было) для Ставрогина означало бы выбор дальнейшей жизненной судьбы в духе «не холоден, не горяч». Единственным способом покончить с этой «тёплой» психологической реальностью стал «метафизический» прыжок в «царство» «холодной» личной ответственности, обретение своего, личного Христа. Каким образом многие критики не увидели в поступке Николая Всеволодовича Ставрогина христианские мотивы и искреннее стремление обрести веру?

Своим крайним поступком Ставрогин «уравновешивает» своих адептов, учеников — Шатова и Кириллова. Совершая акт самоубийства, он одновременно воплощает идею (как Кириллов), а обретая веру, возвращается на «родную почву» (идеологема Шатова). Финальным поступком-подвигом Ставрогин «снимает» противоречие между двумя своими любимыми учениками и их мировоззренческими позициями. (В какой-то степени уподобляясь Христу и его ученикам.)

«Если все — Христы, будут ли бедные?». Если в губернском городе все — Ставрогины — то будут ли негодяи?

Варвара Петровна Ставрогина

Между тем психологический образ матери содержит ключ к характеру сына. Напомним слова Тихона, согласно которому при «несходстве внешнем чрезвычайное сходство внутреннее, психологическое». Мы уже отмечали одну любопытную деталь: почему-то эти внешне безобидные слова Тихона вызвали острую реакцию Ставрогина. Он в категорической форме отверг даже малейший намёк на сходство собственного характера и характера своей матери — Варвары Петровны. Тем более необходимо обратиться к составлению психологического портрета Варвары Петровны. Дабы понимать, какие черты этой неординарной женщины унаследовал Николай Всеволодович.

По словам Хроникёра, «это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений» (10/12). (Подробнее остановиться на сюжете «я никогда вам этого не забуду».)

«Характер Варвары Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую» (10/129).

И ещё. Хроникёр: «... я попрошу читателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю её жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу также сообразить, что, несмотря на необыкновенную твёрдость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать, даже хозяйственного, такта, которыми она обладала, всё-таки в её жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять, наконец, во внимание, что настоящая мину-

та действительно могла быть для неё из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредотачивается вся сущность жизни, — всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего» (10/145).

«— Николай Всеволодович, — ... отчеканивая слова твёрдым голосом, в котором зазвучал грозный вызов, — прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная, хромая женщина, ... правда ли, что она ... законная жена ваша?» (10/146).

«Я слишком помню это мгновение; он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать; ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял её руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что ещё один миг, и она не вынесет неизвестности» (там же).

«Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он ещё раз окинул взглядом всю комнату и, по-прежнему не спеша, направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в её взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший её черты, — восторг, который трудно людьми выносится. Может, было и то и другое, и испуг и восторг; но помню, что я быстро к ней придвинулся... мне показалось, что она сейчас упадёт в обморок» (10/146).

«— Вам нельзя быть здесь, — проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял перед нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение» (там же).

Неужели эта «необыкновенная нежность» — не что иное, как «диаволов водевиль», «бесовская» проекция души Ставрогина? На мой взгляд, с большим успехом её можно интерпретировать как проявление подлинного *христианского чувства*, непонятого окружающими и недоступного для непосвящённых.

Простой вопрос: где Ставрогин — «настоящий», в этой сцене, где в глазах его светится «необыкновенная нежность», или во время ночного посещения домика в Заречье (эти два события разделяют всего восемь дней), где с искажённым от злобы лицом он шипит: «проклятая идиотка»? Что и почему изменилось в его отношении к Хромоножке? И почему это произошло так быстро?

«— А мне можно... сейчас... стать перед вами на колени?» (10/146).

«— Нет, этого никак нельзя, — великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась» (там же).

Испуг, восторг и желание стать на колени. Комплекс этих чувств поразительно напоминает чувство *религиозного экстаза*. В таком случае, кем видит своего Князя, Николая Всеволодовича Ставрогина, Марья Тимофеевна Лебядкина? — Личностью, по своим морально-психологическим характеристикам сопоставимой с личностью *Иисуса Христа*, или его человеческого воплощения. Фигурой масштаба Льва Николаевича Мышкина, или праведника и христианского подвижника старца Зосимы, если обратиться к «идеальным» героям Достоевского.

Пётр Верховенский в пылу откровения назвал Николая Ставрогина «*красавцем*». И имел он в виду не одни только эстетические черты и выдающиеся личностные качества Ставрогина. Очевидно, что Марья Тимофеевна также считает своего Князя «красавцем». Известно хрестоматийное выражение героя Достоевского, согласно которому «Красота спасет мир». Но в случае с Николаем Всеволодовичем Ставрогиным верна и инверсия этого постулата: «Красота (*ставрогинская*) погубит мир». И ещё: «Красота красоте рознь».

Отметим и известные слова Хроникёра, которыми он передал первое впечатление от внешнего облика Ставрогина: «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску...» (10/31).

Но если отвлечься от несомненно присутствующей в словах Хроникёра этически негативной характеристики Ставрогина, то невольно возникает вопрос, кого или что по своим колористическим и иным изобразительным свойствам напоминает портретное описание Николая Всеволодовича? — Очевидно, что если это и не иконопись, то, как минимум, портрет, исполненный в стилистике парсуны. То есть, в любом случае, *иконоподобное* изображение.

Ангелы прекрасны. Но сияние их красоты жестоко ранит *человеков*. Ставрогин блистателен. Но жертвами его экспериментов стали едва ли не десять человек (при желании можно подсчитать точное число жертв Николая Всеволодовича). Может ли Христос (или его повторение) быть столь жестокосердным? Или масштаб жертвоприношения искупает грех «заклания» себе подобных?

Любой непредвзятый читатель согласится с тем, что характер общения Ставрогина и Хромоножки на протяжении романа разительно меняется. От момента, когда у Марьи Тимофеевны Лебядкиной возникло желание «стать на колени» перед образом совершенного человека (а иначе, как понимать этот порыв?) — до эпизода с выкрикиванием в ночную тьму зловещего «Гришке Отрепьеву — анафема!», то есть восприятием ею того же самого человека как закоренелого преступника и убийцы, прошло всего несколько дней. И психологическая картина взаимоотношений Князя и Юродивой кардинально изменилась.

Но всё же остаётся вопрос: почему Хромоножка желает стать перед Ставрогиным (Князем) *на колени*? Чем он так поразил её воображение? И был ли Ставрогин способен демонстрировать своё «особое» отношение к Хромоножке преднамеренно и «на заказ», для создания у зрителей эффекта «адресного» милосердия? Или это чувство было искренним, и в нём проявилась «христианская» составляющая его души?

Обратим внимание читателя на ещё один примечательный факт моральной биографии Николая Ставрогина. Косвенно он оказывается не только детоубийцей (Матрёша), но и сыноубийцей.

Предупредив Ивана Шатова о грозящей ему опасности, он не принял необходимых мер и не остановил убийц. (Здесь — прямая аналогия с убийством Марьи Тимофеевны Лебядкиной и её брата.) В результате подпольная пятёрка «наших» под водительством Петруши Верховенского убивает Ивана Шатова. Его смерть влечёт за собой гибель бывшей жены убитого — Марии Шатовой и её новорожденного ребёнка, который, как становится ясно из контекста повествования, является *сыном* Николая Ставрогина! (И которого Марья Игнатьевна Шатова нарекает Иваном.)

Таким образом, хоть и на короткий период времени, Николай Ставрогин становится отцом, а Варвара Петровна Ставрогина — бабушкой! По жестокой иронии судьбы (об этом — отдельный разговор) ставрогинский род не продолжился, а пресёкся. Уж не об этом ли символическом «ребёночке» провидчески «плачет-убивается» юродивая жена Николая Ставрогина? Совершив акт насилия над чужим ребёнком, Ставрогин теряет собственного, не успев его даже по-настоящему обрести. Высшая справедливость торжествует. Кто знает, быть может, Ставрогин успел осознать этот сюжет и прочувствовать его трагические парадоксы. Тогда данный казус мог стать ещё одним мотивом к избранному Ставрогиным завершению жизненного пути по *методике гражданина кантона Ури*.

Отметим ещё одно обстоятельство. Обычно, говоря о сбалансированности сюжетных линий литературного произведения, в качестве классического примера вспоминают А.П. Чехова. В том смысле, что если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно обязательно должно выстрелить.

Но данный принцип сюжетопостроения ещё в большей степени характерен для творчества Ф.М. Достоевского. Пример с «ребёночком» показателен, но не единичен. Роман «Бесы» весь пронизан такими сюжетными «подсказками» и представляет собой жёстко выстроенное, тщательно состыкованное литературное произведение, в котором каждая деталь значима и несёт на себе определённую смысловую нагрузку. Задача исследователя — в том, чтобы расшифровать заложенные писателем смыслы.

§6. Марья Лебядкина как «Христова невеста» Николая Ставрогина

Пожалуй, одним из самых загадочных эпизодов в бурной биографии Николая Всеволодовича Ставрогина является его тайная женитьба на Марье Тимофеевне Лебядкиной.

Диапазон оценок этого «подвига» Ставрогина обширен: от трактовки события в духе «после пьяного обеда на пари» (или, что было бы ещё печальнее, из неутолённой потребности в нравственном сладострастии) — до утверждения, что этим поступком Ставрогин совершил христианский подвиг. И если в первом случае Марья Тимофеевна предстаёт в виде «жертвочки» психологически изощрённого мучителя (и во многом напоминает образ героини из рассказа Ф.М. Достоевского «Кроткая»), то во втором — в образе «Христовой невесты».

Образ Марьи Тимофеевны Лебядкиной как нельзя лучше подходит, чтобы быть «классическим» описанием «юродствующей во Христе».

Впервые в романе читатель с ней сталкивается во время посещения Хроникёром (Антоном Лаврентьевичем) Ивана Шатова.

«Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза её были и теперь ещё замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в её тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке её, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно, что вместо тяжёлого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных богом существ,

мне стало почти приятно смотреть на неё с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною тогда» (10/114).

О самой Марье Тимофеевне известно не так много. Её историю (как и о «судьбическом» факте пересечения с Николаем Всеволодовичем Ставрогиным в Петербурге) рассказывает Пётр Степанович Верховенский. И делает он это в заведомо ироническом, даже ёрническом тоне. Очевидно, для того, чтобы понизить образ Хромоножки. А, самое главное, нивелировать в глазах губернского общества истинное отношение Ставрогина к Марье Лебядкиной.

Собственно, существенную часть интриги романа составляют вопросы: кто такая Хромоножка, кем она приходится Николаю Ставрогину и, наконец, когда Ставрогин публично объявит о своей женитьбе на Марье Лебядкиной? Отметим, что великосветская часть губернского общества ожидает этого с нетерпением, предвкушая небывалый скандал и неизбежное падение прежде непререкаемого авторитета его матери, Варвары Петровны Ставрогиной.

Ещё несколько штрихов к истории Хромоножки. «Есть основания полагать, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания» (10/149).

«Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о её содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пенсионе, рублей в триста по крайней мере...» (10/150). То есть Николай Ставрогин ещё четыре года тому назад предпринял меры к обеспечению Марьи Тимофеевны. Совершая эти действия, в качестве какого персонажа рассматривает он свою Хромоножку? Ещё раз отметим, что супружеских отношений между Николаем Ставрогиным и Марьей Лебядкиной, по-видимому, не наблюдается. В то же время очевидна

проявленная Ставрогиным забота о том, чтобы его законная супруга не умерла, по крайней мере, с голода.

«Допетербургская» биография Марьи Тимофеевны читателю не известна. Собственно, в романе она появляется всего несколько раз — в сцене знакомства с Варварой Петровной в церкви, а затем у неё в городском доме, и во время посещения Николаем Всеволодовичем домика в Заречье. Между тем по влиянию на судьбу самого Николая Всеволодовича и окружающих его лиц (Варвары Петровны, Лизаветы Николаевны, Ивана Шатова, «капитана» Лебядкина, Петра Верховенского и других) она занимает первостепенное значение. В свете этих обстоятельств фигура Хромоножки в романной действительности приобретает совсем иной колорит.

Более того, её убийство Федькой Каторжным является *поворотным пунктом* в судьбе самого Николая Ставрогина. После её трагической и мученической гибели духовное возрождение Ставрогина окончательно и принципиально стало невозможным.

Почему Ставрогин, ясно понимая намерения Петра Верховенского, не остановил убийц брата и сестры Лебядкиных? Какой мотив им движет? Наконец, предательство его «Христовой невесты», которое она так гениально предугадала, не должно ли оно было ассоциироваться у Ставрогина с поступком *Иуды*? Если, конечно, исходить из версии, согласно которой Князь-Ставрогин высоко чтит христианский подвиг и сам стремится совершить его подобие.

Можно ли сказать, что гибель Марьи Тимофеевны является своего рода «жертвоприношением», искупающим безмерную вину Николая Ставрогина и освобождающим его от «проклятия Матрёши»? В том смысле, что «ценность» одной смерти (антижизни) «замещается» «ценностью» другой смерти. Параллельно возникает тема *циклического* повторе-

ния раз за разом новых попыток к возрождению: за преступлением над Матрёшей следует женитьба на юродивой Марье Тимофеевне Лебядкиной. А со смертью последней Ставрогин, окружённый сообществом «бесей» Петруши Верховенского, в очередной раз приобретает «право» (ценой молчаливого согласия на убийство) на ещё одну попытку обрести земное счастье. На этот раз с Лизой Тушиной (Дроздовой). А «под занавес», едва пережив гибель Лизаветы Николаевны, предлагает Дарье Павловне Шатовой стать его «сиделкой» в кантоне Ури в Швейцарии.

Как мы уже отмечали, в каком-то смысле Николай Ставрогин является парафразом Дон Жуана. Но только вместо нескончаемого поиска женской красоты и совершенства он ищет идеальную модель для своего персонального возрождения.

Особая тема — «юродство» Марьи Тимофеевны. Известно, что Фёдор Михайлович Достоевский весьма интересовался явлением юродства на Руси и собирал факты на эту тему. В чём сила духа «юродивых», «слабеньких» Достоевского? — В том, что они открыты миру, способны перенести и покаяние, и смех, и ненависть окружающих, тайные помыслы которых открываются им в пророческих видениях.

В романе «Бесы» помимо Марьи Тимофеевны Лебядкиной выведен ещё один юродивый — колоритный Семён Яковлевич. Его роль в общем замысле романа состоит в том, чтобы на контрасте пародировать саму тему юродства вообще и образ Марьи Тимофеевны в частности. Тем самым понижая её значение в судьбе Ставрогина для непосвящённых.

Марья Тимофеевна Лебядкина, или Хромоножка, законная, обвенчанная жена Николая Всеволодовича Ставрогина. Бракосочетание произошло пять лет тому назад (относительно романного повествования) в Петербурге, то есть когда Николаю Ставрогину было около 25 лет. Свидетелями бракосочетания были Алексей Кириллов, Петр Верховен-

ский и Тимофей Малов (персонаж, о котором сам Ставрогин упоминает всего один раз, в 9 главе «У Тихона»). Кстати, необходимо кропотливо вписать историю с Хромоножкой в морально-психологическую биографию Ставрогина. Так, например, при тщательном сопоставлении всех обстоятельств оказывается, что Николай Ставрогин сочетался узами брака с Марьей Лебядкиной вскоре после казуса с Матрёшей. И вслед за этим он приехал в губернский город впервые после петербургского периода «чудачеств».

Затем, насколько известно из текста романа, «супруги» практически не виделись все эти пять лет. По распоряжению Ставрогина Марья Тимофеевна была помещена в монастырь, откуда её через некоторое время для своих меркантильных целей «изъял» Лебядкин и привёз в губернский город.

Аберрации сознания Марьи Тимофеевны выразительны деталями: образ булочки, которая всегда находится рядом с Хромоножкой и от которой она откусывает время от времени по маленькому кусочку. Иллюстрированная книжка про рыцарей и рыцарские походы. В преддверии официального объявления о браке с Николаем Всеволодовичем Хромоножка готовится вести жизнь светской дамы: «Я смогу принять иностранных путешественников».

Эти причудливые образы переплетаются с провидческими проникновениями в нравственный мир Николая Ставрогина и лиц из его ближайшего окружения.

Как заявил Ставрогин Шатову во время их знаменательной встречи, Марья Тимофеевна — «девица». Несмотря на то что Шатову она много рассказывала о бывшем у неё «ребёнке» (показательно, что свою историю «о ребёнке» она рассказывает именно Шатову, а не кому-нибудь другому), образ ребёнка дополняет и усиливает трагедийное восприятие юродивой. И, как впоследствии окажется, особым колоритом освещает и «православного бунтаря» Ивана Шатова.

Следует остановиться на интерпретации тех аллегорических картин, которые всплывают со слов Хромоножки во время её встречи с Шатовым и Хроникёром. Тема младенца (при том, что она ни разу не упомянула «отца» ребёнка). Образ Богородицы как «Мать сыра земли». Роль и место Марьи Тимофеевны в монастыре, куда она была помещена. Её рассказы о матери-игуменье. Эти сюжеты заслуживают отдельного детального исследования.

Так, например, можно ли «сон о ребёночке» рассматривать как некое пророчество? А образ младенца трактовать как надежду на нравственное возрождение (дети — безгрешны и невинны) Князя? Но почему тогда Хромоножка своими собственными руками «снесла его в пруд»? И почему Марья Тимофеевна «не знает» отца ребёночка?

«И всё больше о своем ребёночке плачу...

— А разве был? ...

— А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик, аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещённого понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.

— А может, и был? — осторожно спросил Шатов.

— Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его всё равно что и не было?

— Куда же ребёнка-то снесла?

— В пруд снесла, — вздохнула она. (Какая говорящая деталь! Тема «отцовства» «ребёночка» и дальнейшей судьбы усыновившего его «отца». — *Н.М.*).

— А что коли и ребёнка у тебя совсем не было и всё это один только бред, а?

— Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, — раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, — на этот счёт я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твоё любопытство; я ведь всё равно о нем плакать не перестану, не во сне же я его видела?» (10/117).

Ретроспективное чтение романа приводит к совершенно неожиданным поворотам темы. И «видения» Хромоножки оказываются в высшей степени провидческими предвосхищениями судьбы некоторых персонажей повествования.

Марья Тимофеевна видит свои истории не во сне («не во сне же я его видела...»), а *наяву*. Таким способом она подтверждает реальность своих видений — интроспекций.

Ребёночек родился (его родила жена Шатова Марья Игнатьевна), а мужа своего она «не знает». Ну конечно! Биологическим отцом ребёнка является Николай Ставрогин, но Шатов заявил свои права на его усыновление, и теперь он и по закону, и по совести может считаться отцом ребёнка.

Наконец, родившегося «некрещёного» ребёночка «она снесла» в пруд. Иван Шатов к моменту описываемых в романе событий коренным образом изменил свои убеждения (о чём и заявил во всеуслышание) и страстно пытается «поверить в Бога», то есть стремится к вере, но ещё её не обрёл. В этом смысле он может рассматриваться как «некрещёный».

И последний, трагический момент. Ивана Шатова, как и «ребёночка» из видений Хромоножки, «снесли» в пруд после убиения! Таким образом, между Шатовым и *«ребёночком»* устанавливается некая, с одной стороны, мистическая, а с другой, вполне реальная, земная, практически родственная, связь.

В нашей трактовке, Марье Тимофеевне открыты такие личностные стороны Князя (Николая Всеволодовича), и, судя по всему, только ей и архиерею Тихону, которые дают основание надеяться на неокончательность его нравственного падения. Порождают надежду на то, что Ставрогин ещё не вошёл в сонм «бесей» навсегда. Символическим знаком, «*залогом*» этих христианских качеств личности Ставрогина и выступает «ребёночек».

В контексте данной мизансцены возникает одна серьёзная тема. Это проблема истинного восприятия Николаем Ставрогиным своей юродивой «жены». Действительно, с какой целью Ставрогин женился на Лебядкиной? Тем более необходимо учитывать, что этот «странный брак» был заключён вскоре после казуса с Матрёшей. Как в высшей степени нравственно-сладострастного «подвига» Николая Всеволодовича.

Вполне определённое, и даже жёсткое, заявление Ставрогина о том, что Марья Тимофеевна — «девица» — сразу «отбивает» всякие психоаналитические версии о неодолимом сексуальном влечении Ставрогина к Марье Тимофеевне. При этом в своей исповеди на встрече с Тихоном Ставрогин признаётся, что в случае с Матрёшей было нечто, «для страстей моих приятное».

То есть это надо понимать таким образом, что наделённый, по его собственному признанию, «звериным сладострастием», Ставрогин с холодной головой мог в любой момент его обуздать. И если в ситуации с Матрёшей сам не захотел «останавливать», а решил «эксперимент» довести до конца, то с Марьей Тимофеевной всё обстоит с точностью до наоборот. Ставрогин состоит с ней в законном браке, а Марья Тимофеевна пребывает в *девичестве*.

Отметим, что к теме мужского влечения к юродивой Достоевский вновь вернулся в «Братьях Карамазовых». Юродивая Лизавета Смердящая пала жертвой сексуальных фанта-

зий Фёдора Павловича Карамазова, в результате чего на свет появился его четвёртый сын — Смердяков. Фёдор Павлович Карамазов совершил грех, искушение перед которым либо не ощутил, либо преодолел Николай Ставрогин.

Таким образом очевидно, что побудительным мотивом к женитьбе на Лебядкиной для Ставрогина были не сладострастные (как в сексуальном, так и в нравственно-сладострастном духе) позывы, а мотивы совершенно другого порядка. Женитьба на Марье Тимофеевне стала для Ставрогина *христианским подвигом* и одним из элементов его «Креста». Проблема только в том, что Ставрогин и в этот раз не удержался на высоте подвига, «*Креста*», и вслед за движением морально-психологического маятника «провалился» в «подполье», к «*бесям*».

Интересно, что именно Марья Тимофеевна провидчески ясно видит двойственность, амбивалентность личности Николая Ставрогина, определяя его «высокое» начало («Крест») как «*княжество*», а низкое («беси») как «*самозванство*». Возможно, Достоевский вынужденно наделил её этой способностью, поскольку 9 глава «У Тихона» была исключена из текста романа, и характеристики личности Ставрогина, данные архиереем Тихоном, выпали из контекста.

Исходим из того, что перед нами *синтетическое единство* двух сторон, двух начал, двух личностей: «Князя» и «Самозванца». Марья Тимофеевна сориентирована на светлый образ «моего Князя», «сокола», который «высоко летает». Захочет — поклонится Богу, а не захочет, так и кланяться не будет.

«Слушайте, князь... как сказали вы мне тогда, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится» (10/216). Роль тайны в жизни Хромоножки. Тайный брак с Князем — единственная *ценность*, которой обладает Марья Тимофеевна. И она намерена её защищать всеми доступными ей способами.

«Но всё-таки тогда в воскресенье они смотрели на меня с безнадёжностью. ... Очень я боюсь, чтоб они не огорчили его как-нибудь неосторожным отзывом на мой счёт» (там же). Хромоножка расценила воскресную встречу как некие «смотрины», устроенные ей родственниками «Князя». И её очень беспокоит, чтобы вмешательство с этой стороны не разрушило бы трепетного отношения к ней *Князя*.

«Впрочем, ничего мне это не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому тут всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку, конечно. Ведь он знает, что скорей мне их жалеть, а не им меня» (там же).

Почему Марья Тимофеевна полагает, что скорей она «должна их жалеть»? Может быть, потому, что ей, как юродивой, открыты некие тайны, и она предвосхищает судьбы окружающих?

«Посмотрела я на вас всех тогда: всё-то вы сердитесь, всё-то вы перессорились; сойдутся, и посмеяться по душе не умеют. Сколько богатства и так мало веселья — гнусно мне это всё. Мне, впрочем, теперь никого не жалко, кроме себя самой» (10/216—217).

Интересный поворот сюжета. Почему Хромоножке теперь «никого не жаль»? А жаль только себя? Какую опасность она предчувствует лично для себя?

Ставрогин пытается «переключить» Хромоножку на другую тему, но лишь усугубляет ситуацию *коммуникативного диссонанса*.

«Я слышал, вам с братом худо было жить без меня?

— Это кто вам сказал? Вздор; теперь хуже гораздо; теперь сны нехороши, а сны нехороши стали, потому что вы приехали. Вы-то, спрашивается, зачем появились, скажите, пожалуйста?» (10/217).

В данном фрагменте очевидно, что Хромоножка воспринимает Ставрогина уже не как «Князя». А к Ставрогину

(не-Князю) она настроена весьма враждебно. В том числе и потому, что с его приездом «сны стали нехороши». А сны для Марьи Тимофеевны переплетены с реальностью, более того, они для неё реальнее, чем сама «реальность».

Логика Хромоножки.

«— А не хотите ли опять в монастырь?

— Ну, я так и предчувствовала, что они опять монастырь предложат! Эка невидаль мне ваш монастырь! Да и зачем я в него пойду, с чем теперь войду? Теперь уж одна-одинёшенька! Поздно мне третью жизнь начинать» (там же).

Почему Хромоножка так негативно, даже враждебно встречает предложение поместить её «опять» в монастырь? Опять же, если ретроспективно «отмотать ленту» романного действия назад, то, видимо, именно в этой сцене Николай Ставрогин принимает решение о дальнейшей судьбе своей «Христовой невесты». И вариант с «монастырём» означал бы для Марьи Тимофеевны, по крайней мере, возможность физического выживания. Отвергнув его, она подписала себе смертный приговор. Но об этом Николай Всеволодович ещё не знает. А сама Хромоножка только догадывается — в пророческих видениях, которые граничат со «ставрогинской» реальностью.

«Николай Всеволодович не простоял и минуты, она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но, должно быть, что-то странное произошло и с гостем: он продолжал стоять на том же месте у дверей; неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматриваясь в её лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров, может быть, в нём выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение её испугом — если только не померещилось так со сна Марье Тимофеевне: но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас,

по нём пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь-в-точь как испугавшийся ребёнок; ещё мгновение, и она бы закричала. Но гость опомнился; в один миг изменилось его лицо, и он подошёл к столу с самою приветливою и ласковою улыбкой» (10/215).

На всякий случай напомним читателю сцену в доме у Варвары Петровны, когда Ставрогин на глазах собравшегося по случаю общества подошёл к Хромоножке, и во взгляде его засветилась «необыкновенная нежность». Но и у Марьи Тимофеевны в этот раз едва ли могло появиться желание «стать на колени» перед «таким» Ставрогиным! Разительный контраст. Диаметрально противоположная ситуация.

Что имеет в виду юродивая, говоря о том, что теперь на белом свете она «одна-одинёшенька»? Только ли об отсутствии своего Князя и «ясна сокола» горюет она, или о чём-то ещё? В чём состоит для неё смысл своей «метафизической покинутости»? И что за символическое дитя мыслится ею как «жертвоприношение» Князю? ... И что означает фраза, что поздно ей третью жизнь начинать? Так ли это надо понимать, что первая её жизнь — это период до встречи со Ставрогиным, вторая — *житие* с Князем, а третья — возможная её совместная жизнь с Николаем Всеволодовичем в швейцарском кантоне Ури. И почему именно «поздно»? — Может быть, потому, что она предвидит, что никакой «третьей жизни» у неё уже не будет?

«Виновата я, должно быть, пред ним в чём-нибудь очень большом, ... вот не знаю только, в чём виновата, вся в этом беда моя ввек. Всегда-то, всегда, все эти пять лет, я боялась день и ночь, что пред ним в чём-то я виновата. Молюсь я, бывало, молюсь и всё думаю про вину мою великую пред ним. Ан вот и вышло, что правда была.

Да что вышло-то?

— Боюсь только, нет ли тут чего с его стороны... Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. ... Все в заговоре — неужто и он? Неужто и он изменил?» (10/217).

Достоевский очень внимательно относился к теме юродства. Он полагал, что юродивые (не шарлатаны) наделены от Бога неким провидческим даром. И проблема только в том, чтобы правильно трактовать и интерпретировать их «пророчества». Как мы уже отмечали, «юродивые» и «слабенькие духом» Достоевского открыты миру и, в отличие от Ставрогина, способны перенести и искреннее покаяние, и насмешки, и гнев окружающих.

Поэтому очень важен вопрос, о какой «вине в чём-то очень большом» перед Князем-Ставрогиным рассуждает Марья Тимофеевна? И в какой «измене» она подозревает своего Князя? Уж не о «высоком» ли подвиге подвижничества, на который, как предчувствует Хромоножка, потенциально способен её «ясный сокол» и от которого он отворачивается под влиянием «людишек», горюет она?

Вместо отвергнутого Марьей Тимофеевной варианта с монастырём Николай Всеволодович предлагает ей другой: поехать вместе с ним в Швейцарию, в уединённое место, в кантоне Ури. И один из резонов, который должен был её замотивировать, — это возвращение к прошлому, к тем отношениям, которые сложились у «супругов» во время «петербургского» периода жизни Николая Ставрогина: «Хотите, всю жизнь не буду говорить с вами, хотите, рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге в углах ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете» (10/218).

«А вы что такое, чтоб я с вами ехала? Сорок лет сряду с ним на горе сиди — ишь подъехал. И какие, право, люди нынче терпеливые начались! Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь!» (там же).

Хромоножка отказывается видеть в Николае Всеволодовиче «своего Князя». И поскольку Ставрогин прямо признаётся в том, что он — «не-Князь», то Марья Тимофеевна подозревает его в том, что он убил «Князя», действуя от имени его «врагов».

«Господи, — всплеснула она руками, — всего от врагов его ожидала, но такой дерзости — никогда! Жив ли он? — вскричала она в исступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича. — Убил ты его или нет, признавайся!» (10/218—219). Новый поворот сюжета: Николай Ставрогин как *«убийца»* Князя!

«Похож-то ты, очень похож, может, и родственник ему будешь, — хитрый народ! Только мой — ясный сокол и князь, а ты — сыч и купчишка! Мой-то и богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет, а тебя Шатушка (милый он, родимый, голубчик мой) по щекам отхлестал, мой Лебядкин рассказывал. И чего ты тогда струсил, вошёл-то? Кто напугал? Как увидала я твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, — точно червь ко мне в сердце заполз: не он, думаю, не он! Не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светскою барышней! О господи! Да я уж тем только была счастлива, все пять лет, что сокол мой где-то там, за горами, живёт и летает, на солнце взирает...» (10/219).

Хромоножка фиксирует коренное различие между Князем и «купчишкой». Князь в Петербурге относился к юродивой как к «графине» (если не сказать, как к христианской *святыне!)*, а «купчишка» приниженно «постыдился» Хромоножки перед «светскою барышней». То есть *Князь (именно Князь!),* в восприятии Марьи Тимофеевны, свободен и самодостаточен. Он, говоря словами Кириллова, «заявляет своеволие». Будучи самовластен, он независим от мнения окружающих. Он сам определяет границы дозволенного

и допустимого. Напротив, низкий духом «купчишка» «струсил» перед светским мнением и из страха предал свою мечту о «христианском» подвиге.

«Прочь, самозванец! ... Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!» (там же).

В этой эмоционально насыщенной сцене ключевой является фраза-формула Марьи Тимофеевны относительно Николая Всеволодовича, или Князя: «... захочет, и богу поклонится, а захочет — и нет». В этой формуле провидчески заключена вся «тайна Ставрогина». В уста юродивой Достоевский вложил основную дилемму личности морального экспериментатора:

— Если Бог есть и вера в него жива, то любой грех и любое преступление, как бы ни были они тяжки, могут быть искуплены. У человека всегда остаётся *шанс* на нравственное возрождение.

— Если Бога нет, то ответственность за неправедный поступок любого масштаба лежит на самом человеке. Нет никакой силы или инстанции, которая могла бы его «подстраховать». В таком случае человек обречён. Нравственное возрождение для него «заказано». (Инверсия человекобожеской концепции Кириллова.)

Николай Ставрогин искал «залога» веры, а реально получил нравственный закон в формулировке «от Хромоножки — Христовой невесты». И пророческое прорицание о его «впадении в новое преступление». Марья Тимофеевна не только разглядела задатки преступника в Ставрогине не-Князе, но она указала и способ, которым будет совершено её собственное убийство. («Прочь, самозванец! — повелительно вскричала она. — Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа! — Ножа! — Да, ножа! У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела: ты как вошёл давеча, нож вынимал!» (10/219).

§7. Ставрогин и Кириллов: спор о «сильной» личности

Инженер Алексей Кириллов, так же как и Иван Шатов, является личностной проекцией Николая Ставрогина. Плодом его экспериментальных поисков «идеи».

Но, в отличие от Ставрогина, Кириллов свою идею «додумывает» и «определяет» до конца, доходя в её реализации до конечных, крайних значений.

Одна из особенностей психологического портрета Ставрогина — это «отзеркаливание» его глубинных, сущностных личностных характеристик с помощью проекций его «сателлитов» — Шатова, Кириллова, Петра Верховенского и других.

В этой связи отметим «обратное отзеркаливание» Ставрогина Кирилловым.

Если, находясь в монастыре на исповеди у Тихона («фантомная» 9 глава), Ставрогин признается в сексуальном преступлении над *откровицей* и рассказывает о возникших на этой почве пароксизмах ненависти к детям вообще, а к Матрёше в особенности, то Кириллов, напротив, искренне любит детей и легко находит с ними общий язык.

В этом смысле показательно и отношение к детям «бирюка» Шатова. Достаточно напомнить сильную в художественном отношении сцену возвращения Марии Шатовой к оставленному мужу и затем последовавшие за этим роды. В известном смысле Шатов заплатил жизнью за своё восторженное отношение к таинству появления на свет новой человеческой души.

Почему Петруша Верховенский избрал своим инструментом воздействия на Ставрогина именно Кириллова? Очевидно, что Кириллов имеет определённое влияние на Ставрогина.

В то же время финальная сцена самоубийства наглядно продемонстрировала истинное отношение самого Кириллова к младшему Верховенскому. Тем более, открытым остается вопрос о том, что же связывает Кириллова и Петра Верховенского?

В отличие от Шатова, который восторженно относится к Николаю Ставрогину и видит в нём чуть ли не мессию, Кириллов очень сдержан в оценке личностных качеств Николая Всеволодовича. На кокетливые слова Ставрогина о том, что он «в сильные натуры не лезет», Кириллов отрубает: «Вот и не лезьте. Вы не сильный человек». По его тону и манере обращения можно судить о том, что он уверен в своём праве судить Ставрогина и его поступки.

Но при этом (в отличие от Петруши Верховенского, который имеет на Ставрогина «свои» виды) Кириллов относится к Николаю Всеволодовичу с искренней симпатией. «На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими чёрными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством» (10/187).

И далее: «Глаза его опять загорелись. Он всё смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твёрдым и неуклонным» (10/189). Между Ставрогиным и Кирилловым происходит «дуэль» взглядов. На открытый взгляд-вызов Кириллова Николай Всеволодович отвечает по-ставрогински: «Ставрогин нахмурено и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было» (10/189).

«Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в бога уверуете, — проговорил он, вставая и захватывая шляпу» (там же).

Отметим, что за то время, в течение которого они не общались (два года), Кириллов существенно изменился в духовном плане. Ставрогин с удивлением наблюдает «нового» Кириллова, додумавшего свою «мысль» до логического кон-

ца. А исходные пункты этой «идеи» в свое время ему предложил сам Ставрогин. Важно, что, выстроив свою «идею», Кириллов полностью погружается в то идейно-смысловое пространство, которое ею задаётся. Он твёрдый и последовательный адепт «человекобожества». Именно эта идея даёт ему колоссальную энергию и твёрдость характера.

Несколько неожиданно для себя Ставрогин вынужденно соглашается с автохарактеристикой Кириллова:

«...вы хороши?

— Я хорош.

— С этим я, впрочем, согласен, — нахмурено пробормотал Ставрогин» (10/189).

И в беседе Кириллова и Николая Ставрогина после дуэли с Артемием Павловичем Гагановым Кириллов и Ставрогин меняются местами. Здесь Кириллов — учитель, строго спрашивающий со своего ученика. А Ставрогин — ученик, отвечающий не очень твёрдо выученный урок.

После завершения «странной» дуэли Кириллов высказывает своё отношение к ней. По его мнению, Ставрогин не должен был вызывать Гаганова и должен был молча снести от него оскорбление.

Это замечание задевает Ставрогина. «Я начинаю ничего не понимать! ... Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может снести?

— Я думал, вы сами ищете бремени.

— Я ищу бремени?

— Да.

— Вы это ... видели?

— Да.

— Это так заметно?

— Да.

Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражён» (10/227). Характерно, что Ставрогин, стало быть, соглашается с Кирилловым в том, что он «ищет бремени».

О каком «бремени» может идти речь? И почему Ставрогина поразило то обстоятельство, что его искания «бремени» так заметны для внешнего наблюдателя? Кстати, «бремя», на которое, по мысли Кириллова, должен решиться Ставрогин, очень похоже на «кару», которую, как полагает Шатов, должен перенести Николай Ставрогин.

Далее Кириллов усиливает свой тезис: «Несите бремя. А то нет заслуги.

— Наплевать на вашу заслугу, я ни у кого не ищу её!

— Я думал, ищете» (10/228).

О какой «заслуге» идет речь? И по логике Кириллова выходит, что, если «нести бремя», то в результате будет «заслуга». Необходимо разъяснить природу этой «заслуги». Поскольку о ней рассуждает Кириллов, то, очевидно, он знает, в чём нуждается Ставрогин (причём в не меньшей степени, что и сам Кириллов). Их обоих тревожит и мучает, доводя до пароксизмов, *потребность в вере*. (Если будешь со смирением нести «бремя», то рано или поздно получишь «заслугу», то есть настоящую, искреннюю, подлинную *веру*).

«Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного» (там же).

Здесь для комментирования возникает целый комплекс вопросов. Кто налагает бремя? Перед кем нужно нести бремя, чтобы получить «заслугу»? Очевидно, что и «бремя» и «заслуга» находятся во власти некоей могущественной силы. Что это за сила? И почему надо стыдиться, если несение «бремени» дается так тяжело в силу природных обстоятельств (например, слабости характера)?

В разговоре с Кирилловым Ставрогин «проигрывает» один мысленный эксперимент. Суть его — в том, что если совершить какое-нибудь позорное или страшное преступление, которое вызовет общественное негодование, а затем исчезнуть из этого мира (например, оказаться на Луне), то «какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет...?» (10/187). Но, похоже, что Ставрогина заботит не столько мнение людей, сколько вопрос о том, сможет ли он сам, хоть «на Луне», хоть «на Марсе», освободиться от рефлексии и самооценки. И если подобные вопросы настолько глубоко волнуют Николая Всеволодовича, то очевидно, что дистанцироваться от собственного «я» он не сможет ни при каких обстоятельствах.

По композиции романа, за беседой с Кирилловым следует встреча с Шатовым, а затем посещение семейства Лебядкиных. Именно в конце разговора Шатов советует Ставрогину побывать у архиерея Тихона. Дальше должна была следовать 9 глава «У Тихона», которая была исключена из текста романа. Складывается впечатление, что в разговоре с Кирилловым Ставрогин «прокатывает» некоторые тезисы своей несостоявшейся впоследствии беседы с Тихоном. Это легко проследить, сопоставив основные тезисы бесед Ставрогина с Кирилловым и Тихоном.

Отметим, что Кириллов отдаёт должное мощному личностному воздействию, которое оказал на него Ставрогин. «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин» (10/189). И опять здесь буквальный повтор, в последовавшей затем беседе Шатов, объясняя мотивы, побудившие его дать пощёчину Ставрогину, бросает Николаю Всеволодовичу горький упрёк: «... когда я подходил, я не знал, что ударю... Я за то, что вы так много значили в моей жизни» (10/191).

Значимость общения этих героев романа определяется, в первую очередь, идеологическими причинами. Если судить по дискуссии, то именно Ставрогин в свое время предложил

Кириллову исходные тезисы, из которых Кириллов вывел целую теорию «человекобожества», закономерным логическим следствием которой является тезис о необходимости самоубийства.

Любопытно, что Ставрогин способен нивелировать построения Кириллова, используя диалектический метод (в классическом его понимании). Ставрогин вскрывает основной тезис Кириллова. Но затем теряет интерес к продолжению дискуссии.

«Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в бога уверуете...» (10/189).

«Уж не вы ли и лампадку зажигаете? ... А сами ещё не молитесь? (там же).

Кстати, здесь тоже прослеживается повтор. Во время финальной встречи Кириллова и Петра Верховенского, которая, собственно, завершается самоубийством Кириллова, Петруша выдвигает те же критические замечания к теории *философствующего* инженера.

Главный пункт, который объединяет Ставрогина и Кириллова (как, впрочем, и Шатова), — это стремление обрести веру. Кириллов к вере идет своим путем, через натурфилософию. «Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползёт» (там же).

Здесь, кстати, возникает некий парафраз темы «красного паучка», затем появляющейся в романе «Подросток». Ключевое значение тема «паучка» имеет в несостоявшейся (в смысле неопубликованной) исповеди Ставрогина. Страшный, мохнатый и отвратительный паук присутствует и в «Преступлении и наказании». Творчеству Достоевского был присущ некий символический зооморфизм.

Следует оценить и такую деталь. Федька Каторжный, беглый каторжник и вор, готовый на определённых финан-

совых условиях выступить исполнителем самых мрачных криминальных фантазий Ставрогина, находит себе убежище именно у Кириллова. Тем самым, косвенно, Кириллов несёт свою долю солидарной ответственности за дальнейшую судьбу Ставрогина и за «финальные» страшные преступления, которые лежат на совести Николая Всеволодовича. Но можно ли сказать, что Кириллов провоцирует (искушает, выступая ещё одним персонажем из череды «бесей») Ставрогина? Скорее, ему более подходит амплуа «*антибеса*».

Полагаю, что это обстоятельство связано с принципиальной мировоззренческой позицией Кириллова, согласно которой, с «метафизической» моральной точки зрения, «всё хорошо»: «Кто обидит девочку — это хорошо. И кто размозжит за это голову обидчику девочки — это тоже хорошо». Кирилловская теория, что «всё хорошо», сопрягается с концепцией самого Ф.М. Достоевского, согласно которой, «все за всё в ответе».

В отличие от пары «Ставрогин — Шатов» пара «Ставрогин — Кириллов» исследована существенно меньше. Отчасти это связано с тем, что личность Кириллова наиболее загадочна в галерее героев «Бесов» (помимо, конечно, самого Николая Всеволодовича). В том числе и потому, что на неё падает зловещий отсвет *танатологической* проблематики. В любом случае, фигура Алексея Ниловича Кириллова — одна из ключевых для понимания психологических мотивов Ставрогина.

Думаю, что морально-психологическую биографию Кириллова необходимо изучить столь же тщательно, как и историю его «духовного отца», Николая Ставрогина.

В свою очередь, инженер Кириллов столь же определённен и последователен в своих оценках «старшего беса», Петруши Верховенского, как и по отношению к Ставрогину. К финальной сцене самоубийства инженера мы ещё вернёмся. Но

характерен и эпизод, в котором Верховенский с Липутиным приходят к Кириллову с тем, чтобы убедиться, что Кириллов находится «в прежних мыслях».

Продолжая разговор с Кирилловым об «идее», Пётр Степанович намеренно его провоцирует, желая получить стопроцентную гарантию, что в решающий момент инженер не подведёт и согласится «прикрыть» «художества наших» своим идейным самоубийством.

«— Вот, видите ли, — продолжал Пётр Степанович, всё более и более сердясь и беспокоясь и не находя надлежащего тона, — вы хотите, чтоб я ушёл, для уединения, чтобы сосредоточиться; но всё это опасные признаки для вас же, для вас же первого. Вы хотите много думать. По-моему, лучше бы не думать, а так. И вы, право, меня беспокоите.

— Мне только одно очень скверно, что в ту минуту будет подле меня гадина, как вы.

— Ну, это-то всё равно. Я, пожалуй, в то время выйду и постою на крыльце. Если вы умираете и так неравнодушны, то ... всё это очень опасно. Я выйду на крыльцо, и предположите, что я ничего не понимаю и что я безмерно ниже вас человек.

— Нет, вы не безмерно; вы со способностями, но очень много не понимаете, потому что вы низкий человек» (10/426).

Любопытно, что Кириллов прекрасно понимает движущие Верховенским мотивы личной в себе *заинтересованности*. Но, погружённый в свою «кристально чистую» идею «человекобожества», он до такой степени далёк от поиска выигрышных тактических схем поведения, что просто дистанцируется от «низкого человека».

«— Вы ничего не можете; вы даже теперь мелкой злобы спрятать не можете, хоть вам и невыгодно показывать. Вы меня разозлите, и я вдруг захочу ещё полгода» (там же).

«Кириллов с злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться» (10/466).

Николая Ставрогина Кириллов считает «несильным человеком», а Петра Степановича «низким человеком». Но при этом Кириллов всецело находится на стороне Ставрогина: «... я вам не дам ничего против Ставрогина», окончательно отрезает он Петру Степановичу (10/293). Это заявление довольно сильно удивило Верховенского. Менее всего он ожидал увидеть в «самоубийце», которого он уже сбросил со счетов, волю, направленную на противодействие его далеко идущим *конспиративным* планам.

Показателен и эпизод с выяснением отношений между Петром Степановичем и Федькой Каторжным в присутствии свидетелей: Кириллова и Липутина.

«Пётр Степанович вошёл в чрезмерный гнев:

— Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным?

— Это ты никогда не смеешь меня чтобы допрашивать. Господин Ставрогин как есть в удивлении пред тобою стоит и ниже пожеланием своим участвовал, не только распоряжением каким али деньгами. Ты меня дерзнул. ...

— Ты, любезнейший, врёшь, и смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковерный ум. Господин Ставрогин пред тобою как на лестнице состоит, а ты на них снизу, как глупая собачонка, тявкаешь, тогда как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь почитают» (10/428—429).

Кстати, следует отметить степень доверительности и взаимной уважительности в общении инженера Кириллова и разбойника Федьки Каторжного (опять евангельская реминисценция!). А, самое главное, общий мотив, сближающий «идейного самоубийцу» и беглого каторжника. Этот мотив — обоснование необходимости веры и поиск символов и залогов личной веры.

Этот совместный мотив создаёт непреодолимый барьер между Кирилловым (и Федькой Каторжным, как «соратника» Кириллова по общему делу поиска веры), с одной стороны, и Петром Степановичем, с другой.

«И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что в самого бога, творца истинного, перестал по разврату своему веровать? Всё одно что идолопоклонник, и на одной линии с татарином или мордвой состоишь. Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, творца создателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих судеб и преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса. Но ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь и прапорщика Эркелева к тому же самому привёл, как тот самый злодей-соблазнитель, называемый атеист ...

— Ах ты, пьяная харя! Сам образа обирает, да ещё бога проповедует!

— Я, видишь, Петр Степанович, говорю тебе это верно, что обдирал; но я только зеньчуг поснимал, и почём ты знаешь, может, и моя слеза пред горнилом всевышнего в ту самую минуту преобразилась, за некую обиду мою, так как есть точь-в-точь самый сей сирота, не имея насущного даже пристанища. Ты знаешь ли по книгам, что некогда в древние времена некоторый купец, точь-в-точь с таким же слёзным воздыханием и молитвой, у пресвятой богородицы с сияния перл похитил и потом всенародно с коленопреклонением всю сумму к самому подножию возвратил, и матерь заступница пред всеми людьми его пеленой осенила, так что по этому предмету даже в ту пору чудо вышло и в государственные книги всё точь-в-точь через начальство велено записать. А ты пустил мышь, значит надругался над самым божиим перстом. И не будь ты природный мой господин, которого я, ещё отроком бывши, на руках наших нашивал, то как есть теперича порешил бы, даже с места сего не сходя!» (10/428).

Из поля зрения исследователей как-то выпал вопрос: а что, в свою очередь, связывает беглого преступника Федьку Каторжного и Николая Всеволодовича Ставрогина?

По отношению к Ставрогину Федька выступает своего рода *демиургом* его жизненной судьбы. Если бы не произошло убийства брата и сестры Лебядкиных, то судьба Ставрогина могла сложиться по-другому. Характерно и то, что Николай Всеволодович, хорошо понимая мотивы действующих лиц (Петра Верховенского, Федьки Каторжного, капитана Лебядкина и т.д.), тем не менее пребывает в каком-то ступоре. Он завороженно наблюдает со стороны за готовящимся преступлением и ничего не предпринимает, чтобы ему противодействовать. Пользуясь аналогией с известным современным литературным произведением, убийство Лебядкиных можно было бы назвать преступлением, *история которого известна заранее.* Но по каким-то необъяснимым причинам оно всё равно происходит.

На самом деле Федька Каторжный — это «технологический» убийца, едва ли не единственный персонаж романа, кто не замотивирован в своих действиях какой-либо идеологией. В то же время, стремясь обрести религиозную веру, он прошел существенно больший путь, чем Ставрогин. Он — гораздо более цельная натура. Несомненно, что если бы он остался в живых, то наверняка бы покаялся в своих преступлениях и возродился к новой жизни по христианскому завету. Фактически Федька Каторжный — это хорошо известный Достоевскому по каторге типологический образ фольклорного «атамана разбойников Кудеяра». Характерно и то, что Федька с намного большей симпатией относится к Николаю Ставрогину, чем к Петруше Верховенскому. Хотя, если пользоваться современным языком, именно Петр Степанович выступает «заказчиком» для «киллера» Федьки Каторжного, то есть выступает гарантом его финансового благополучия и обещает ему «выправить» столь необходимые в его жизненных обстоятельствах документы.



§8. Ставрогин и Шатов: метафизическая встреча двух существ в беспредельности

Встреча Николая Всеволодовича Ставрогина и Ивана Шатова многократно описана и прокомментирована исследователями творчества Достоевского. Однако так же, как и в случае с 9 главой романа «У Тихона», её «метафизический смысл» оказался за рамками понимания большинства комментаторов.

Между тем именно Иван Шатов советует Николаю Ставрогину посетить живущего «на покое» архиерея Тихона. То есть именно Шатов является «*ключом*» к постижению глубины метафизических проблем Ставрогина, находящегося в пространстве между «Крестом» и «бесями».

Отношения между Шатовым и Ставрогиным можно уподобить отношениям между учеником и учителем. (Также, как, впрочем, и отношения между Ставрогиным и Кирилловым.) При одной, впрочем, оговорке. Именно Иван Шатов даёт наиболее дерзкую характеристику нравственной сути Николая Всеволодовича. Шатов выступает от имени «*Креста*» Ставрогина. Определяет и судит «*бесей*» Ставрогина.

Главное — Шатов формулирует глубину пропасти между высоким призванием Ставрогина, богатством и одарённостью его личности, — и воплотившимся бесчинством и прожиганием дарованных возможностей. Отношение Шатова к Ставрогину можно передать словами Тихона (которые так и не вошли в каноническую версию романа), согласно которым его в личностной истории Николая Всеволодовича «поразила великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость».

Ещё раз обратим внимание на то, что и Шатов, и Кириллов являются личностными «проекциями» Николая Ставрогина. Его «ипостасями».

Опираясь на высокий уровень личностной самооценки, Шатов относится к Николаю Ставрогину, как к человеку, который, как минимум, на две головы «выше» окружающих. Поэтому, когда Николай Ставрогин открывается Шатову в том, что он тоже является «членом общества», это известие поражает Шатова. «Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! — вскричал он чуть не в отчаянии» (10/193).

Почему Шатов уверен в «особом» призвании Николая Ставрогина, которому предстоит совершить подвиг? Заметим, что, судя по словам Шатова, от Ставрогина ожидали именно «подвига», то есть поступков масштаба великого. Нуждается в пояснении и внутреннее качество, содержание этого подвига.

При этом отношения между Шатовым и Ставрогиным, которого недоучившийся студент «бил по лицу», настолько метафизически *близки*, что это даёт Шатову право даже не спрашивать «аристократа духа», а *вопрошать*, требуя предельно искреннего и правдивого ответа. Характерно, что Князь-Ставрогин молчаливо соглашается с *правом* Шатова на подобное личностное знание. «Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните... На мой вопрос! — повторял он в жару» (10/193). Степень исступления Шатова достигает высшего градуса.

«Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире». Отсюда — прямой переход к «метафизической» беседе Ивана и Алексея Карамазовых в трактире в завершающем романе Достоевского.

Заметим, что и с Кирилловым, и с Шатовым Ставрогин встречается наедине в последний раз. Более «метафизиче-

ских» встреч Николая Всеволодовича со своими самыми близкими адептами уже не будет. И его собеседники, похоже, предчувствуют это.

И ещё. Ставрогин бросает Шатову: «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов...» (10/202). Чем вызвано такое признание? Не тем ли обстоятельством, что Ставрогин некоторое время сожительствовал с Марией Шатовой? И теперь Николаем Всеволодовичем движет чувство неловкости и душевной стыдливости. Эмоции, не вполне характерные для нравственного сладострастника. Ученик и адепт Шатов «экзаменует» своего учителя на знание основ катехизиса! Очевидно, что сама эта ситуация должна была держать Ставрогина в напряжении.

Начнём с некоторых замечаний.

«Знаете ли, знаете ли вы по крайней мере... для чего вы всё это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?» (10/194—195).

Интерпретация данного вопроса Шатова во многом зависит от мировоззренческих позиций самого вопрошающего. Поскольку речь идёт о «каре», то предполагается, что Ставрогину предстоит какое-то покаяние. За прегрешения «вольные и невольные». Как путь к нравственному возрождению через «кару» и «покаяние». Вполне очевидно, что в данном случае Шатов обозначает себя верующим христианином. (По крайней мере, внешне. Поскольку, как становится известно читателю дальше, Шатов страстно пытается уверовать, но находится ещё на стадии «предвкушения» веры. И здесь напрашивается прямая параллель с Тихоном. Который на прямой вопрос Николая Ставрогина о «качестве» своей веры отвечает, что он «несовершенно верует».)

И поведение Николая Ставрогина он оценивает с христианских позиций, то есть опирается на нравственные кри-

терии христианской морали. В таком случае и ожидаемый от Ставрогина «подвиг» в системе координат Шатова не может быть не чем иным, как христианским подвигом *нравственного возрождения*. В предельном случае (с учётом ожиданий от Ставрогина поступков, масштаб которых далеко выходит за границы обычного) он *сопоставим* с подвигом Христа.

Но и Николай Ставрогин, признавая право Шатова на личностное знание о своём самом сокровенном, требует максимально открытого и искреннего *духовного* общения.

«Ваш вопрос умён и язвителен, но я вас тоже намерен удивить: да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую «кару» теперь, как вы выразились» (10/195).

В этом замечании Ставрогина содержится квинтэссенция его истории поисков и необретения им веры. Но характерна и оговорка: «я почти знаю, зачем...» Сильной стороной Ставрогина, впрочем, как и других героев Достоевского, которых можно отнести к нравственным сладострастникам, является сверхразвитая *рефлексия*. Именно в постоянной самооценке, в механизме рефлексирования содержится генетический источник нравственного сладострастия.

Мы уже отмечали, что Иван Шатов относится к Николаю Ставрогину как к учителю, что предполагает определённое неравенство во взаимоотношениях. Но на время прояснения отношений Шатов требует *полного равенства*: «...вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу.. Опять вы улыбаетесь вашею брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймёте меня! Прочь барича!» (10/195).

Характерно, что гордый и независимый (*самовластный*) Николай Всеволодович принимает диктуемые Шатовым *правила игры*. «Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может, ещё больше хлопотал о себе, чем о вас, — загадочно произнёс Ставрогин» (10/197).

И опять всё тот же вопрос: а в чём, собственно, состоит «загадочность»? Очевидно, что рассказчик (он же — Хроникёр? Или нет?) знает об отношениях Шатова и Ставрогина больше, чем открывает читателю.

Особый вопрос, а в чем заключалось «хлопотанье» Ставрогина относительно себя (а не по поводу Шатова)? Поскольку разговор Ставрогина с Шатовым имел место два года назад, в Швейцарии, до отъезда Шатова в Америку, то поводом для этого «хлопотанья» не могла быть женитьба Ставрогина на Марье Тимофеевне Лебядкиной. Это событие, как известно, состоялось около пяти лет тому назад. К тому же, вплоть до последнего момента, совпадающего с приездом Ставрогина в губернский город, Шатов даже не подозревал о морганатическом браке Ставрогина. Тогда в чём состоит это «хлопотанье»?

Кстати, похоже, что Шатов так и не понял, что, проповедуя теорию «народа-богоносца» и развивая идеологические концепты теории «жизни живой», Ставрогин *экспериментирует* со своей судьбой, используя самого Шатова и его «альтернативную» версию, Кириллова. Шатов прямо говорит: «Идите, посмотрите на этого несчастного. Это — плод вашего воздействия...» Но ведь и сам Шатов является точно таким же идеологическим продуктом Ставрогина!

Кстати, попутно необходимо развеять одно заблуждение, неверно характеризующее Ставрогина как личность. Некоторые исследователи (например, Владимир Ефремов) отказывают Ставрогину в праве быть идеологом. По их мнению, Ставрогин не разделяет никаких идейных позиций. В отличие от Шатова, Кириллова, Шигалева и даже Петра Верховенского.

Но, по словам весьма скептически настроенного к Ставрогину Хроникёра (Антона Лаврентьевича), «оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма

интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностию» (10/37).

В романе также прямо указывается на то, что и Шатов, и Кириллов получили каждый свой идеологический набор именно от Ставрогина! И если внимательно отнестись к рассказу Хроникёра о детских и юношеских годах Николая Ставрогина и роли, которую в его воспитании сыграл Степан Трофимович, то окажется, что именно Николай Всеволодович наделён в романе функцией основного «продуцента» разнообразных идеологем, с которыми имеют дело его герои...

Так, например, из текста *Главы первой* Части второй прямо следует, что автором теории «народа-богоносца» (концепции, идеологически очень близкой самому Фёдору Михайловичу Достоевскому) является Николай Ставрогин! Шатов, который критически отзывается о всех иных «теориях», кроме своей, об этом говорит совершенно определённо.

Ставрогин же указывает на то, что его мысли на эту тему были ещё «исключительнее», еще «самовластнее», чем в той версии, которую ему излагает Шатов. То есть Николай Всеволодович не только не «открещивается» от повторенных Шатовым базисных положений «своей» теории, но настаивает на их ещё большей чёткости и идеологической определённости. Заявляет своего рода «авторские права» и фиксирует уровень «авторских притязаний». Без сомнения, Николай Ставрогин оказывается в романе *Главным Идеологом.*

Также отметим одну черту, характеризующую Ставрогина: он патологически не приемлет фальши и неискренности (и эта черта характера Ставрогина задана ещё образом Князя в подготовительных материалах к роману). И в определённом смысле даже культивирует в себе это качество — говорить людям в глаза правду, иногда в намеренно резкой форме. В этом смысле он говорит Шатову сущую правду, когда не соглашается с его

упрёками в том, что параллельно «насаждал» своим адептам две взаимоисключающие идеи: идею «народа-богоносца», то есть «бога и правды», и «ложную идею человекобожества», замешанную на концепте идеологического самоубийства.

«Ваше предположение о том, что всё это произошло в одно и то же время, почти верно; ну, и что же из всего этого? Повторяю, я вас, ни того, ни другого, *не обманывал*» (курсив — мой. — *Н.М.*) (10/197).

На самом деле для Николая Всеволодовича это кажущееся противопоставление есть не что иное, как «экспериментальное» раскачивание морально-психологического маятника: от «Креста» к «бесям» и обратно. Но и один, и другой полюсы одинаково дороги и *ценны* для него.

И ещё один вопрос, самый главный, который Шатов задает Ставрогину: атеист ли тот, сейчас, и тогда, во время беседы два года назад. И получает от Ставрогина совершенно определённый ответ, не допускающий никаких вероятностных толкований. Да, Ставрогин был (два года назад, когда состоялся их разговор) и продолжает оставаться атеистом.

Шатов последовательно цитирует Ставрогина: атеист не может быть русским. Даже намеренно усиливает тезис: не православный не может быть русским.

«Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий...» (10/197). Отметим, что весь разговор с Шатовым Ставрогин проводит и говорит с ним как *верующий*. (Но парадокс ситуации состоит в том, что и Шатов находится в точно таком же положении! Он ведь тоже лишь *желающий* уверовать. Николай Всеволодович прекрасно понимает слабость позиций Шатова, но соглашается говорить с ним как верующий с верующим.)

В этой позиции скрывается одна из самых значимых загадок образа Николая Ставрогина. В главе «У Тихона», не вошедшей в окончательную редакцию романа по цензурным

соображениям редакции «Русского вестника», архиерей цитирует слова Апокалипсиса: «ангелу Лаодикийской церкви напиши...» В беседе со Ставрогиным Тихон утверждает мысль, что настоящий атеист находится к обретению христианской веры значительно ближе, чем сомневающийся, равнодушный человек, только «тёплый».

Но поскольку, по автохарактеристике, Ставрогин — *атеист*, то путь нравственного возрождения, пролегающий для него через обретение христианской веры, не заказан ему окончательно, он всё ещё *возможен*. И, таким образом, оказывается, что вся история Ставрогина — это история христианского мученика и подвижника, который казнит себя, и, борясь с неверием, страстно желает уверовать в Христа, но в «экспериментальных целях» казнит других.

Это пребывание Николая Всеволодовича в мучительном состоянии «*преддверия*» христианской веры подтверждает и его особое отношение к личности Иисуса Христа. Известные слова Ставрогина о Христе, «...не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» (10/198), по своей стилистике и афористичности мысли могли бы принадлежать к лучшим образцам «словечек» Степана Трофимовича Верховенского. В романе дар краткого и ёмкого афоризма был воспитан у ученика его учителем. (Как известно, эта сокровенная максима является задушевной мыслью самого Ф.М. Достоевского!)

Но в данном случае, помимо формы, Степан Трофимович «ответственен» и за содержание. Образ Христа для «профессора» является идеальной моделью совершенного человека. И это убеждение Степан Трофимович также сумел передать своему воспитаннику.

Шатов буквально *заставил* Ставрогина погрузиться в идеологический контекст их последней беседы. И Став-

рогин вынужден подчиниться. «В ваших словах я признаю моё собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были ещё исключительнее, ещё самовластнее...» (10/200).

Ставрогин был бы готов пойти ещё дальше в своих идеологических построениях, но он *упирается* в непреодолимое препятствие, фактически, в *барьер* (на что указывает ему Шатов): «Но вам надо зайца? Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в бога, надо бога» (10/200).

В какой-то момент Шатову удаётся «пробить» психологическую защиту Николая Всеволодовича, и Ставрогин не выдерживает: «Вы психолог, — бледнел всё больше и больше Ставрогин, — хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись» (10/202). Это признание весьма характерно. Ставрогин соглашается с анализом мотивов своих поступков, предпринятым Шатовым. Но лишь *отчасти*. Потому, что были и другие мотивы. (Называя Шатова «психологом», Ставрогин фактически занимается самоцитированием. В 9 главе «У Тихона» проницательный иерей также назван «проклятым психологом». Всего два человека в романе были удостоены Николаем Ставрогиным чести именоваться «психологами». Это следует рассматривать как признание *глубины* и *точности* морально-психологических оценок.)

В первую очередь, стоит обратить внимание на христианские мотивы «женитьбы» Ставрогина на «слабой умом» Марье Тимофеевне Лебядкиной, а по сути, юродивой. Князь и Юродивая. В этом контрастном сочетании Ставрогин находит для себя источник удовлетворения (как тонко заметила его матушка, Варвара Петровна Ставрогина, «он является как бриллиант на тёмном, мрачном фоне картины»). В его основе — гордое осознание своей *исключительности*.

Способности преодолеть человеческую ограниченность. Никто не смог разглядеть в Хромоножке *повод* для христианского подвига, а Николай Ставрогин смог! В известном смысле для того, чтобы жениться на юродивой, надо самому быть хоть сколько-нибудь юродивым.

На то обстоятельство, что Ставрогиным движут в том числе и христианские побудительные мотивы, указывает подчеркнуто уважительное и как к ровне (в христианском духе) отношение Князя к своей «Христовой невесте». Вообще следует отметить, что христианская проекция Князя — Ставрогина по большей части ускользнула от внимания исследователей. Они просто не поверили в *подлинность* мотивов поступков Ставрогина. Поэтому о фактически *христианском* отношении Николая Ставрогина к Марье Тимофеевне Лебядкиной стоит сказать отдельно.

Прежде всего, мотивы женитьбы. Спорный и дискуссионный вопрос.

История отношений Ставрогина с Марьей Лебядкиной в романе передаётся третьими лицами, имеющими «свой интерес» к Николаю Всеволодовичу.

Отметим, что даже в пересказе Петра Верховенского, весьма ироничном по отношению к действующим лицам и главным героям, проскальзывает указание на христианские мотивы поступка Ставрогина.

«...Николай Всеволодович, как нарочно, ещё больше раздражал мечту: вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к mademoiselle Лебядкиной с неожиданным уважением» (10/149).

«Кириллов, тут бывший... заметил... Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно её добивает» (10/149—150).

Ставрогин ему «очень серьёзным тоном» сказал: «Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею; разуверь-

тесь, я в самом деле её уважаю, потому что она всех нас лучше» (10/150).

Ещё раз обращаю внимание читателя на то, что роман Ф.М. Достоевского «Бесы» — *христианское* художественное произведение, в центре которого находится судьба человека, мучительно пытающегося обрести веру и терпящего на этом пути сокрушительное поражение.

И, похоже, Иван Шатов способен «проникнуться» пониманием этих мотивов, которые влекут Николая Всеволодовича Ставрогина. «Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль» (10/202). Но может ли таковой «грозной новой мыслью» быть «мечта» о кантоне Ури?

Ещё несколько замечаний. Шатов резко бичует Ставрогина за его склонность к «*сладострастию нравственному*», проявлениями которого он объясняет наиболее одиозные «чудачества» Ставрогина. Именно Шатов формулирует своего рода «катехизис» или «манифест» нравственного сладострастника. «Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?

...Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины, — ...знаете ли, почему вы тогда женились так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв... Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая

хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок...» (10/201—202).

Это — сильная формулировка, фактически приговор. И это — правда. Но при этом — это *часть* правды. Помимо мотивов, связанных с комплексом «нравственного сладострастия», есть и иные мотивы, по сути, христианские. Парадокс состоит в том, что как сам комплекс, так и психологический механизм нравственного сладострастия во многом основываются на христианском ценностном содержании механизма совести и покаяния. Моральная рефлексия христианина. Психология кающегося грешника. Покаяние как источник наслаждения и удовлетворения. Совесть как *механизм* нравственного сладострастия. (См.: Н.Г. Мехед. Проблема личности в этической системе Ф.М. Достоевского. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., ИФ АН СССР, 1987.)

Поэтому мотивы женитьбы Ставрогина на Марье Тимофеевне Лебядкиной, будь они христианские, или будь они «нравственно сладострастные», в психологическом «измерении» фактически *совпадают*.

В связи с этим затронем ещё один сюжет из беседы Ставрогина и Шатова.

«А правда ли, что вы... принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что Маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать...

— Я эти слова говорил, но детей *не я* обижал» (10/201).

В контексте содержания 9 главы «У Тихона» это заявление Ставрогина смотрится очень странно. Единственно правдоподобной интерпретацией может быть следующая: «не я детей обижал» означает, что Ставрогин фактически признаёт двойственность своей личности, её морально-психологи-

ческую и ценностную *амбивалентность*. Данная ситуация напрямую отсылает к классическому литературному сюжету с противостоянием доктора Джекила и мистера Хайда.

Не он, Ставрогин-христианин, «обижал детей», а «*другой*» Ставрогин, — нравственный сладострастник и экспериментатор. Но это означает только то, что сам Николай Всеволодович Ставрогин признаёт как данность наличие своей «бесовской» экспериментальной проекции! И снова «Крест» и «беси» пребывают в диалектическом единстве, а Николай Ставрогин находится в мучительном состоянии «синтеза» этих противоположностей, оказываясь конструктивным элементом бесконечно раскачивающегося маятника.

Беседу Ставрогина с Шатовым можно уподобить своеобразной психологической *дуэли*. И после довольно меткого «выстрела» Ивана Шатова наступила очередь «стрелять» Николая Ставрогина. И с первой же попытки он попадает в *яблочко*: «Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более, что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли аль ещё бегает?

— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.

— Извольте, другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович, — я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в её православие... Я верую в Тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в исступлении Шатов (10/200).

— А в бога? В бога?

— Я ... я буду веровать в бога.

Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом.

— Я ведь не сказал же вам, что я не верую вовсе! — вскричал он наконец, — я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест... Но погибай моё имя! Дело в вас, а не во мне... Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал... Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!... (10/201).

Это замечание Шатова удивило Ставрогина: «Я вам только кстати замечу, как странность, ... почему это мне все навязывают какое-то знамя?» (10/201).

«Петр Верховенский тоже убеждён, что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере, мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению» (10/201).

Интересно, а на какое *идейное* продолжение разговора со Ставрогиным рассчитывал Шатов? И для чего, собственно, он целых два года ждал Николая Всеволодовича? Разве Ставрогин ещё два года назад сформулировал не все основные положения «совершенно нового слова», «последнего слова»? И разве весь *континуум идеологических проблем* в конечном счёте не свёлся к одному-единственному *метафизическому* вопросу: а сам-то ты *веруешь* или *нет*?

«Он встал со стула. Шатов неистово бросился за ним.

— Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения! — вскричал он, схватывая его за плечо.

— Я, однако, вас не убил... в то утро... а взял обе руки назад... — почти с болью проговорил Ставрогин, потупив глаза.

— Договаривайте, договаривайте! Вы пришли предупредить меня об опасности, вы допустили меня говорить, вы завтра хотите объявить о вашем браке публично! ... разве я не

вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль... Ставрогин, для чего я осуждён в вас верить во веки веков? (10/202).

«Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдёте? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!

— Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов, — холодно проговорил Николай Всеволодович.

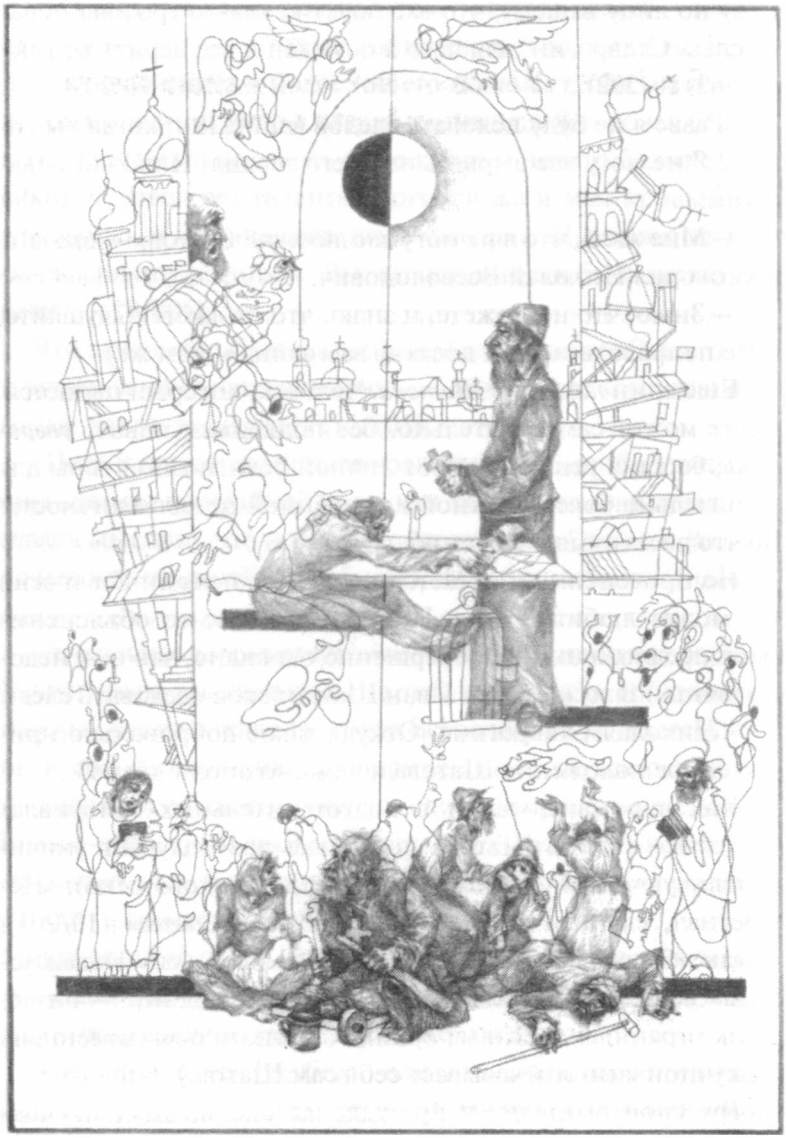
— Знаю, что не можете, и знаю, что не лжёте. Слушайте, я всё поправить могу: я достану вам зайца!» (там же).

Ещё один *парадокс Шатова*. Человек, который пытается, но не может самостоятельно, без поддержки извне, *уверовать*, берётся решить вопрос личной религиозной веры для значительно более сложной и одарённой духовно личности! На что рассчитывает Шатов?

Не прояснённым остаётся и вопрос, почему Ставрогин «не может любить Ивана Шатова»? (Какие-то объяснения были предложены, но, совершенно очевидно, что они недостаточны.) В то же время Иван Шатов готов «целовать следы ног» Николая Ставрогина. Откуда такое добровольно приниженное положение Шатова и чем оно обусловлено?

Как в романе, так и в подготовительных материалах к «Бесам» фигура Шатова несколько раз получает уничижительную оценку (в том числе и от авторского лица). «Несчастная, скучная книга», «человек без таланта» (10/201); Князь «болезненно поражается Шатовым», его «книжностью» и «безысходностью» (11/133). Суть оценки — он человек ограниченный и не яркий. Слишком обыкновенный. («Скучной книгой» называет себя сам Шатов.)

Грустной выглядит и прощальная сцена, завершающая встречу двух самых близких идейных соратников: «Я к вам больше не приду, Шатов, — тихо проговорил Ставрогин, шагая через калитку». (10/203). И попрощался с ним навсегда.



§ 9. Глава «У Тихона» как композиционный и идейный центр романа

Самая важная для понимания судьбы и характера Николая Ставрогина глава начинается с того, что встреча двух достойных оппонентов вписывается в общую хронологию романа, определяя единство времени и места.

«Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу у комода» (11/5).

О какой ночи говорится в 9 главе романа? О той, когда он посетил Шатова, Кириллова и брата и сестру Лебядкиных? — Видимо, да. Для себя отметим, что, если речь идёт о ночи после посещения Хромоножки, то эти события происходят непосредственно перед уже договорённой дуэлью с Артемием Павловичем Гагановым и, возможно, посещением Тихона.

Тот факт, что Ставрогин не спал всю ночь, говорит о том, что он готовился к какому-то очень важному и значимому для него поступку. Может быть, даже самому важному в жизни. (Может ли таковым событием выступать предстоящий дуэльный поединок, далеко не первый в жизни Николая Всеволодовича?) И очевидно, что перед его совершением он много раз обдумывал причины и следствия, из этого поступка вытекающие. Собирался с мыслями. Концентрировался.

Ставрогин просидел ночь на диване, что-то пристально рассматривая и о чём-то усиленно раздумывая. Что рассматривал Ставрогин и о чём размышлял (после встречи с «бесёнком» Федькой Каторжным на мосту)? — «Бесей ужасно много. Изо всех болот налезли». Относятся ли эти слова к конкретному лицу, или их надо понимать фигурально?

Судя по его состоянию, Ставрогин окончательно решился на исповедь у Тихона. Но при этом максимально оттягивает сам момент исповеди. Иначе как объяснить, что к монастырю, находящемуся на краю города, он направился пешком и даже не подумал воспользовался услугами извозчика?

«По улице шёл, смотря в землю, в глубокой задумчивости и лишь мгновениями подымая голову, вдруг выказывал иногда какое-то неопределённое, но сильное беспокойство» (11/5). О чём беспокоится Ставрогин? Уверен ли он в том, что Тихон примет его и захочет выслушать его исповедь? Окончательно ли он решился открыться Тихону? Обращался ли к кому-нибудь Ставрогин за помощью для организации его встречи с Тихоном? Хотя бы для того, чтобы предупредить Тихона о времени своего посещения монастыря.

«Наконец около половины одиннадцатого дошёл он к вратам нашего Спасо-Ефимьевского Богородского монастыря, на краю города, у реки. Тут только он вдруг как бы что-то вспомнил, остановился, наскоро и тревожно пощупал что-то в своём боковом кармане и — усмехнулся» (11/5). Отметим, что Ставрогин постоянно «усмехается». Почему Ставрогин «усмехнулся»? В предвкушении того впечатления, которое произведёт его исповедь на смиренника и отшельника Тихона? Наводил ли Ставрогин предварительно справки о личности Тихона? Или он пользуется только теми сведениями, которые накануне дал ему Шатов?

Наконец, Ставрогина проводили в келью к Тихону.

«Это и был тот самый Тихон, о котором Николай Всеволодович в первый раз услыхал от Шатова и о котором он, с тех пор, успел собрать кое-какие сведения» (11/6). (Важно сопоставить встречу Ставрогина с Шатовым и посещение им монастыря и встречу с Тихоном.)

Говорит ли эта ремарка о том, что посещение Ставрогиным Тихона состоялось через какое-то время после той

самой ночи, когда он встречался с Шатовым, Кирилловым, Марьей Лебядкиной? Или же он каким-то образом успел навести необходимые справки уже утром, не откладывая свой визит к Тихону в «долгий ящик»?

Что известно о Тихоне? — Это был «...высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределённой улыбкой и странным, как бы застенчивым взглядом» (11/6).

Про бывшего архиерея известно, что «он уже лет шесть как проживает в монастыре». Значит, теоретически, первая встреча Ставрогина и Тихона могла произойти четыре года назад.

«Николай Всеволодович всё ещё был в большой рассеянности от какого-то внутреннего подавлявшего его волнения. Похоже было на то, что он решился на что-то чрезвычайное и неоспоримое и в то же время почти для него невозможное» (11/7).

Здесь рассказчик подсказывает читателю, что речь пойдёт о какой-то исповеди Ставрогина, которая имеет для него огромное значение. А иначе, зачем бы ещё Ставрогин пришел к Тихону, о котором предварительно навел справки и, видимо, решил, что он — именно тот человек, который ему необходим?

Если наше предположение верно и Николай Ставрогин отправился к Тихону буквально накануне дуэли с Гагановым, то он поступил довольно рискованно. Во-первых, он практически не спал ночь. Во-вторых, очевидно, что беседа с Тихоном потребовала от него мощной духовной концентрации, и уж в любом случае, больших затрат психоэмоциональной энергии. Добавим, что Артемий Павлович Гаганов, опытный офицер, блестяще знающий военное дело, — опасный дуэльный противник. К тому же он максимально замотивирован на результативный исход дуэли, то есть, попросту говоря, хо-

чет убить Ставрогина за то «фамильное оскорбление», которое Николай Всеволодович будто бы нанёс его отцу четыре года назад.

Далее опять следует косвенное подтверждение давнишнего посещения Ставрогиным монастыря.

Тихон: «Вы не рекомендовались, но я имел удовольствие видеть вас однажды, ещё года четыре назад, здесь в монастыре... случайно» (11/7).

Характерна обмолвка Тихона о том, что он «случайно» видел Ставрогина, обмолвка последовала за некоторой паузой. Скорее всего, Тихон видел Ставрогина отнюдь не случайно, хотя в непосредственный контакт с ним не входил. Ставрогин был в монастыре по какому-то чрезвычайно важному для него делу.

«Я не был в здешнем монастыре четыре года назад, — даже как-то грубо возразил Николай Всеволодович, — я был здесь только маленьким, когда вас ещё тут совсем не было».

Что хочет сказать Ставрогин этим замечанием? — Что тогда он ещё не был готов к исповеди? Ведь событие с Матрёшей уже произошло, но, приехав в город, он ещё чего-то ожидает и на что-то надеется. На что надеется Ставрогин? — Ставрогин проявляет настойчивость потому, что сейчас, во время текущего посещения монастыря, он уже готов к подвигу и намерен идти до конца. А давешнее посещение монастыря оказалось его личностным поражением. Тогда подвига он испугался. Вот почему на встрече с Тихоном он готов отрицать даже сам факт своего приезда в монастырь!

«Может быть, забыли? — осторожно и не настаивая заметил Тихон.

— Нет, не забыл; и смешно, если б я не помнил, — как-то не в меру настаивал Ставрогин, — вы, может быть, обо мне только слышали и составили какое-нибудь понятие, а потому и сбились, что видели» (11/7).

Почему «смешно»? — Видимо, сам Николай Всеволодович Ставрогин придаёт огромное значение тому обстоятельству, бывал ли он прежде в этом монастыре у Тихона. Оно имеет для него сверхценное значение.

Интересная и многозначительная деталь. Четыре года назад, то есть в прошлый свой приезд в губернский город, уже после преступления над Матрёшей, Ставрогин, как стало ясно из психологического рисунка его поведения с Тихоном, был в монастыре. Но с какой целью? И, в любом случае, тогда его исповедь не состоялась. Ни в вербальной форме, ни в виде листков, назначенных к распространению. Очевидно, что четыре года назад у Николая Всеволодовича ещё не был готов исповедальный документ заграничной печати. На проведение процедуры досконального, объективного и безжалостного самоанализа потребовалось время. Может быть, поэтому теперь он отрицает сам факт своего посещения монастыря четыре года назад? — Ещё до Исландии, до университета в Геттингене и до восьмичасовых всенощных стояний у афонских старцев...

Кстати, ещё одним косвенным подтверждением того обстоятельства, что Николай Всеволодович Ставрогин всё-таки посещал прежде монастырь, является ремарка Хроникёра: «Ставрогин заметил, что его здесь знают, хотя сколько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве».

Если соотнести давнишнее посещение Ставрогиным монастыря с его болезнью, нервным расстройством, то, видимо, можно сделать вывод, что в этот период времени Ставрогина до пароксизмов мучили какие-то колебания, саморазоблачения, самоисследования, короче, психологические «борения». Со всей остротой перед ним встал вопрос о вере. Верую ли? Или не верую?

То, что Ставрогин упорно открещивается от визита в монастырь, психологически объяснимо. Он отказывает Тихону

в праве проникнуть в мотивы, побудившие его к этому поступку. Ведь не ради же паломнических целей или простого любопытства заезжего туриста приезжает он в монастырь и именно к Тихону?

Психология же такова: как же так, я, Николай Ставрогин, — личность масштаба неординарного, которую борют грозные и великие порывы, сильные страсти, вдруг так просто, с одного только взгляда оказался «прочитанным» Тихоном, бывшим архиереем, да ещё и с сомнительной какой-то репутацией? — Вот тебе и вся «сложность» натуры и претензия на «великий подвиг» Князя-Ставрогина! Эта ремарка, этот сюжет с то ли бывшим, то ли нет, визитом в монастырь раскрывает степень честолюбия Николая Ставрогина, как одной из наиболее уязвимых его психологических черт и гордыни, как одного из смертных грехов, коему подвержена его личность.

Этот вывод подтверждает и следующая ремарка Рассказчика.

«Его (Ставрогина) разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной смешной улыбкой» (11/7). (Напомним читателю, что Ставрогин посещает Тихона после бессонной ночи.)

«Это мгновение возбудило в нём отвращение; он хотел встать и уйти, тем более что Тихон, по мнению его, был решительно пьян. Но тот вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твёрдым и полным мысли взглядом, а вместе с тем с таким неожиданным и загадочным выражением, что он чуть не вздрогнул». Ему с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришёл, уже предуведомлен (хотя в целом мире никто не мог знать этой причины), и если не заговаривает первый сам, то щадя его, пугаясь его унижения» (11/7).

(Отметим, что внезапно вспыхивающее в Ставрогине чувство отвращения объединяет два сюжета: собственно, само преступление с Матрёшей и начало исповеди у Тихона. Характерно наличие чувства отвращения Ставрогина и по отношению к Матрёше, и по отношению к Тихону. Причём и в одном, и в другом случае это чувство доходило в нём crescendo до пароксизма, ничем не объяснимого.)

Почему Ставрогин ожидает подвоха от Тихона?

«— Вы наблюдали за мной? — спросил он вдруг тревожно и подозрительно.

— Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного.

— Никакого сходства, особенно духовного. Даже совершенно никакого! — затревожился опять, без нужды и не в меру настаивая, сам не зная почему, Николай Всеволодович. — Это вы говорите так ... из сострадания к моему положению и вздор, — брякнул он вдруг» (11/8).

Почему на слова Тихона о «внутреннем духовном сходстве» сына и матери Ставрогин «затревожился»? Почему даже нейтральное предположение о «духовном сходстве» с Варварой Петровной вызвало у него столь резкое неприятие? Какие психологические личностные черты матери он считает неприемлемыми для себя?

А, может быть, Достоевский даёт этой ремаркой подсказку, указывая на то, что характер Варвары Петровны является ключом к характеру её сына? В таком случае, детальное прослеживание морально-психологической биографии Николая Всеволодовича в обязательном порядке предполагает столь же пристальное исследование психологических черт Варвары Петровны. (Информация о которых, кстати, в романе дана весьма скупо, по сути, её необходимо буквально «выуживать»).

Почему Ставрогин решил, что Тихон, уподобив его и Варвару Петровну, упомянув о «сходстве внутреннем, духовном», говорит так «из сострадания» к его положению? Какое в таком уподоблении скрывается сострадание?

Не в том ли смысле, что поступки Ставрогина хоть до какой-то степени оказываются объяснимы, но не оправданы, если к ним применить критерий «схожести» внутренних черт сына и матери.

Отметим, что для Николая Всеволодовича стало откровением то обстоятельство, что Варвара Петровна бывает в монастыре, по словам Тихона, «почти ежемесячно, и чаще».

Характерна также обмолвка Ставрогина о том, что он не знает, «решительно не знает», зачем он пришёл туда. Заметим также, что всё это он проговорил «брезгливо».

Эти ремарки говорят о том, что Николай Всеволодович именно «не знает», то есть не только сам не предполагает, какие поступки он будет совершать сознательно, но он и представить себе не может, в какую сторону развернут его обстоятельства. Но при этом он не уходит и готовится к поступку для него абсолютно нехарактерному — «подвигу покаяния».

Ставрогин — это психологический флюгер. Ставрогин — это психологический маятник crescendo, увеличивающий амплитуду своих замахов-движений до той поры, пока не разнесёт вдребезги сам механизм психологического «маятника». Находясь в келье у Тихона, он ещё не знает, что с ним произойдёт даже в ближайшее время.

В этом контексте по-другому воспринимается и «идея кантона Ури». Смысл её — в том, что конструкция психологического маятника изымается из потока жизни живой и «подвешивается» во вне событийном пространстве. В результате резко снижается размах его колебаний, а затем они и вовсе затухают. Маятник останавливается. Наступает состояние морально-психологического и кинетического покоя.

Психологическая разминка закончена. Собеседники приступают к разговору по существу.

«— Вы тоже как бы нездоровы?

— Да, нездоров.

И вдруг он, впрочем в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное», «в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь...» (11/8—9).

Что означает эта авторская ремарка «как бы»? (взять на заметку, что в тексте очень много оговорок «как бы», «как-то» и др.; необходимо проследить) — То есть не совсем болен, или просто чудит под видом болезни? Тихон открыто говорит Ставрогину, что он болен. Полувопросительно-полуутвердительно сближает обе болезни. Намекает, что оба нездоровья — явления одного порядка и имеют сходный характер. Ретроспективно вернувшись к началу 9 главы, правомерно трактовать общую болезнь Тихона и Ставрогина как нездоровье безверия, точнее, болезнь несовершенной веры. Недаром же Ставрогин «в лоб» задал вопрос Тихону, верует ли он.

Болезнь «несовершенной веры». Можно сказать, что ею страдает Тихон (по автопризнанию иерея). А Николай Ставрогин? Насколько эта ситуация применима к Князю?

Обращает на себя внимание характеристика «существа», которое видит Николай Ставрогин. Оно — «злобное», но при этом «насмешливое». Насмешка играет огромную роль в трагедии Ставрогина. Насмешка, то есть стремление высмеять, принизить, окарикатурить, лишить личностных черт некий

объект, — один из самых сильных побудительных мотивов поступков Ставрогина.

Здесь и «ухватывание за нос» старшего Гаганова, и прикусывание уха губернатора Ивана Осиповича и другие «штуки» в таком же роде. Эта ипостась личности Николая Ставрогина напоминает другого литературного персонажа — Коровьева-Фагота, подручного Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Тоже был выдающийся «штукарь»! Разные «штуки» — это провоцирующие эксперименты, которые ставят испытуемого в пограничное психологическое состояние, побуждая его к неожиданным и неадекватным реакциям. К проявлению личностной «сущности». Когда спадает всё наносное и обнажается правда.

Ставрогин видит злобное существо в «разных лицах» и в «разных характерах», но всегда «одно и то же».

Похоже, Достоевский использует здесь литературный приём отзеркаливания. И именно себя, насмешливое, злобное и разумное существо видит Николай Ставрогин в разных ипостасях при неизменной сущности.

Почему злобное и насмешливое существо Ставрогин всегда видит в разных лицах, понимая при этом, что сущность всегда одна и та же? Может быть, это потому, что безобразных поступков было много, и лиц, от них пострадавших, набирается тоже не мало.

«...а иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу... а иногда не уверен, что я вижу, и не знаю, что правда: я или он... вздор всё это» (11/9). Это — ещё одно свидетельство, что в душе Ставрогина в нравственном разрешении вопроса окончательный выбор ещё не осуществлён — «я не знаю, что правда».

«Дики и сбивчивы были эти открытия и действительно как бы шли от помешанного. Но при этом Николай Всеволодович говорил с такою странною откровенностью, не ви-

данную в нём никогда, с таким простодушием, совершенно ему несвойственным, что, казалось, в нём вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно. Он нисколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своём привидении» (11/9).

Рассказчик обращает внимание на то, что Ставрогину, по крайней мере, на всем протяжении романной истории, абсолютно не свойственны «откровенность» и «простодушие». И вдруг — появляется «новый человек», и откровенный, и простодушный. «Вдруг» и «нечаянно» исчез прежний человек совершенно. Психологическая метаморфоза чрезвычайная. К чему такие превращения? — Какое окончательное решение принял для себя Николай Ставрогин? И можно ли сказать, что с Тихоном беседует человек, уже отказавшийся проследовать в «кантон Ури» и выбравший для себя иной личностный путь?

И вновь наступает психологическая перемена. Очередной размах маятника.

«— Всё это вздор, — быстро и с неловкой досадой проговорил он, спохватившись. — Я схожу к доктору.

— Несомненно сходите, — подтвердил Тихон» (11/9). Почему Тихон так уверен, что Ставрогин пойдёт к доктору? Ведь если психологические галлюцинации и образы-видения — не болезнь, тогда это — визуализированные муки совести человека, признавшего свою личную ответственность за все поступки-преступления, совершённые им в порядке «эксперимента».

Перед этим абзацем: «Он нисколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своем привидении. Но всё это было мгновенно и так же вдруг исчезло, как и явилось» (11/9).

Исчезло именно потому, что он устыдился. В первый момент, под влиянием минуты и заранее принятого решения

Ставрогин не постыдился обнаружить свой страх. Но затем именно страх показаться смешным в глазах городской публики, которую он безмерно презирает, заставляет его отказаться окончательно от попыток возрождения. Вот теперь «кантон Ури» становится неизбежным.

Одним из мотивов, побудивших Николая Всеволодовича пойти к Тихону, было стремление понять, представляет ли собой casus Stavrogin исключительный случай или нет?

«— Вы видели таких, как я, с такими видениями?

— Видывал, но очень редко. Запомнил лишь одного такого же в моей жизни, из военных офицеров, после потери им своей супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал» (11/9).

Тихон уподобляет косвенным образом Ставрогина и офицера, также лицезревшего видения. Невольно возникает параллель: причиной появления галлюцинаций у Ставрогина можно считать потерю им его «дорого спутника (спутников)» жизни.

Во-первых, замученной им Матрёши. Известный из психологии факт: установление особого типа психического взаимодействия между жертвой и мучителем. Не только жертва оказывается в зависимости от своего мучителя, но и мучитель психологически нуждается в своей жертве. Дальнейший рассказ Ставрогина подтверждает наличие этой закономерности.

Во-вторых, утраченной им надежды через эксперимент вызова-преступления обрести своего Христа и уверовать. И если бы Ставрогин действительно когда-то веровал, то такой потерей, таким утраченным «дорогим спутником» для него, несомненно, был бы Христос.

Вопрос остаётся открытым, ввиду того, что воспитателем Николая Всеволодовича был Степан Трофимович, довольно скептически относящийся к религиозной вере. Но личность

Иисуса Христа в восприятии Степана Трофимовича окружена «поэтическим» ореолом. Не забудем, что высшей духовной ценностью для него была Мадонна Рафаэля. Судя по ремаркам Рассказчика, «поэтический» строй мыслей Степан Трофимович сумел привить и своему воспитаннику, Николаю Всеволодовичу Ставрогину.

На прямой вопрос Тихона, давно ли Ставрогин подвержен таким видениям, следует ответ, что «около году». Необходимо проследить событийный ряд этого последнего года. С какими заметными происшествиями стыкуется этот «особый» год Ставрогина?

Но в ещё большей степени, чем вопрос об уникальности видений, Николая Всеволодовича интересует мнение Тихона о бесовстве как явлении, и оценка его собственного, ставрогинского личного беса.

«...но всё это вздор. Я схожу к доктору. И всё это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах, и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту ... фразу, то вы, наверно, думаете, что я всё ещё сомневаюсь и не уверен, что это я, а не в самом деле бес?» (11/9)

Здесь снова проявляется действие морально-психологического маятника Ставрогина. Он снова устыдился. Предваряя свое будущее признание, свою исповедь преступных деяний-экспериментов, он заранее предупреждает Тихона, что вполне осознаёт личную ответственность и не склонен искать кого-то другого виновного, хотя бы и в такой удобно-иллюзорной форме, как фикция «бесей».

Несколько психологических характеристик.

«Тихон посмотрел вопросительно.

— И... вы видите его действительно? — спросил он, то есть устраняя всякое сомнение в том, что это несомненно

фальшивая и болезненная галлюцинация. — Видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?

— Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу, — стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин...

— А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес? — прибавил он, засмеявшись и слишком резко переходя в насмешливый тон. — Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией?

— Вероятнее, что болезнь, хотя...

— Хотя что?

— Беси существуют несомненно, но понимание о них может быть весьма различное» (11/9).

И опять характерное замечание: Ставрогин начинает «раздражаться» и слишком быстро переходит в «насмешливый тон». Очевидно, что в любой момент, несмотря на всю решимость совершить подвиг нравственного возрождения, он готов погрузиться в ставрогинскую «скорлупу» нравственного сладострастника. И готов использовать для этого любой подходящий предлог.

Один из возможных вариантов «прочтения» прихода Ставрогина к Тихону состоит в том, что Николай Всеволодович заранее предвидит финал своей встречи с духовным отцом и готов извлечь из неё максимально возможное наслаждение нравственного сладострастия.

Если Николай Ставрогин приходит к Тихону с целью покаяния, зачем он фактически бросает вызов духовному отцу, настаивая на приоритете признания «бесей»? «...А чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию...» (11/10).

Ставрогин верует в беса так же, как и Иван Карамазов, перенося на него (беса) ответственность за свои страшные злодеяния или замыслы этих злодеяний.

Признавшись в «канонической» вере в «бесей», логичным представляется и следующий вопрос.

«— В бога веруете? — брякнул вдруг Ставрогин.

— Верую.

— Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется... сдвинете вы гору или нет?

— Бог повелит, и сдвину, — тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.

— Ну, это всё равно, что сам бог сдвинет. Нет, вы, вы, в награду за веру в бога?

— Может быть, и не сдвину.

— «Может быть»? Это недурно. Почему же сомневаетесь?

— Не совершенно верую.

— Как? Вы не совершенно? Не вполне?

— Да... может быть, и не в совершенстве.

— Ну! По крайней мере, всё-таки веруете, что хоть с божиею-то помощью сдвинете, и это ведь не мало» (11/10).

«Вы, конечно, и христианин?

— Креста твоего, господи, да не постыжуся, — почти прошептал Тихон, каким-то страстным шёпотом...» (11/10).

Отметим великолепную композицию этой части главы «У Тихона». На нетерпеливый вопрос Ставрогина Тихон отвечает, одновременно подтверждая тот факт, что он — христианин, и раскрывая содержание и смысл, который он вкладывает в это понятие. А самое главное, сокровенное, здесь — «Креста твоего, господи, да не постыжуся».

Соотнесите этот чётко выраженный принцип веры с последующими романными событиями. Итог — Николай Всеволодович Ставрогин не способен к подвигу нравственного возрождения. Причина этого — именно в том, что Ставрогин «устыдился креста», не принял с должным смирением процедуру «оплевывания» и «заушения». Даже в этом между гордецом Ставрогиным и смиренником Тихоном кардинальное

различие. Само положение Тихона в Спасо-Ефимьевском монастыре, то есть отношение к нему монастырской братии, свидетельствует о том, что он действительно «не стыдится креста» и является истинным христианином.

В этом смысл «Исповеди» Ставрогина и его прихода к Тихону в монастырь.

Тема «бесей» продолжает волновать Ставрогина. Свой глубокий личностный интерес он прячет под маской насмешливого и ироничного собеседника:

«А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в бога? — засмеялся Ставрогин. (Совершенно очевидно, что о себе спрашивает. — *Н.М.*).

— О, очень можно, сплошь и рядом, — поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся.

— И уверен, что такую веру вы находите всё-таки почтеннее, чем полное безверие...

— Напротив, полный атеизм почтеннее светского равнодушия....

Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершенной веры (там перешагнет ли её, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха» (я бы добавил: «перед бесом». — *Н.М.*) (11/10).

Интересно, что Тихон уподобляет веру в беса при условии неверия в бога светскому равнодушию и наделяет такую веру определяющей характеристикой — «дурной страх». Здесь вера в беса выступает как особый приём перекладывания личной ответственности на внешний объект, на мифологический персонаж.

Веровать в беса, не веруя совсем в бога, — это значит веровать в принцип и не быть исполнителем завета, не претворять его в конкретные поступки. Это именно такая вера, когда «слово не есть плоть бысть». Именно этот вопрос и со-

ставляет всю тайну нравственности со дня возникновения моральных верований и по сей день.

Зачем Ставрогину вдруг понадобилось узнать, верует ли Тихон в бога или нет?

Ответ прост и очевиден. Ставя перед Тихоном ряд вопросов, Ставрогин ищет ответа на свои сомнения. Свои колебания психологического маятника веры-неверия он переносит на Тихона. И даже находясь на исповеди, Ставрогин остаётся самим собой, являясь моральным экспериментатором.

По сути дела, Ставрогин, ставя свои вопросы Тихону, ищет всё тех же «залогов веры». Уверовать в красоту образа Христа, в его человеколюбие и страстотерпкость он не может без залогов, — отсюда и вопрос «о горе». — Сдвинется, или нет?

И ответ Тихона сразу же выбивает почву из под ног Ставрогина. — И без залога и без «горы» Тихон благодарственно и молитвенно верует в Христа и чтит его образ. В этом обстоятельстве — колоссальное психологическое различие между Тихоном и Ставрогиным. Тихон — христианин, ибо смиренен, и в смирении своём отдаёт себе отчет в том, что вера его несовершенна. Ставрогин — человек психологических абсолютов, крайностей. Не может он «несовершенно» веровать. Тип и склад личности не позволяют. По принципу: или всё, или ничего. Или безграничная вера, или полное безверие.

Психологический маятник его колебаний иной: не от несовершенной веры постепенно, шаг за шагом, к совершенной; а дискретно — от безграничной веры к полному безверию и обратно. И эти противоположные крайние положения «маятника» влекут за собой столь же кардинальные изменения в линии поведения. Именно это стремление вечно, всегда и везде к одним исключительным степеням рождает «бесовскую» гордыню Ставрогина. Из гордыни Ставрогин не может остановиться на самой нижней (и самодостаточ-

ной) ступени веры, ибо это — самая первая ступень (пусть и далёкая от совершенства), которая, собственно, и определяется высотой порога преодоления состояния безверия.

Ставрогин же в силу характера не приемлет несовершенства, промежуточной ступени, желая разом завладеть конечной целью — идеалом, страстной, вдохновляющей верой. А потому ставит перед собой «космические» задачи, которые, однако, — увы! — выполнить не в состоянии. Примечательны слова Кириллова, сказанные им Ставрогину в ночь перед посещением Тихона: «Ставрогин! Вы — не сильный человек». А ведь и правда!

Не забыть и другие слова Кириллова: «Я думал, вы бремени ищете».

«Ставрогин замолк и вдруг опять впал в давешнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он «люблю» тоже чуть не в припадке, по крайней мере неожиданно для себя самого... (11/11).

— Не сердись, — прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея. Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови.

— Почему вы узнали, что я рассердился, — быстро произнёс он. Тихон хотел было что-то сказать, но тот вдруг перебил его в необъяснимой тревоге: — Почему вы именно предположили, что я непременно должен был разозлиться? Да, я был зол, вы правы, и именно за то, что вам сказал «люблю». Вы правы, но вы грубый циник, вы унизительно думаете о природе человеческой. Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я... Впрочем, дело не в человеке, а обо мне. Все-таки вы чудак и юродивый» (11/11).

Ставрогин ведёт себя по отношению к Тихону «наступательно». И в своей атаке на архиерея он использует тезисы, которые он отточил для психологической схватки с обыва-

тельским миром, с теми, кто будет осуждать его после обнародования листков с его исповедью.

«— Слушайте, я не люблю шпионов и психологов, по крайней мере таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись. Вы думаете, я вас боюсь? — возвысил он голос и с вызовом приподнял лицо. — Вы совершенно убеждены, что я пришёл вам открыть одну «страшную» тайну и ждёте её со всем келейным любопытством, к которому вы способны? Ну, так знайте, что я вам ничего не открою, никакой тайны, потому что в вас совсем не нуждаюсь» (11/11).

В данном случае Ставрогин либо неискренен, либо из гордости намеренно обостряет ситуацию. В том-то и дело, что самостоятельно «обойтись» с морально-психологическими проблемами, которые его мучают, он уже не в состоянии. И к Тихону он пришёл именно потому, что «нуждается» в его помощи и внешней поддержке.

«Тихон твёрдо посмотрел на него:

— Вас поразило, что Агнец любит лучше холодного, чем только лишь тёплого, — сказал он, — вы не хотите быть только тёплым. Предчувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть, ужасное. Если так, то умоляю, не мучьте себя и скажите всё, с чем пришли» (11/12).

Примечательно, что, стало быть, и Ставрогин уже размышлял над словами-формулой из Апокалипсиса. Тихон же психологически близок Ставрогину, подобно ему он испытывал сомнение, неоднократно обращаясь к священной формуле: «Я знаю, знаю место, я помню очень...» (11/11).

Этот штрих работает на общую картину феноменологического и духовного родства Тихона и Николая Ставрогина, хотя между ними простирается огромная дистанция — дистанция веры.

И, может быть, завершение романа, венец гениальной фабулы, подсказан Достоевскому евангельскими словами: Ставрогина «изблевали» из «уст» жизни и человеческого сообщества.

Николаю Всеволодовичу важно знать, действительно ли Тихон так психологически проницателен и «читает» мотивы людей как «открытую книгу». На всякий случай он перепроверяет архиерея:

«— А вы наверно знали, что я с чем-то пришёл?

— Я... угадал по лицу, — прошептал Тихон, опуская глаза» (11/12).

Наконец, после длительных и сложных психологических манёвров, Ставрогин решается передать Тихону исповедальные листки.

«— Вот листки, назначенные к распространению, — проговорил он несколько обрывающимся голосом. — Если прочтёт хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все. Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я всё решил» (11/12). Ну, а если совсем уж «не нуждается», то зачем, собственно, пришёл?

Почему у Ставрогина сложилась такая психологическая установка, что, если хоть один человек прочитает, тогда «тайна Исповеди» станет достоянием всех, «всего человечества». Опять психология «либо — либо». В качестве кого, кем ощущает себя Ставрогин? Бесом или Богом? Равновеликим кому? — Бесу или Богу?

Рассказчик говорит о том, что Исповедь Ставрогина он полностью включает в «свою летопись». Интересно замечание Хроникёра, что «он (документ Ставрогина. — *Н.М.*) уже многим теперь известен» (11/12). Кто бы мог его распространить? Сам Ставрогин? Или Тихон? Или кто-то ещё? Например, Пётр Верховенский?

Итак, Исповедь Ставрогина. Именно она приоткрывает завесу тайны над периодом «насмешливой жизни» Князя в петербургских углах. Ставрогин в своих записках пишет, что будучи отставным офицером в 186... году (очевидно, что после 1863 года) жил в Петербурге, «предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия» (11/12).

Характерна во всех отношениях «шутка», которую планировал Ставрогин, используя свои любовные связи. «...некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия» (11/13).

Сам же Ставрогин указывает на то, что «шутка глупая». А удовольствие — весьма сомнительного качества.

Несколько замечаний о нравственно-психологической натуре Ставрогина. Кстати, именно в 9 главе содержится самое полное и подробное в творчестве Достоевского описание механизма нравственного сладострастия. (См. указанную диссертацию.)

«Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня

сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощёчины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит всё, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намёком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось.

Всё это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то всё и основывалось!). И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке; только сам никогда не хотел останавливать. Я убеждён, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарён и которое всегда вызывал... Я всегда господин себе, когда захочу. Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу» (11/14).

Любопытно, что сам Ставрогин, стало быть, считает сильное ощущение («нравственное сладострастие») «позорным». Именно поэтому он никогда не говорил о нём никому, а «скрывал как стыд и позор».

Перед решающим экспериментом Ставрогин предпринимает несколько экспериментов, меньших по масштабу.

Первый — это случай с перочинным ножичком, который затерялся, и в неосознанной краже которого заподозрили

Матрёшу. И хотя пропажа довольно скоро обнаружилась, «мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того, чтоб её высекли» (11/14).

Помимо чрезвычайного множества мотивов, которыми руководствовался Ставрогин, решая не объявлять «про ножичек», был и еще один — сладострастный. Ставрогину пришла в голову ужасающая до смертного ужаса умопомрачительная идея — наблюдать истязание (побои) Матрёши. Похоже, что им двигало непреодолимое желание, чтобы она испытала позорные муки за то, что её секут при постороннем мужчине в «таком виде».

Ставрогина занимает вопрос, чем нравственное сладострастие отличается от простого злодейства: «Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и сию минуту» (11/15). В этом вся суть: «аристократ духа» может сдержаться и остановить преступление в любой момент, но не находит оснований для сдерживания.

«Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю от чего. В эти же два-три дня (так как непременно надо было выждать, чтобы девочка всё забыла) я, вероятно чтоб отвлечь себя от беспрерывной мечты или только на смех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни» (11/15). Совершённая в номерах кража на пробу — это второй эксперимент.

Итак, именно от «болезни равнодушия», взвешивая все «pro» и «contra» самоистребления, Ставрогин решается на последний, заключительный, решающий эксперимент-вызов через Матрёшу к Господу.

Заметим, с какой психологической достоверностью Ставрогин фиксирует малейшие детали своего эксперименталь-

ного преступления-вызова. «Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начиналось биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли остановить? И тотчас же ответил себе, что могу» (11/16).

«Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивлёние: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо её выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушёл — так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке — от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался» (11/16).

Что именно в поведении Матрёши так поразило Ставрогина? — То, что она сама активно «включилась» в ситуацию, стала участницей ставрогинского эксперимента.

«Когда всё кончилось, она была смущена. Я не пробовал её разуверять и уже не ласкал её. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо её мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждой минутой овладевало ею всё более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушёл из дому» (11/16).

Ставрогин не может не пытаться посмотреть на случившееся глазами Матрёши. И поскольку основным результатом его эксперимента должен был стать ответ на вопрос о бытии Божием, то и Матрёша оказывается его невольной участницей.

«Полагаю, что всё случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. ... Наверное ей показалось в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нём смертельно виновата, — «бога убила» (11/16).

«В ту ночь я и имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал» (11/16).

«Но я проснулся у себя в номерах наутро, меня привез Лебядкин. Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или нет; это была минута настоящего страха, хоть и не очень ещё сильного» (11/16—17).

«Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна» (11/17). (Вообще же «...в номерах все меня боялись ужасно и почитали» (11/16).

Можно ли это самопризнание рассматривать как свидетельство неодолимого стремления к контрасту, проявленного желания всегда и во всём следовать к вершине противоречия? — Вчера — преступник, сегодня — «праведник» и «душа общества».

О каком «страхе» говорит Ставрогин? О страхе «внешнем» — понятно. Страхе перед возможным наказанием. Но более всего Ставрогина терзает страх «внутренний». Он совершил крайний поступок. Более сильный эксперимент просто невозможен. Что называется, «все карты сданы». А Тот, «кто знает прикуп», держит паузу и не спешит огласить приговор.

«К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга» (11/17).

«Я никогда не чувствовал страху, и кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не зная почему, в первый раз в жизни, — ощущение очень мучительное. Кроме того, вечером, у меня в номерах, я возненавидел её до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об её улыбке.

Во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то, как она бросилась после всего в угол и закрылась руками, меня взяло неизъяснимое бешенство, затем последо-

вал озноб; когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку; по крайней мере до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения» (11/17).

Возникает естественный вопрос, чего боится Ставрогин? Чувство страха настолько велико, что фактически оно парализует волю Ставрогина. Боится ли он наказания? — Суда и каторги? Никогда в жизни он так близко не подходил к заслуженному им уголовному наказанию. Несомненно, этот мотив присутствует.

Но важно, мне кажется, всё же другое: Ставрогин боится того, что он вслед за Матрёшей «Бога убил». В том смысле, что его чудовищный эксперимент, призванный дать ясный и четкий ответ на вопрос о бытии Божием, оказался результативным. На его просьбу явить залог ему было отказано окончательно и бесповоротно.

«Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принуждён был пойти в Гороховую, несмотря на всё отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только сериозную» (11/17).

«В углу их каморки я заметил Матрёшу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошёл, она не спряталась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я её сам вывел и два дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело.

Я решился всё покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришёл, чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе: Матрёша была больна уже третий день, каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, об чём она бредит... Она мне зашептала, что бредит «ужасти»: «Я, дескать, бога убила» (11/17—18).

Судьба Матрёши стала побочным следствием эксперимента Ставрогина. Экспериментируют для получения ответов на свои смысложизненные вопросы одни, а расплачиваются за них другие.

«Я пообедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. ...

Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрёшей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм...

Она глядела на меня молча... Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на неё и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести: я встал и подвинулся к ней. На её лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребёнка. Она всё махала на меня своим кулачонком с угрозой и всё кивала, укоряя. Я подошёл близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками... Я оставил её, воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму,

почему я тогда не ушёл и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги её, она вышла в дверь на деревянную галерею...успел ещё подглядеть, как Матрёша вошла в крошечный чулан...

Странная мысль блеснула в моём уме. Я притворил дверь — и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить ещё было нельзя: «но однако»... (Я всё помню) (11/18).

Ставрогин догадывается о намерении Матрёши. Но точно так же, как и пять лет спустя он не остановит убийц Марьи Тимофеевны Лебядкиной, он не предпринимает ничего, чтобы предотвратить самоубийство обиженной им девочки.

«Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер... Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я всё помню до последнего мгновения.

Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать ещё с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал; но этого не могло и быть: была мёртвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы: недоставало трёх минут; я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате, всё ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил?

Наконец... пошёл к чуланчику. Он был припёрт, но не заперт; я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподнимусь на цыпочки и достану глазом до этой щёлки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими ум-

ственными способностями. Я долго глядел в щель, там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо... всё хотелось совершенно удостовериться» (11/19).

«Я решил наконец, что мне можно уйти...» (11/19).

«Часа через три мы все... пили в номерах чай и играли в старые карты, Лебядкин читал стихи. Много рассказывали и, как нарочно, всё удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов... Прохор Малов заметил, что «когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят». Я запомнил это тогда же» (11/19). Чем же так «доволен» Николай Всеволодович? Неужели тем обстоятельством, что и в этот раз ему как будто удалось уйти от ответственности и уголовного преследования?

«Но часов уже в одиннадцать прибежала дворникова девочка от хозяйки, с Гороховой, с известием ко мне, что Матрёша повесилась» (11/19).

«Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили что следует» (11/20).

«С неделю я не заходил туда. Зашёл, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру» (11/20).

«Уходя, я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру» (11/20).

Это пример особой, демонической силы низости и человеческого падения. Это Ставрогин-то, эстетический красавец с идеальными представлениями о чести и высшем долге (см. Характеристику Николая Всеволодовича, данную ему в романе Хроникёром), тоскующий по христианскому подвигу, даёт матери своей жертвы пять рублей! За что даёт? Как плату, как цену своей совести? Совесть Ставрогина стоит синенькой бумажки? Насколько это похоже на Ставрогина?

Скорее, здесь другое. Именно: и здесь наслаждение от низости и подлости своих поступков. Бездна падения Ставрогина. Здесь его «беси».

Кстати, необходимо вписать «подвиги» Ставрогина в хронологию событий с кражей денег у чиновника в «номерах», дракой в трактире, женитьбой на Марье Лебядкиной и т.д. Видимо, Ставрогин дал «пятёрочку» матери Матрёши уже после получения им денег, то есть хотя бы не из «ворованных».

Отметим, что женитьба Николая Ставрогина на Марье Лебядкиной произошла «на пьяное пари после обеда» уже после казуса с Матрёшей, уже после «дарения» им пятёрочки матери своей жертвы. Предельной степени эгоцентризм.

Но и проведённый Ставрогиным «натурный» эксперимент не побудил его отказаться от нравственно-сладострастных подвигов.

«Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, по миновании опасности, я было совсем забыл, как и всё тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал ещё со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто получше» (11/20).

(Знаменательное признание Ставрогина! «Год назад», то есть, по-видимому, в 1864 году, через некоторое время после выхода в отставку из армии и уже после начала ведения «насмешливой жизни» в Петербурге.)

«Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислужившую отчасти в углах, тогда ещё не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюблённую в меня втайне (о чем выследили наши), я решился вдруг на

ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего» (11/20).

Насколько искренен Ставрогин в этом признании? Действительно ли решение о женитьбе на Хромоножке было спонтанным и было принято «вдруг»? И о каком «безобразии» может здесь идти речь? Наконец, характеристика Марьи Тимофеевны Лебядкиной как «последнего существа» также нуждается в интерпретации и истолковании. Мимоходом заметим, что мышлению Николая Всеволодовича Ставрогина присуща «неэвклидова» логика. Как правило, в его интерпретации психологические «параллельные прямые» обязательно пересекаются.

И ещё. Формулировка причин, побудивших Ставрогина к женитьбе на Марье Лебядкиной, в его собственном изложении практически слово в слово повторяет мнение Ивана Шатова на этот счёт. Случайно ли это? Автор (Рассказчик) указывает этим на некоторое обстоятельство. На какое?

И, наконец, самое очевидное. Письменная форма «Исповеди» предполагает наличие читателя-соавтора: автор текста и его реципиент находятся в определённом жанровом взаимодействии. Поэтому искренность исповедывающегося, точность и достоверность излагаемых событий и мотивов поступков героя являются производными от художественного таланта автора. Как правило, чтобы добиться достоверности, исповедальные страницы нуждаются в серьёзной корректировке. Чем строже цензура, тем достовернее результат.

«Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба на низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрёшей. Право, не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только «пари на вино после пьяного обеда». Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда

случившийся в Петербурге; наконец, сам Лебядкин и Прохор Малов (теперь умер). Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить; объявляю заодно теперь» (11/20).

И опять, в каком смысле молчание о заключённом браке является «гадостью»? В любом случае, Николай Ставрогин не стыдится своего брака. Значит, он видит в своей «избраннице» некоторые такие качества, которые сам факт бракосочетания Князя и Хромоножки выводят из «низкой» «шутовской» плоскости и «поднимают» до «юродивой» проекции.

«Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан, — идею, до сих даже пор не искоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл четыре года» (11/20).

«Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии; просидел целый годовой курс в Геттингене» (11/20).

«Года два тому назад» во Франкфурте в бумажной лавке Ставрогин приобрел фотографическую карточку девочки, очень похожей на Матрёшу. И снова Ставрогин задаёт хронологические рамки. «Два года назад» — это 1868 год.

«Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что же касается до Матрёши, то я даже карточку её позабыл на камине» (11/21).

«Тому назад с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию...». А этот сюжет приходится уже на 1869 год.

Увидев во сне «золотой век», Ставрогин «раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами». «Ощущение счастья, мне ещё неизвестного, прошло сквозь сердце моё даже до боли». Но в тот самый момент, когда Ставрогин впервые почувствовал себя «зажегшимся», «загоревшимся», когда он воочию увидел «золотой век» и прочувствовал его неизъяснимую гармонию, его настигло раскаяние, убившее радость, ввергнувшее его вновь в пучину равнодушия и депрессии.

«Я увидел пред собою (о, не наяву! Если бы, если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрёшу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь, как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с не сложившимся рассудком, мне грозившего (чем? Что могло оно мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя! Никогда ещё ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь, и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминание о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет — мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, с своим поднятым и грозящим мне кулачонком, один только её тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне

почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидал её наяву, хотя бы в галлюцинации!» (11/22).

«У меня есть другие старые воспоминания, может быть получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблён смертельно и не отмстил противнику. На мне есть одно отравление — намеренное и удавшееся и никому не известное» (11/22).

«Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял» (11/22).

«Я скитался после того весь год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею своей волей по-прежнему. Но в том всё и дело, что никогда не хотел того сделать, сам не хочу и не буду хотеть; я уж про это знаю. Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия» (11/22—23).

О каком «сумасшествии» ведет речь Ставрогин? По характеристике Тихона, Ставрогин, скорее, «равнодушный». В том смысле, что он лишён деятельного начала в творении добра. Но при всём при этом он — страстно желающий, наконец, получить ответы на поставленные им «метафизические» и смысложизненные вопросы.

Поставленные перед кем? — Перед тем, кто единственный может на них ответить — перед Господом Богом. Максимализм Николая Всеволодовича Ставрогина. По замыслу Достоевского, Князь-Ставрогин — максималист.

«В Швейцарии я смог, два месяца спустя, влюбиться в одну девицу, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство (потому что я уже женат); но я бежал, по совету другой девушки, которой я открылся почти во всём. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от Матрёши» (11/23).

О каких «двух месяцах» в Швейцарии рассуждает Николай Всеволодович? Двух месяцах после чего? Видимо, после лицезрения образа Матрёши, явившегося ему в галлюциногенном сновидении. И, если по-другому выстроить хронологическую ось, то данные события происходят за десять месяцев до возвращения Ставрогина в родной город. А если ещё учесть обстоятельство отцовства Ставрогина, то именно в пределах ближайшего от этой временной точки месяца должен был состояться физический контакт Николая Всеволодовича Ставрогина и Марьи Игнатьевны Шатовой.

«Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно; я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверно, старания моих родных, которые этой идеей воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение моё понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать всё и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству» (11/23).

(Таким образом, попытка Ставрогина к покаянию имеет двойственную природу. Либо, в конечном итоге, побеждают христианские мотивы, и покаяние состоялось, либо попытка покаяния становится вызовом. Преступление над Матрёшей было экспериментом-вызовом, адресованным Богу. А покаяние в этом преступлении становится вызовом людям, человеческому сообществу: «останутся те, которые будут знать всё и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше».)

«Чтение продолжалось около часу» (11/23).

«Странно, что оттенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его всё это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренности, что придало ему вид почти достоинства» (11/23).

Полагает ли Ставрогин, что теперь он наконец-то совершил «подвиг» покаяния и самоочищения, о котором он столько мечтал? А зачем вообще Ставрогин приходил к Тихону? Разве не мог бы он реализовать «покаяние» в такой форме и таким способом, открывшись какому-нибудь другому персонажу? И если Николай Всеволодович стремился получить «залог» веры, то мог ли его предоставить Тихон, сам, как выяснилось, «несовершенно» верующий?

Но и Тихону исповедь Ставрогина представляется только попыткой покаяния. Оно могло состояться только при условии абсолютной искренности Николая Всеволодовича. Поэтому Тихон очень осторожен и аккуратен в своих оценках подвига Ставрогина. «Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль эта — великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы

только...Если б это действительно было покаяние и действительно христианская мысль» (11/24).

Основной вопрос: действительно ли христианские мотивы движут Ставрогиным? Или механизм «покаяния» используется для запуска (осуществления) механизма нравственного сладострастия? Как крайней степени честолюбия и самолюбования. Но, в таком случае, между «крестом» и «бесями» Николай Всеволодович выбрал «бесей». 9 главу «У Тихона» романа «Бесы» можно было бы назвать «История «судьбического», но не состоявшегося покаяния».

В данном случае старец Тихон отчасти лукавит. О какой такой «потребности сердца» может идти речь? И чем, интересно, «смертельно уязвлено» сердце Ставрогина? Ни тем ли обстоятельством, что он, страстно желая уверовать, никак не может получить залога. (Накануне встречи с Тихоном Шатов напомнил Ставрогину его собственные слова: «для того, чтобы сделать соус из зайца, необходим сам заяц».) В этом — корень вселенской, метафизической обиды Николая Всеволодовича. Он был бы готов склонить голову перед Высшим Существом, перед Высшим Авторитетом. Но никак не перед судом человеческим. Суд человеческий он презирает. «Горделивый вызов от виноватого к судье». Тихон очень тонко понимает психологические мотивы Николая Ставрогина:

«Документ этот идёт прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного, — так ли я понимаю? — продолжил он с настойчивостью и с необыкновенным жаром. — Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперёд всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовёте их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? Пусть гля-

дят на меня, говорите вы; ну, а вы сами, как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как будто любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это как не горделивый вызов от виноватого к судье?» (11/24).

Отметим, что для Ставрогина само покаяние (в виде чтения Тихоном исповеди Ставрогина) является формой психологического поединка с Тихоном. Поэтому Николай Всеволодович ищет не сотрудничества, а противоборства с архиереем.

«Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны: вот уже пять минут, как мы говорим после этого (он кивнул на листки), и я не вижу в вас (11/24—25) никакого выражения гадливости или стыда... вы, кажется, не брезгливы!..

Он не докончил и усмехнулся» (11/25).

«То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее мое презрение, — твёрдо договорил Тихон. — Я пред вами ничего не утаю: меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость.

Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своею совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени» (11/25).

(Всё-таки «психолог» Тихон не может отказать Николаю Всеволодовичу в признании за ним некоторой исключительности. Преступление Ставрогина он относит к разряду обыкновенных. Но охотно готов признать за Николаем Ставрогиным глубину осознания преступных деяний.)

«Уж не уважать ли вы меня стали после листков? — криво усмехнулся Ставрогин.

— Отвечать прямо о сём не буду. Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с откровицей, разумеется, нет и не может быть» (11/25).

«Оставим меру на аршины. Меня несколько дивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного преступления. Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя, — прибавил он неожиданно.

(Отметим, что Ставрогина вновь задевает характеристика, которую дал Тихон такого рода преступлениям, назвав их «обыкновенными». То есть Тихон прямо и недвусмысленно отказывает Ставрогину в претензии на «исключительность» его преступления над Матрёшей.)

«Я, может быть, вам очень налгал на себя, — настойчиво повторил еще раз Ставрогин. — Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставлю их ещё более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче.

— То есть их ненависть вызовет вашу, и, ненавидя, вам станет легче, чем если бы приняв от них сожаление?» (11/25).

(Ещё один шаг Николая Ставрогина от «Креста» к «бесям». Стремление максимально увеличить ненависть к себе со стороны обывателей, которые, как и Тихон, ужаснутся «великой праздной силе, ушедшей нарочито в мерзость», мотивировано тем, что «так мне будет легче». Ставрогин жаждет покаяния, но и в покаянии не хочет отказывать себе в психологическом комфорте.)

«Вы правы: я думаю, именно так придётся, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть» (11/25).

(Тихон надеется переломить ситуацию и увлечь Ставрогина на путь искреннего христианского покаяния. Но для этого необходимо побудить Ставрогина смирить гордыню.)

«Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне: если б кто простил вас за это (Тихон указал на листки), и не то чтоб из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек (11/25—26), которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читая вашу страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или всё равно?

— Легче, — ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. — Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче, — прибавил он неожиданно и полушёпотом.

— С тем, чтоб и вы меня также, — проникнутым голосом промолвил Тихон...

За вольная и невольная. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий, и, может быть, более вашего.

— Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с вами другой, третий, но все — все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести...

— А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?

— Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете» (11/26).

(Тихон отдаёт должное искренности и открытости Ставрогина. Именно откровенность и прямоту его исповеди он оценивает как однозначно христианские добродетели. По Тихону, намерение Николая Всеволодовича исповедоваться (как и нереализованное стремление покаяться), — подлинно христианское.)

«Чувствую степень вашей искренности и, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям... Я потому только,

что мне страшно за вас, — прибавил он, — перед вами почти непроходимая бездна.

— Что не выдержу? Что не вынесу со смирением их ненависти?

— Не одной лишь ненависти.

— Чего же еще?

— Их смеху, — как бы через силу и полушёпотом вырвалось у Тихона.

Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.

— Я это предчувствовал, — сказал он. — Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего «документа», несмотря на всю трагедию? Не беспокойтесь, не конфузьтесь... я ведь и сам предчувствовал.

— Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает их личным интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий.

— И прибавьте замечание мыслителя, что в чужой беде всегда есть нечто нам приятное.

— Однако же вы... вы-то сами... Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо, — с некоторым видом озлобления произнёс Ставрогин» (11/26).

(Почему злится Ставрогин? — Не потому ли, что Тихон практически полностью разгадал его мотивацию, то есть Николай Всеволодович для него — открытая книга.)

«— А верите, я более по себе судя сказал, чем про людей! — воскликнул Тихон.

— В самом деле? Да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что вас здесь веселит в моей беде?

— Кто знает, может, и есть. О, может, и есть!

— Довольно. Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи? Я знаю, чем, но я хочу, чтоб указали вы вашим

пальцем. И скажите поциничнее, скажите именно со всею тою искренностью, к которой вы способны. И ещё повторю вам, что вы ужасный чудак» (11/27).

(Зачем Ставрогин настаивает? Ведь не проверять же он собирается Тихона, а вдруг он какую-то самую тонкость психологическую и не уловил? Ставрогин провоцирует Тихона. Если тот произнесёт вслух свой приговор «поциничнее», то у Николая Всеволодовича пути назад уже не будет. Психологический баланс будет нарушен. Он вынужден будет возненавидеть своих судей и неизбежно впасть в очередное преступление. Отметим, что вне психологического пространства 9 главы молчаливое согласие Ставрогина на убийство Лебядкиных остается немотивированным.)

«Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное. О, не верьте тому, что не победите! — воскликнул он вдруг почти в восторге. — Даже сия форма победит (указал он на листки), если только искренно примите заушение и заплевание. Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены!.. (11/27).

(Тихон стремится ободрить Ставрогина, поддержать в нём стремление пройти путь покаяния до конца. Поэтому он так щедр на психологические авансы и скорые обещания того, что у Ставрогина всё получится и что он сможет обрести душевный покой, покаявшись и возродившись по христианскому завету. Но Ставрогин для себя уже многократно «прокручивал» и анализировал мотивы своего покаяния. По отношению к себе он безжалостен и не намерен заниматься самообманом. Поэтому он так методичен в деталях и нюансах.)

«Итак, вы в одной форме, в слоге, находите смешное? — настаивал Ставрогин.

— И в сущности. Некрасивость убьёт, — прошептал Тихон, опуская глаза.

— Что-с? Некрасивость? Чего некрасивость?

— Преступления. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные...» (11/27).

(Эстета Ставрогина напрягает не глубина падения, не тяжесть им содеянного, а «некрасивость», «не изящество», «не картинность» именно его преступления.)

«То есть, — подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки... и всё, что я говорил о моем темпераменте и ... ну и всё прочее... понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво, гадливо, нет, не то что гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу?» (11/27).

(Тихон указывает Ставрогину на главную отличительную черту христианского отношения к людям: сострадание, которое приемлет и «некрасивость». В своём отношении к человеку христианин не делает различия между красивостью и некрасивостью.)

«Да, вы знаете людей, то есть знаете, что я, именно я, не перенесу.. Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она?

— Не приготовлены, не закалены, — робко прошептал Тихон, опустив глаза.

— Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себя, и вот моя главная цель, вся моя цель! — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. — Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня» (11/27).

(Вопрос о «барышне из Швейцарии» задан потому, что Тихон понимает соблазн, которому подвержен Николай Ставрогин. «Не приготовлены, не закалены» означает, что в любой момент Ставрогин снова может впасть в преступление. Ради того, чтобы обладать объектом своего вожделения, он готов пожертвовать даже своей «Христовой невестой».)

«Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сём мире достигнуть, то вы во всё веруете! — восторженно (11/27—28) воскликнул Тихон. — Как же сказали вы, что в бога не веруете?»

«Вам за неверие бог простит, ибо духа святого чтите, не зная его» (11/28).

«Я вам радостную весть за сие скажу, — с умилением промолвил Тихон, — и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое... ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца... Кто обнимет его, необъятного, кто поймёт всего, бесконечного!» (11/28).

«Вы моё мнение знаете: подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если б и не выдержали, все равно вам первоначальную жертву сочтёт господь. Всё сочтётся: ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, ещё величайший того, нечто уже несомненно великое...» (11/28).

«Вас борет желание мученичества и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение

ваше — и тогда уже всё поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете...» (11/29).

(Таким образом, Тихон видит источник «бесовства» Ставрогина в гордости. Именно гордость питает желание «мученичества» и «жертвы собою». Покаяние не достигается «эксплуатацией» гордости.

Следует отметить поразительное взаимопонимание, установившееся между Ставрогиным и Тихоном. Более того, складывается впечатление, что они говорят на одном языке и полностью понимают мотивы друг друга. Аргументы в дискуссии одного собеседника «подхватываются» и развиваются другим собеседником. Собеседники дополняют друг друга до некоей всеобъемлющей христианской целостности.)

В конечном итоге Николай Ставрогин ставит под сомнение искренность Тихона, который пытается превратить исповедь в инструмент покаяния.

«Просто-запросто вам очень не хочется скандала, и вы ставите мне ловушку, добрый отче Тихон, — небрежно и с досадой промямлил Ставрогин, порываясь встать. — Короче, вам хочется, чтоб я остепенился, пожалуй, женился и кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая каждый праздник ваш монастырь. Ну, эпитимья! А впрочем, вы, как сердцевед, может, и предчувствуете, что это несомненно так и будет и всё дело за тем, чтобы меня теперь хорошенько поупросить для приличия, так как я сам только того и жажду, не правда ли? — Он изломанно рассмеялся» (11/29).

«— Нет, не та эпитимья, я другую готовлю! — с жаром продолжал Тихон, не обращая ни малейшего внимания на смех и замечание Ставрогина. — Я знаю одного старца... отшельника и схимника, и такой христианской премудрости,

что нам с вами и не понять того. ... Подите к нему в послушание, под начало его лет на пять, на семь, сколько сами найдёте потребным впоследствии. Дайте себе обет, и сей великой жертвой купите всё, чего жаждете и даже чего не ожидаете, ибо и понять теперь не можете, что получите!» (11/29).

«— Я вижу... я вижу как наяву, — воскликнул Тихон проницающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести, — что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту!» (11/30).

«— Успокойтесь! — повторял решительно встревоженный за него Ставрогин, — я, может быть, ещё отложу, ... вы правы, я, может, не выдержу, я в злобе сделаю новое преступление ... всё это так ... вы правы, я отложу» (11/30).

(Любопытно, что Ставрогин встревожился из-за Тихона. Собственная судьба, очевидно, тревожит его значительно меньше.)

«— Нет, не после обнародования, а ещё до обнародования листков, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только избежать обнародования листков!» (11/30).

(Означает ли это, что Николай Ставрогин, «по совести» разрешив убийство брата и сестры Лебядкиных, а затем фактически «отпустив на неминуемую смерть» Лизавету Николаевну, незадолго до этого сам распространил «листки» со своею Исповедью и тем самым отрезал себе путь к нравственному возрождению окончательно?)

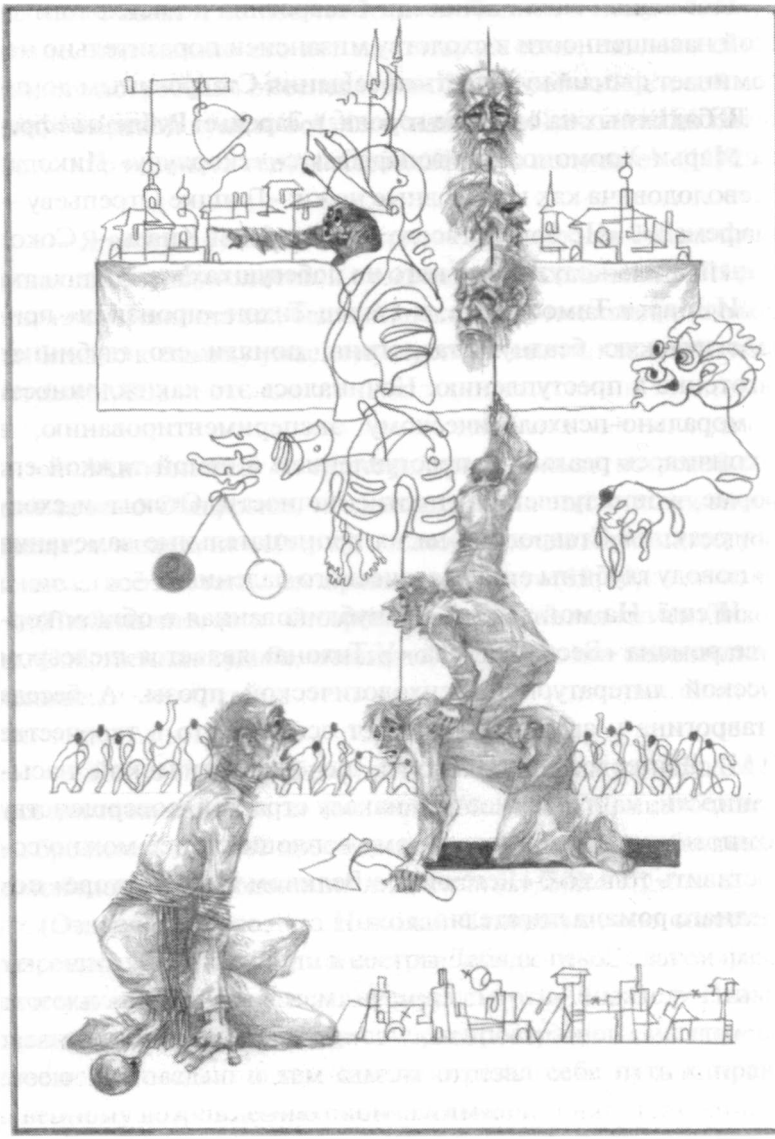
«Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга.

— Проклятый психолог! — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи» (11/30).

Последняя сцена исповеди Ставрогина по психологической насыщенности и сходству мизансцен поразительно напоминает финальную часть посещения Ставрогиным домика Лебядкиных на окраине города, в Заречье. Рубленые фразы Марьи-Хромоножки «вспарывают» «скорлупу» Николая Всеволодовича как консервные ножи: «Гришке Отрепьеву — анафема!!!». «Не боюсь твоего ножа!» «Мой Князь — Сокол ясный, а ты — служишь у него на побегушках!»

И Марья Тимофеевна, и старец Тихон «пронзили» психологическую бездну Ставрогина, поняли его глубинное тяготение к преступлению. Начиналось это как склонность к морально-психологическому экспериментированию, а закончилось реальным преступлением в самой тяжкой его форме — преступлением против личности. Отсюда и сходная реакция Ставрогина на их проницательные замечания по поводу глубины его человеческого падения.

И ещё. На мой взгляд, неопубликованная в общем корпусе романа «Бесы» 9 глава «У Тихона» является шедевром русской литературной психологической прозы. А беседа Ставрогина и архиерея занимает особе место в творчестве Ф.М. Достоевского. Пожалуй, по идеологической насыщенности, напряжённости и накалу страстей, совершенству композиции и художественному воплощению её можно сопоставить только с «Легендой о Великом Инквизиторе» последнего романа писателя.



§ 10. Ставрогин и Петр Верховенский: «старший бес» в поисках мотива для искушения «Иван-царевича»

Николай Ставрогин и Пётр Верховенский составляют собой практически контрарную пару. Аристократ и джентльмен Ставрогин и разночинец и парвеню Верховенский-младший. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос, а что их связывает?

Связь ситуационная понятна: «скучающий» Ставрогин не находит оснований, почему ему надо было бы избегать общества младшего Верховенского. Некогда они встречались в «петербургских углах», вместе путешествовали за границей. Вместе вернулись в Россию и приехали в губернский город N. По меткому выражению Федьки Каторжного, Пётр Степанович — это «обезьяна Николая Всеволодовича». То есть это — проекция «низкой» части души Ставрогина. И, одновременно, Верховенский-младший выполняет для Ставрогина роль «скомороха» или «шута горохового», развлекающего «барина».

В качестве замечания укажем на то, что Пётр Степанович постоянно «отзеркаливает» Николая Всеволодовича, вплоть до мелочей. Вслед за «джентльменом» Ставрогиным он заказывает панталоны «от Шармера», намеревается брать уроки верховой езды у берейтора и т.п. Но и помимо этих вполне невинных мелочей Верховенский-младший повторяет значащие поступки Ставрогина. Например, так же как и Ставрогин, он сначала посещает Кириллова, а лишь затем идёт к Шатову. Зачем-то Ф.М. Достоевскому важно было показать эту *повторяемость* поступков главных героев романа.

Но нас более интересует «метафизическая» связь Ставрогина и Верховенского-младшего. Достоевский довольно часто прибегает к пародийным сюжетам. Но эти пародии, как правило, оборачиваются трагедийными парадоксами. Пара Ставрогин — Пётр Верховенский — это «метафизическая» *пародия* на пару Фауст — Мефистофель. И как Фауст не в силах оттолкнуть от себя Мефистофеля, так Николай Ставрогин не может расстаться со «своим» бесом Верховенским (вплоть до финальной катастрофы, поразившей всю «ойкумену» романного пространства). Это означает, что на многие события и многих персонажей романа Ставрогин смотрит глазами Петруши Верховенского и оценивает их, исходя из его представлений о людях. По крайней мере, это замечание справедливо по отношению к городским «подпольщикам».

Исследователями отмечались хлестаковские нотки в поведении Верховенского. Так же, как и психологические черты, роднящие его с лессажевским «мелким бесом». И в этом смысле его вполне можно поставить в один ряд с героями Михаила Булгакова: Коровьевым-Фаготом, Бегемотом или Азазелло. Но это — внешний рисунок роли. На самом деле, Пётр Верховенский — это «старший бес». И если снова воспользоваться литературными сопоставлениями, то он, скорее, — Воланд, чем Коровьев или Бегемот. Или, иначе, со Ставрогиным Верховенский — Фагот, а с членами кружка «наших» — Воланд.

В понедельник вечером, то есть на восьмой день после памятных событий воскресенья, Петр Верховенский беседует с Николаем Ставрогиным. Беседа касается интерпретации случившегося скандала.

Ставрогин высказывает претензию. Он уверен, что тенденциозно освещая «петербургские тайны» Николая Всеволодовича, Верховенский намеренно его провоцировал:

«— То есть именно так рассказали, чтобы оставить сомнение и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было, и я вас ровно ни о чём не просил.

— Именно, именно! — как бы в восторге подхватил Пётр Степанович. — Я именно так и делал, чтобы вы всю пружину эту заметили; я ведь для вас, главное, и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометировать. Я, главное, хотел узнать, в какой степени вы боитесь» (10/176—177).

Интересно, а чего, собственно, по мнению Петруши Верховенского, мог бы бояться Николай Ставрогин? Кстати, эта ремарка (Хроникёра?) указывает на то, что Верховенский очень мало знаком с характером Николая Всеволодовича (или совершенно не намерен с ним считаться). В противном случае, он должен был бы учитывать психологическую особенность Князя — практически полное отсутствие страха, по крайней мере, перед внешними обстоятельствами. (В дальнейшей экспозиции романа Верховенский сам укажет на «отсутствие страха» как на самую яркую личностную характеристику Ставрогина.)

С другой стороны, Пётр Верховенский присутствовал при венчании Ставрогина с Марьей Лебядкиной, то есть они были знакомы с Николаем Всеволодовичем не менее пяти лет, а, учитывая некоторые биографические детали, очевидно, что они пересекались и прежде. Благодаря этому длительному знакомству Верховенский смог составить для себя более-менее адекватный психологический портрет Николая Всеволодовича Ставрогина. Другое дело, что Ставрогин раз за разом «выламывается» из тех рамок, которые задаются созданной Верховенским «моделью», что постоянно ставит Верховенского-младшего в тупик.

Поэтому Верховенский вынужден всё время подстраиваться под ситуацию и вносить определённые коррективы в тактические построения по психологическому «улавливанию» Князя-Ставрогина.

«Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что всё теперь переменилось, кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем; теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем» (10/177).

«— Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после Шатова взяли руки назад...» (там же).

Полагаю, следует высказать несколько замечаний по поводу «старого» — «нового» пути «компрометации» Николая Ставрогина. Собственно, «старый» путь состоял в том, что Петруша Верховенский намеревался держать Ставрогина в постоянном напряжении, пытаясь шантажировать его возможностью обнародования его брака с Хромоножкой. Не сразу, но он понял, что на Ставрогина эта угроза не действует. Во-первых, Ставрогин лишён чувства страха, в том числе и перед общественным мнением. Во-вторых, Ставрогин уже принял окончательное решение объявить публично о своём браке с Марьей Тимофеевной Лебядкиной.

«Новым» путём компрометировать Ставрогина Верховенский-младший решил, искушая и привлекая его на свою сторону, предлагая ему помощь в решении проблем, в которых, по мнению Петра Степановича, Николай Ставрогин жизненно заинтересован.

Вот почему Петруша Верховенский постоянно занят решением организационных вопросов. Как отмечает Хроникёр, Петру Степановичу приходится «много суетиться», плетя свои конспиративные сети. Кстати, в известной главе Лизавета Николаевна рассказывает Ставрогину о «страшном огромном пауке», на которого они с Николаем Всеволодовичем «будут сидеть и смотреть». На самом деле, она ошиблась «адресом»: таким ужасным пауком, плетущим сеть, в которую он «улавливает человеков», скорее, является «ре-

волюционер» и «эмансипатор» Пётр Верховенский. На что в дальнейшем укажет Хроникёр, когда Верховенский жёстко потребует повиновения от членов своей *пятерки,* усомнившихся в необходимости убийства Ивана Шатова.

«...все знали, что завтра всё-таки явятся в комплекте на место, и судьба Шатова решена. Чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину к огромному пауку; злились, но тряслись от страху» (10/421).

Николай Ставрогин специально приходит к Шатову, чтобы предупредить его о грозящей опасности. И в первый и последний раз на протяжении всего романа Николай Всеволодович даёт развернутую характеристику Петру Верховенскому.

В беседе Ставрогина и Шатова исследователи обычно обращают внимание на идеологемы концепции «народа-богоносца», исповедуемой Шатовым. Анализ личности Верховенского, предпринятый Ставрогиным, отходит на второй план. Между тем он очень важен, поскольку, «отзеркаливая», содержит автохарактеристики и самого Ставрогина.

Считает ли Ставрогин Верховенского «бесом»? — Несомненно. Но всё-таки главной его характеристикой он считает «энтузиазм» Петра Степановича: «Верховенский энтузиаст... Есть такая точка, где он перестаёт быть шутом и обращается в... полупомешанного» (10/193). Чему, кстати, несказанно удивился Шатов. Это — ещё одна говорящая деталь. Шатов отказывает Верховенскому в энтузиазме и готов видеть в нём исключительно политического «мошенника».

Но и соратники Петруши, члены подпольной «пятерки» весьма скептически оценивают «разносторонние» таланты своего политического шефа.

Наиболее проницательные из них (тот же Липутин) давно подозревают Петра Степановича в том, что революционные

идеалы (и то, в основном, состоящие из радикальных лозунгов и громких фраз) для него — лишь средство привлечения новых сторонников, «идейных прозелитов». А на самом деле его целью является приобретение неограниченной власти над умами и душами «подвластных» ему людей. Должен же Пётр Степанович Верховенский хоть как-то оправдывать своё реноме «беса»!

И уж если обращаться к литературным аналогиям, то Мефистофель-Верховенский пытается завладеть душой Ставрогина-Фауста, подвергая его разным искушениям... (Характерно, что старший Верховенский, «профессор» Степан Трофимович, прибегая к литературным реминисценциям для характеристики людей и ситуаций, охотно использует шекспировские образы, в том числе и из «Гамлета». Очевидных параллелей из гётевского «Фауста» начитанный Степан Трофимович по каким-то причинам намеренно избегает.)

Иван Шатов, как мы уже отмечали, прямо обвинил Верховенского в политическом шарлатанстве.

Даже последовательный в своих убеждениях верный адепт Петра Степановича поручик Эркель и тот в эпилоге романа начинает сомневаться в искренности своего руководителя.

Наконец, наиболее содержательная характеристика личности Петра Степановича дана им самим как *автохарактеристика* в феерической по накалу страстей беседе со Ставрогиным после закончившегося крахом посещения кружка «наших». В этой же сцене «обнажается» авантюрный политический замысел Петра Степановича, раскрывается его «сверхценная» идея. И в состоянии эмоционального напряжения Верховенский-младший *проговаривается*, зачем ему так необходим Николай Всеволодович Ставрогин: «Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся... К вам никто не

подойдёт вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идёт в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...(10/323—324).

Отметим, что Ставрогин и Верховенский взаимно меняются местами на психологическом «подиуме»: в Главе восьмой «*Иван-царевич*» «обнажается» Пётр Степанович, аналогично, Ставрогин подвергается личностному «раздеванию» в Главе третьей «*Законченный роман*» (об этом — ниже).

Характер взаимоотношений Ставрогина и Верховенского-младшего динамично меняется вслед за развитием сюжета романа. И если в интродукции романа Верховенский откровенно паясничает и демонстративно играет роль зависимого от Ставрогина человека, то затем «старший бес» сбрасывает маску. Он выступает не как подчинённое лицо, а как «право имеющий». А в некоторых ситуациях он пытается управлять Ставрогиным, навязывая ему свою волю.

«Одним словом, будут или не будут деньги (на то, чтобы отослать в Петербург капитана Лебядкина и Марью Тимофеевну. — *Н.М.*)? — в злобном нетерпении и как бы властно крикнул он на Ставрогина» (10/320).

«Эй, Ставрогин! Вы что-нибудь знаете или что-нибудь уже сделали? Вы — кутите!»

Лицо его искривилось, концы губ вздрогнули, и он вдруг рассмеялся каким-то совсем беспредметным, ни к чему не идущим смехом» (там же).

Николай Ставрогин первоначально воспринимает Петрушу Верховенского как «попутчика» в процессе совместного времяпрепровождения. Но уж в любом случае, не как соратника и единомышленника. На своё участие в «организации» он смотрит как на занятие, которое добавляет необ-

ходимой «остроты» «по вкусу» в слишком «пресные» будни провинции. И не более того! Поэтому он искренен в своём негодовании, когда осознаёт, что Верховенский пытается навязывать ему свою волю.

«Но я-то, я-то для чего вам понадобился? Вы ко мне пристаёте почти что с заграницы. То, чем вы это объясняли мне до сих пор, один только бред. Меж тем вы клоните, чтоб я, отдав полторы тысячи Лебядкину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, что у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой чёрт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое» (10/320—321).

«Он (Федька Каторжный. — *Н.М.*) здесь у вас припасён, вероятно, чтобы слышать наш торг или видеть даже деньги в руках, ведь так? — спросил Ставрогин...» (10/321).

Очевидно, что Пётр Степанович намеренно и целеустремлённо искушает Николая Всеволодовича преступлением. Стоит отметить, что Верховенский готов за участие Николая Ставрогина в своём политическом «проекте» заплатить самую дорогую цену: он предлагает Ставрогину без денег «решить вопрос» с Марьей Тимофеевной; он готов «отдать» Ставрогину уже назначенного на «заклание» Шатова; он предлагает «привезти» к нему Лизавету Николаевну хоть «завтра».

И когда Ставрогин отмахивается от всех предложений Верховенского, Пётр Степанович «взрывается».

«Ставрогин взглянул на него наконец и был поражён. Это был не тот взгляд, не тот голос, как всегда или как сейчас там в комнате; он видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та: Верховенский молил, упрашивал. Это был ещё не опомнившийся человек, у которого отнимают или

уже отняли самую драгоценную вещь» (10/321). Пётр Степанович «...бежал за ним и глядел на него прежним умоляющим, но в то же время непреклонным взглядом» (10/321).

Уточним. Ставрогин — не «бес». В этом отношении он не относится к тем персонажам, именем которых назван роман и которым он посвящён — не забудем эпиграф, предпосланный самим автором! Ставрогина искушают, а не он искушает. Искусителем Ставрогина выступает младший Верховенский — бес. Он искушает его властью. Искушает и тягой к преступлению: Федька Каторжный. Лиза Дроздова (Тушина). Но самого пристального исследования заслуживает «бесовство» Верховенского. Какой смысл вкладывает в его трактовку Достоевский?

Самое простое, то, что лежит на поверхности, это склонность к преступлению. Отсутствие каких-либо «тормозов» и моральных запретов. По словам самого Ставрогина, Верховенский серьезно рассчитывает на него по причине «необыкновенной склонности к преступлению» ставрогинской натуры. («Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею, и чужою». — 10/323—324). И именно эта личностная черта сближает таких разных людей, как Ставрогин и Верховенский-младший.

Но и в этом смысле Ставрогин не может считаться «бесом» того же калибра, что и Верховенский. Почему? — Прежде всего для Верховенского преступление является «рабочим инструментом» для достижения политических целей (себя он называет «политическим честолюбцем» и «мошенником»). Морально-психологические проблемы, как и метафизические вопросы человеческого существования, его мало интересуют. Совсем другое дело — Николай Ставрогин. Для него преступление является *средством* провоцирующего эксперимента, призванного разрешить именно «метафизического» уровня проблемы. Способом дойти до «самой сути»

вещей. Возможностью постичь то, что другими способами узнать невозможно.

Отсюда и различие в этических оценках. Для Петруши Верховенского «нет преступления», этот русский «ницшеанец» полагает, что право «революционера» — это право «сильной» натуры на совершение экстраординарных поступков, в том числе и на преступление. Николай Ставрогин всегда чётко осознаёт, что совершаемые им деяния являются преступлением, и по совести, и по закону. И он сожалеет, что вынужден использовать преступные средства для постижения истины.

Другая объединяющая их черта — *искусительство*. Верховенский искушает Ставрогина масштабностью планируемых преступлений. Так сказать, «эстетической их привлекательностью». Ставрогин же, испытывая склонность к экспериментаторству, «искушает» своих адептов противоположными по смыслу *интеллектуальными конструктами*. И получает удовлетворение от наблюдения за результатами экспериментальных построений своих идейных последователей.

Кардинальное их отличие — в том, что Николай Ставрогин пытается преодолеть в себе эту постоянно напоминающую о себе «склонность к преступлению» и в этом видит для себя главную личностную цель, а Петруша Верховенский упивается ею. И использует эту склонность как инструмент реализации своего неумеренного политического честолюбия.

Петруша-«бес» уверен, что Ставрогину некуда деться и что он с неизбежностью поддастся искушению и не устоит перед новым масштабным преступлением — вызовом. («Врёте вы, дрянной, блудливый, изломанный барчонок, не верю, аппетит у вас волчий!» — приговаривает Пётр Степанович, получив отказ Ставрогина участвовать в политико-криминальном «шоу» Верховенского. — 10/326).

И когда в последний момент Николай Всеволодович всё-таки «выскальзывает» из-под контроля Петра Степановича, это производит самое сильное впечатление на «искусителя». Николай Ставрогин проявил высшую степень свободы своей личности, пусть и достигнутую негативным методом самоубийства. И, тем самым, перестал быть «бесом». В душе и в личностной судьбе Ставрогина «Крест» *восторжествовал* над «бесями».

Вот тема, которая совершенно не была затронута исследователями. На самом деле самоубийство Ставрогина — это процедура *экзорцизма*, то есть *изгнания беса* («бесей»). Только субъект проведения этой процедуры и объект, по отношению к которому она проводится, совпадают. Это, так сказать, «автоэкзорцизм». Вот почему Николай Ставрогин в финале романа поднимается до уровня подвига христианских подвижников, ибо он «посрамил лукаваго», изничтожил «бесей» в себе, в своей личности.

Роман Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы» с полным на то основанием можно назвать «*романом христианского оптимизма*». В нём торжествует истинно христианская формула личностного возрождения: от раскаяния — через покаяние — к возрождению.

§ 11. «Мелкие бесы» Ставрогина: Липутин, Лямшин и иные...

Липутин, Лямшин, супруги Виргинские, Толкаченко, Шигалёв, Эркель и иные действующие лица в своей совокупности и составляют сонм «бесей». В известном смысле, они — главные герои романа, давшие повествованию собственное наименование. Именно эта публика является питательной средой губернского «бесовства» и подручным материалом для политического *кудесника* Петра Верховенского.

К «бесям» (категории самых «низко поставленных», «без царя в голове») следует отнести и комического лже-капитана Игнатия Лебядкина. Своей колоритной фигурой он обозначает карикатурный тип приживала, кормящегося за счёт своей полупомешанной-полуюродивой сестры, по своей глупости и недалёкости ввязавшегося в политико-криминальную авантюру, смысл которой ему не доступен. Этот тип может быть отнесён к чину самых бесполезных представителей вида — «бесенятам».

Обратим внимание на то, что основу губернской подпольной пятёрки Верховенского-младшего фактически составили члены кружка Верховенского-старшего, «профессора» Степана Трофимовича. Липутин, Виргинский, Лямшин («сильная губернская голова», и тоже «подпольщик» Шигалёв, приходится родственником Виргинскому). Как минимум, трое из пяти «подпольщиков» принадлежали одновременно к обоим кружкам. Случайно ли это?

Для Хроникёра, Антона Лаврентьевича, также входившего в «ближний круг» Степана Трофимовича, связь двух кружков не только не очевидна, но даже противоестественна. Да и сам Верховенский-старший категорически не согласился

бы признать *генетическую связь* оппонирующих власти либеральных губернских «говорунов» и радикальных политических экстремистов, оказавшихся способных на политическое убийство и готовых к «разрушению всяческих основ». Для Достоевского, однако, очевидно, что одно рано или поздно порождает другое. И не случайно в романе Степан Трофимович последовательно и пространно отказывается признать ответственность за деятельность Петруши и его команды. И, кстати говоря, как показал дальнейший ход событий, именно Виргинский и Лямшин оказались «слабым звеном» в политико-криминальных построениях Петра Степановича.

Каковы взаимоотношения этого «бесовского воинства» и Николая Всеволодовича Ставрогина, из которого Пётр Степанович Верховенский мечтает вылепить *Царя бунтовщиков* и подпольщиков, своего рода *Анти-Христа* революции...?

Задача Петра Верховенского — создать из Ставрогина некий символ таинственного могущества подпольного движения. Поэтому, в соответствии с планом, Ставрогин должен быть, с одной стороны, загадочным и недоступным для простых членов подпольной пятерки романтическим героем, с другой, — его должны видеть некоторые избранные, которые затем разнесут весть о нём по другим пятёркам. История похождений Николая Ставрогина как нельзя лучше работает на образ таинственного и могущественного представителя зарубежного «центра».

В свою очередь, как может относиться к этой разношёрстной губернской публике дворянин, сын генерала, бывший боевой офицер, прослушавший годовой курс философии в Геттингенском университете, многое испытавший к своему тридцатилетнему рубежу и бросивший вызов самому Господу Богу? Единственный персонаж, который его по-настоящему интересует из всей этой когорты, это — сам Пётр Верховенский. Остальных же он просто презирает.

Некоторое представление об истинном отношении Ставрогина к мелким «губернским бесам» даёт текст его последнего письма, адресованного Дарье Павловне Шатовой: «Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, — я смешного не могу испугаться, — а потому, что всё-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошёл бы с ними». (10/514). По мнению *джентльмена* Николая Всеволодовича Ставрогина, «порядочный человек» и не может не испытывать к «отрицающим нашим» ничего, кроме чувства омерзения.

Впрочем, и сами «кружковцы» относятся к Ставрогину без особого пиетета. Сергей Васильевич Липутин, имевший «счастье» некогда пересечься с Николаем Всеволодовичем по скандальному бытовому поводу, полагает, что похождения Ставрогина не имеют никакого отношения к подпольной революционной деятельности. Тем более, по его мнению, он не может быть «высоким» представителем «зарубежного Центра», за которого его усиленно выдаёт «из своих видов» Петр Степанович.

Это мнение разделяет и большинство подпольщиков. Более того, личность Николая Ставрогина вызывает у них явную антипатию. Как в интродукции романа отмечает Хроникёр, «за гордость его у нас не любили». Не любили обыватели, но и «подпольщики» не особенно жаловали. Ну, и само собой, завидовали богатству способностей и одарённости его натуры.

В романе дана развёрнутая характеристика нескольких «бесовских» персонажей, принадлежащих к сообществу «наших».

Пожалуй, из всего круга мелких «бесей» особые отношения складываются у Николая Ставрогина с Сергеем Ва-

сильевичем Липутиным. Отчасти это произошло благодаря известной истории с мадам Липутиной.

Ставрогина поразило, что Липутин всерьёз рассматривает его дерзкие (по большому счёту, *мальчишеские*) выходки как некоторые принципиальные политические поступки-демонстрации (наши современники назвали бы эти акции Ставрогина яркими общественно-политическими «перфомансами»). «Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле ... был нездоров... — пробормотал Николай Всеволодович нахмурившись. — Ба! — вскричал он. — Да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?

Липутин скрючился и не сумел ответить. ...

— Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей...

Народности придерживаетесь?

Липутин ещё более скрючился.

— Ба!? Ба! Что я вижу! — вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана. — Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? — засмеялся он, стуча пальцами в книгу.

— Нет, это не с французского перевод! — с какою-то даже злобой привскочил Липутин. — Это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии...

Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьёза, что из всех впечатлений его, за всё время, проведённое им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не

подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в своё собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто вёрст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».

«Бог знает, как эти люди делаются!» — думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста» (10/44—45).

Столь же противоречивое сочетание личностных качеств демонстрирует и мадам Виргинская. «Сама же madame Виргинская, занимавшаяся повивальною профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице; ... Соответственного же её званию смирения не примечалось в ней вовсе.

...

Кончилось тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах; деньги же любила до жадности. Ощутив вполне свою силу, она под конец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может быть, даже нарочно на практике в самых знатных домах пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или, наконец, насмешками над «всем священным», и именно в те минуты, когда «священное» наиболее могло бы пригодиться (10/301).

«Но хоть и нигилистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезгала не только светскими, но и стародав-

ними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу» (там же).

Напротив, её муж, Виргинский, был чужд практицизма своей эмансипированной супруги и принадлежал, скорее, к типу «романтиков революции».

«Являлся на вечера и ещё один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тётку и сестру своей жены. ... Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь» (10/28).

Антону Лаврентьевичу, как и другим кружковцам, он запомнился историей с лжекапитаном Игнатом Лебядкиным, которого после года замужества вдруг предпочла супруга Виргинского. Однако, несмотря на мягкость своего характера и врождённую интеллигентность, Виргинский сумел отстоять своё семейное счастье, совершенно неожиданно для окружающих дав «физический» отпор конкуренту.

«О домашних делах своих он никогда... у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдалённо о своём положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул: «Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»! (10/30). Характерно, что, стало быть, он никак не связывал историю своих семейных бедствий с господствующей в определённых кругах образованного общества «либеральной идеей» и вытекающими из неё морально-эмансипаторскими поведенческими установками.

«Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами» (10/28).

Сам Николай Ставрогин довольно скупо высказывается по поводу «подпольщиков». Судя по всему, как человеческие типажи они ему не особенно интересны. Своим мнением по поводу всего «революционного сообщества» он делится только с Иваном Шатовым. Скептическое и даже ироничное отношение Ставрогина к подпольщикам совсем не означает, что он недооценивает опасность, которую они представляют для окружающих. Именно поэтому Ставрогин специально приходит к Ивану Шатову, чтобы предупредить его о готовящейся над ним расправе. И его удивляет реакция Шатова, который недоверчиво воспринимает предостережение Ставрогина.

«Скажите лучше: согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?

— Он согласился; он сказал, что можно и что я имею право...

— Ну, так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения, а агентов у них много, даже таких, которые и не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Пётр Верховенский, между прочим, приехал сюда за тем, чтобы порешить ваше дело совсем, и имеет на то полномочие, а именно: истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести (10/192).

«Повторяю вам, что это наверно; и позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены, что вы шпион и если ещё не донесли, то донесёте. Правда это?

Шатов скривил рот, услыхав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном.

— Если б я и был шпион, то кому доносить? — злобно проговорил он, не отвечая прямо. — Нет, оставьте меня,

к чёрту меня! — вскричал он, вдруг схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности. — Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! — вскричал он чуть не в отчаянии (10/192—193).

«Вы спрашиваете: как мог я затереться в такую трушобу? ... Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею право их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану, и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорён (10/193).

«— О, у них всё смертная казнь и всё на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают. И вы верите, что они в состоянии!

— Тут отчасти вы правы, отчасти нет, — продолжал с прежним равнодушием, даже вяло Ставрогин. — Сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение» (там же).

«Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Пётр Верховенский, и уж он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем, основная идея не глупее других в этом роде. У них связи в Internationale; они сумели завести агентов в России, даже наткнулись на довольно оригинальный приём... Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело тёмное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас всё можно попробовать. Заметьте, что Верховенский человек упорный.

— Этот клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России! — злобно вскричал Шатов.

— Вы его мало знаете. Это правда, что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше, чем мы с вами; и притом Верховенский энтузиаст. (10/193).

— Верховенский энтузиаст?

— О да. Есть такая точка, где он перестаёт быть шутом и обращается в... полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше: «Знаете ли, как может быть силён один человек?» Пожалуйста, не смейтесь, он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неумения вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.

— Но ведь вы не боитесь?

— Н-нет... Я не очень боюсь... Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы всё-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков; дело не в их уме: и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука» (10/194).

Яркую картину нравов губернских «подпольщиков» демонстрирует собрание «наших». — Тайная встреча «единомышленников», для конспирации замаскированная под празднование именин.

«Конечно, большинство гостей не имело ясного понятия, для чего их предуведомляли. Правда, все они принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмиссара, имеющего полномочия; эта идея как-то сразу укоренилась и, натурально, льстила» (10/302).

«Эти пятеро избранных сидели теперь за общим столом и весьма искусно умели придать себе вид самых обыкновенных людей, так что никто их не мог узнать. То были, — так

как теперь это не тайна, — во-первых Липутин, затем сам Виргинский, длинноухий Шигалёв — брат госпожи Виргинской, Лямшин и, наконец, некто Толкаченко — странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком» (10/302).

Члены этой пятёрки полагали, что их добровольное вхождение в организацию Петра Степановича даёт им особые права и что теперь они пользуются особым доверием своего руководителя как «посвящённые»: «...Пётр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и по крайней мере рассказать им в награждение какой-нибудь самый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего ничего не рассказывал; вообще третировал их с замечательною строгостью и даже небрежностью. Это решительно раздражило, и член Шигалёв уже подбивал остальных «потребовать отчёта» (10/303).

Включение Николая Ставрогина в систему этих противоречивых политико-психологических отношений, связывающих Верховенского с «соратниками», привело к неожиданному результату.

Как мы уже отмечали, яркой личностной чертой Николая Всеволодовича было самоощущение полной свободы. В сочетании с предельным эгоцентризмом это приводит к тому, что всегда и во всём Ставрогин поступает, исходя исключительно из собственных интересов. Поэтому он принципиально не мог быть членом никакого сообщества, тем более, тайного, участие в котором предполагает соблюдение жесточайшей дисциплины и подчинение руководящей иерархии. Поэтому вполне ожидаемо, что Ставрогин покинул заседа-

ние кружка «наших», как только потерял к нему интерес. Что, естественно, вызвало недоумение у собравшихся и поставило Петра Верховенского в трудное положение. Образ «заграничного куратора», тщательно выстраиваемый Петрушей, рассыпался, не успев даже сформироваться.

«— Позвольте, господин Ставрогин, — резко обратилась к нему хозяйка, — мы все здесь ответили на вопрос, между тем как вы молча уходите?

— Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует, — пробормотал Ставрогин.

— Но мы себя компроментировали, а вы нет, — закричало несколько голосов.

— А мне какое дело, что вы себя компроментировали? — засмеялся Ставрогин, но глаза его сверкали.

— Как какое дело? Как какое дело? — раздались восклицания. Многие вскочили со стульев.

— Позвольте, господа, позвольте, — кричал хромой, — ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал.

Замечание произвело эффект поразительный. Все переглянулись. Ставрогин громко засмеялся в глаза хромому и вышел, а за ним Кириллов. Верховенский выбежал вслед за ними в переднюю» (10/318—319).

Но истинная суть и роль губернских «бесей» раскрывается в сцене убийства Ивана Шатова. Распорядителем казни и основным экзекутором выступает Пётр Верховенский. Как, кстати говоря, и прокурором, выдвинувшим обвинение, и судьёй, вынесшим приговор. В какой-то момент Верховенский оказался в меньшинстве, и ему пришлось употребить всё своё влияние для того, чтобы другие члены «пятерки» его не ослушались, а, самое главное, не предупредили будущую жертву.

Для стороннего наблюдателя смысл и значение «бесовства» как определённого политико-идеологического явления раскрывается в детальном описании процедуры убиения несчастного Ивана Шатова. «Как уже сказано, почти все стояли и ничего не делали, кроме отчасти Толкаченко и Эркеля. Виргинский хотя и бросился, когда и все бросились, к Шатову, но за Шатова не схватился и держать его не помогал. Лямшин же очутился в кучке уже после выстрела. Затем все они в продолжение всей этой, может быть десятиминутной, возни с трупом как бы потеряли часть своего сознания. Они сгруппировались кругом и, прежде всякого беспокойства и тревоги, ощущали как бы лишь одно удивление. Липутин стоял впереди, у самого трупа. Виргинский — сзади его, выглядывая из-за его плеча с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством, даже приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Лямшин же спрятался за Виргинского и только изредка и опасливо из-за него выглядывал и тотчас же опять прятался. Когда же камни были подвязаны, а Пётр Степанович приподнялся, Виргинский вдруг задрожал весь мелкою дрожью, сплеснув руками и горестно воскликнул во весь голос: «Это не то, не то! Нет, это совсем не то!» (10/460).

«Он бы, может быть, и ещё что-нибудь прибавил к своему восклицанию, но Лямшин ему не дал докончить: вдруг и изо всей силы обхватил он и сжал его сзади и завизжал каким-то невероятным визгом. Бывают сильные моменты испуга, например, когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нём нельзя было раньше, и это бывает иногда даже очень страшно. Лямшин закричал не человеческим, а каким-то звериным голосом. Всё крепче и крепче, с судорожным порывом, сжимая сзади руками Виргинского, он визжал без умолку и без перерыва,

выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топотал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. Виргинский до того испугался, что сам закричал, как безумный, и в каком-то остервенении, до того злобном, что от Виргинского и предположить нельзя было, начал дёргаться из рук Лямшина, царапая и колотя его сколько мог достать сзади руками. Эркель помог ему наконец отдёрнуть Лямшина. Но когда Виргинский отскочил в испуге шагов на десять в сторону, то Лямшин вдруг, увидев Петра Степановича, завопил опять и бросился уже к нему. Запнувшись о труп, он упал через труп на Петра Степановича и уже так крепко обхватил его в своих объятиях, прижимаясь к его груди своею головой, что ни Пётр Степанович, ни Толкаченко, ни Липутин в первое мгновение почти ничего не могли сделать. Пётр Степанович кричал, ругался, бил его по голове кулаками; наконец, кое-как вырвавшись, выхватил револьвер и наставил его прямо в раскрытый рот всё ещё вопившего Лямшина, которого уже крепко схватили за руки Толкаченко, Эркель и Липутин; но Лямшин продолжал визжать, несмотря и на револьвер» (10/461).

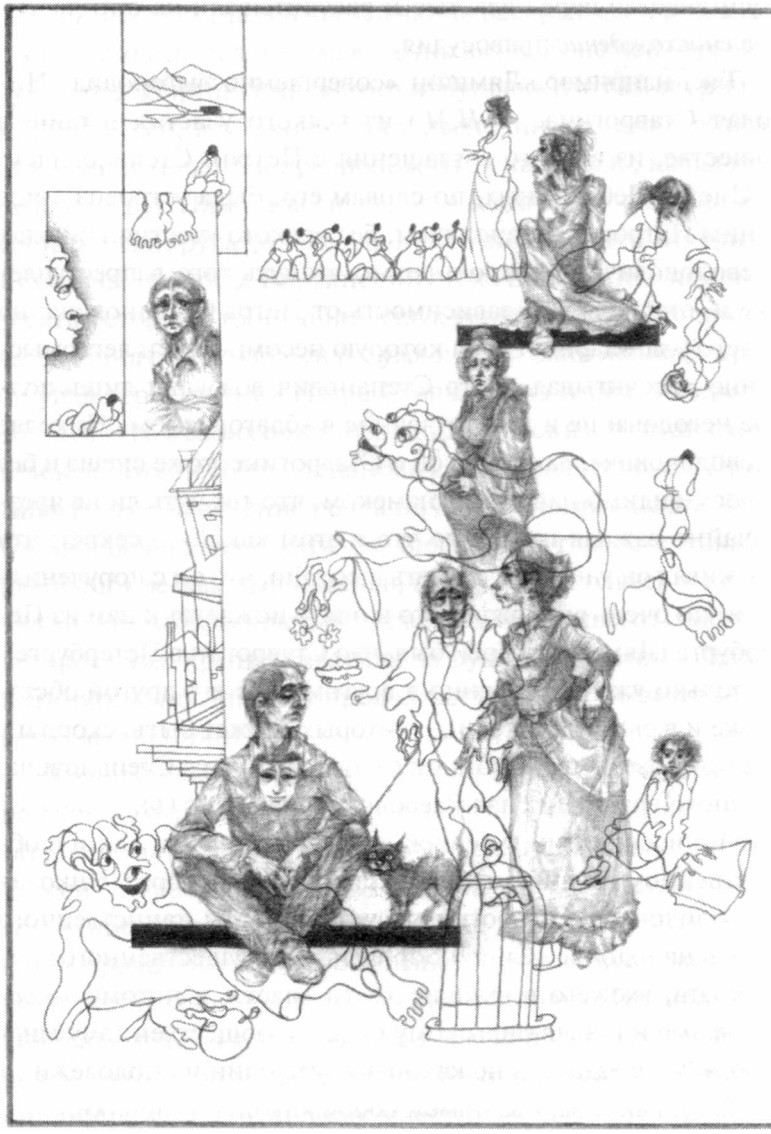
Хроникёр намеренно живописует картину убийства Ивана Шатова подпольщиками именно так, что вызывает у читателя впечатление о превращении их в животных. Истерический «поросячий» визг Лямшина, глухое «тетеревиное» токование Виргинского: «не то — не то — не то — не то...», стали проявлением оскотинивания и *наглядной* демонстрацией бесовской сути губернского подполья. По мрачному колориту изображение этой сцены напоминает средневековые миниатюры. Не случайно бесовские силы на них часто изображались в личинах животных!

А после случившейся катастрофы некоторые из «подпольщиков» намеревались через Ставрогина приобрести за-

ступничество перед властью и рассчитывали на определённое *снисхождение* правосудия.

Так, например, Лямшин «совершенно выгородил (Николая Ставрогина. — *Н.М.*) из всякого участия в тайном обществе, из всякого соглашения с Петром Степановичем. ... Смерть Лебядкиных, по словам его, была устроена лишь одним Петром Степановичем, без всякого участия Николая Всеволодовича, с хитрою целью втянуть того в преступление и, стало быть, в зависимость от Петра Степановича; но вместо благодарности, на которую несомненно и легкомысленно рассчитывал, Пётр Степанович возбудил лишь полное негодование и даже отчаяние в «благородном» Николае Всеволодовиче. Закончил он о Ставрогине, тоже спеша и без спросу, видимо нарочным намёком, что тот чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет; что проживал он у нас, так сказать incognito, что он с поручениями и что очень возможно, что и опять пожалует к нам из Петербурга (Лямшин уверен был, что Ставрогин в Петербурге), но только уже совершенно в другом виде и в другой обстановке и в свите таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат, и что всё это он слышал от Петра Степановича, «тайного врага Николая Всеволодовича» (10/511).

И в восприятии губернских «бесей», так же, как и в общественном мнении губернской публики, образ Николая Всеволодовича Ставрогина сочетает черты таинственного злодея наподобие «Синей Бороды», и могущественного аристократа, вхожего в высшие круги власти, а потому *неподвластного* ни обывательскому суду, ни общественному мнению. «Тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодёжи...» (10/233), как говаривали меж собой клубные старички.



§ 12. «Земная» невеста Николая Ставрогина

Глава «Законченный роман» — единственная глава «Бесов» (не считая *9 главы «У Тихона»*, которую читатель так и не увидел), в которой Николай Ставрогин предстаёт как реальный, живой человек, а не как маскарадная маска или механическая кукла. Человек, который испытывает настоящие эмоции, чувствует, страдает, надеется и отчаивается. Предметом этих «земных» страстей Ставрогина (в отличие от «христианских» эмоций, которые он головным образом обязал себя испытывать к Марье Лебядкиной) является Елизавета Николаевна Тушина (Дроздова).

В диалоге Ставрогина и Лизы во время их финальной встречи раскрывается истинное отношение Князя к своей «земной невесте». Оно резко контрастирует с тем состоянием постоянной психологической дуэли и бесконечными личностными выпадами, которыми обменивались Ставрогин и Лизавета Николаевна на протяжении всего романа до этой встречи.

Вот начало диалога Ставрогина и Лизы наутро после совместно проведённой ночи.

«Болезненное впечатление отразилось в лице его.

— Лиза, мне больно за этот надломленный язык. Эта гримаса вам дорого стоит самой. К чему она? Для чего?

Глаза его загорелись.

— Лиза, — воскликнул он, — клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне!

— Какое странное признание! Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки?

— Ты не оставишь меня, — продолжал он почти с отчаянием, — мы уедем вместе, сегодня же, так ли?»

Почему Ставрогин «сегодня» любит Лизавету Николаевну больше, чем «вчера»? Может быть, потому, что в его комплексе чувств новой эмоциональной краской проявилась *страдательная* нотка? И именно эта нотка, возникшая из его отношения к обречённой на гибель Марье-Хромоножке, теперь проецируется и на «бедную» Лизу. По принципу: кому причиняю боль и страдание, того более всех ценю и люблю. «Страдательный залог» сопровождает Николая Ставрогина в течение всей романной истории его бедствий.

Но вместо ожидаемого согласия Лизы на дальнейшее совместное *бытие* Ставрогин слышит совсем другое:

«...Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб... да и медленно для меня; да и неспособна я; слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать — вот мой идеал, вы знаете; я от вас не скрыла, ещё в Швейцарии, какова я собою» (10/399).

Очередной интересный поворот темы: Лизавета Николаевна отказывается «воскресать» любым способом, даже если это «воскресение» будет происходить совместно с Николаем Всеволодовичем! И её не устраивает, в первую очередь, скорость процесса. Если уж и менять судьбу и «перерождаться», то *сразу*! Эта черта, с одной стороны, сближает её со Ставрогиным. Он также не способен на длительный и систематический труд души, в соответствии с христианскими установками. (На что ему прямо указал старец Тихон.) Он тоже сторонник «немедленных» изменений. А, с другой, Ставрогин хотя бы понимает *необходимость* длительного и постоянного душевного усилия, с помощью которого только и можно возродиться.

Кстати, отказываясь «возрождаться», Лиза сама балансирует на границе «бесовского» круга, рискуя оказаться в числе представителей «бесовской» корпорации. Тем более что определённые черты её характера дают к этому все основа-

ния. Например, склонность к некоторому психологическому мучительству. Это качество её характера несколько раз проявилось в пристрастном отношении к Маврикию Николаевичу. Эта же склонность помучить, мстительно уколоть проявляется и по отношению к Николаю Всеволодовичу, и особенно усиливается после совместно проведённой ночи.

«Лиза! Что же такое было вчера?

— Было то, что было.

— Это невозможно! Это жестоко!

— Так что ж, что жестоко, и снесите, коли жестоко» (10/399).

Другой чертой Лизиного характера оказывается максимализм. Либо в «Москву и делать визиты», либо не будем и «воскресать», поскольку «слишком высоко для меня». Кстати, это замечание отвечает и на вопрос, а что сближает Николая Ставрогина и Лизавету Тушину-Дроздову? — Они оба являются людьми психологических *крайностей*. Натурами, склонными к резким порывам и пугающим поведенческим *экзерсисам*.

«Так зачем же вы дарили мне... «столько счастья»? Имею я право узнать?

— Нет, уж обойдитесь как-нибудь без прав...» (10/399).

Николая Ставрогина напрягает «спонтанность» процесса, то, что перед *роковой* встречей с Лизой не были выработаны «правила» взаимного «сдерживания» и чёткого «распорядка» отношений. На этом, по-видимому, строился и политико-психологический расчёт Петра Степановича. Внезапным маневром «появления» Лизы у Николая Всеволодовича он надеялся застать Ставрогина «врасплох», не дать ему возможность выстроить хоть сколько-нибудь рациональную линию поведения, заставить его действовать спонтанно, исходя из настроения текущей минуты.

«Когда я отворяла вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас

выразились, и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза» (10/399).

Фактически Лиза несколько раз даёт понять Ставрогину, что инициатором их отношений и краткого мига «счастья» была она, а вовсе не сам Николай Всеволодович. Но, проявив инициативу к сближению, она оставляет за собой право и на прекращение отношений. И она ощущает удовлетворение от того, что в психологическом плане «взяла верх» над «демоническим» Ставрогиным. Судя по всему, Николай Ставрогин впервые попал в ситуацию, когда не он доминирует в романтических отношениях с женщиной, а, напротив, он вынужден принимать условия партнёрши. Для гордого характера Князя — это определённое испытание.

«Твои слова, этот смех, вот уже час, насылают на меня холод ужаса. Это «счастье», о котором ты так неистово говоришь, стоит мне... всего. Разве я могу теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня всё отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты, чего она стоила мне, эта новая надежда? Я жизнью за неё заплатил» (10/399).

Ценностным измерением «новой надежды» Ставрогина выступает человеческая жизнь. Чью жизнь имеет в виду Николай Ставрогин? Только ли о сестре и брате Лебядкиных идёт речь? — Похоже, Ставрогин говорит и о своей жизни. Её он тоже «положил» на алтарь своей трагифарсовой любви, пытаясь обрести надежду на счастье с Лизаветой Николаевной. Поэтому разрыв отношений с Лизой означает для него полный и окончательный жизненный крах.

Любопытен и самоанализ, с помощью которого Лиза пытается разобраться в комплексе своих мотивов, приведших её в конечном счёте к Николаю Всеволодовичу.

«Я барышня, моё сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось, вся разгадка. ...

Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас всенародно «обидела», а вы мне ответили таким рыцарем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы, безрассудную, берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие» (10/400).

На самом деле, интрига развивалась одновременно в нескольких «проекциях». Лизавета Николаевна вовлечена в психологический поединок с Николаем Всеволодовичем, в котором проявляет волю и страстно борется за *доминирование* в их отношениях. И именно желание довести интригу до «самого конца» послужило побудительным мотивом её «бегства» к Николаю Всеволодовичу. А в нужный момент это стремление умело «подогрел» Пётр Степанович, заодно «присовокупив» сюда и фольклорные мотивы (былинная «ладья», «вёселки кленовые», «паруса шелковые», красна-девица Лизавета, светлый князь «Иван-царевич» и т.п.). Сыграл свою роль и образ таинственного «карбонария», который усиленно создавал вокруг Ставрогина Пётр Верховенский.

Николай Ставрогин, по его собственному признанию, подпав под очарование женственности Лизы и увлекшись ею ещё в Швейцарии, в то же время избежал искушения совершить преступление двоежёнства. Осознав грозящую опасность нового преступления, он намеренно дистанцировался от Лизаветы Николаевны. (Кстати, увлечение Ставрогиным Лизой стало, по-видимому, причиной разрыва отношений между Николаем Всеволодовичем и Марьей Игнатьевной Шатовой, женой Ивана Шатова, имевших место в Швейцарии.)

Но именно поэтому отношения Ставрогина и Лизы и не имеют никакой перспективы для развития. Поскольку они находятся на разных уровнях психологической реальности.

Лиза мечтает о «земном» счастье женщины и хочет иметь семью. Ставрогин же, заигравшись в мире морально-психологического экспериментаторства, давно уже «выпал» из обыденной реальности и находится на «метафизическом» этаже действительности, где царствует астральный холод и нет места проявлениям романтических эмоций. Самая важная для него личностная задача, как мы уже отмечали, — это «*мысль разрешить*». — Получить ответ на вопрос о «существовании Божием». И в этой ситуации Лизавета Николаевна едва ли может быть ему помощницей...

«Сон и бред! — вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате. — Лиза, бедная, что ты сделала над собою?

— Обожглась на свечке и больше ничего. Уж не плачете ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее...

— Зачем, зачем ты пришла ко мне?

— Но вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя пред светским мнением такими вопросами?

— Зачем ты себя погубила, так уродливо и так глупо, и что теперь делать?

— И это Ставрогин, «кровопийца Ставрогин», как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена! Слушайте, я ведь вам уже сказала: я разочла мою жизнь на один только час и спокойна. Разочтите и вы так свою... впрочем вам не для чего; у вас так ещё много будет разных «часов» и «мгновений».

— Столько же, сколько у тебя; даю тебе великое слово моё, ни часу более, как у тебя! (Отметим, что, фактически, Николай Всеволодович *сдержал* своё слово. — *Н.М.*).

Он всё ходил и не видал её быстрого, пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой. Но луч света погас в ту же минуту».

Почему для Лизы «луч света» и «надежды» связан с тем, насколько далеко Ставрогин готов «хронометрировать» свою дальнейшую жизнь? Может быть, только потому, что в таком случае он добровольно, самостоятельно, *не под нажимом* связывает свою судьбу с её судьбой?

«Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза, если б я только мог открыть тебе...

— Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня боже от ваших открытий! — прервала она почти с испугом» (10/401).

Характерна оговорка Ставрогина о «невозможной искренности». В чём её смысл? — Дело не только в том, что, если Ставрогин расскажет Лизавете Николаевне всю правду о разрешённом им «по совести» убийстве его жены, Марьи Тимофеевны Лебядкиной, то на этом их отношения завершатся, едва начавшись. К этому моменту Ставрогин ещё не знает наверняка о состоявшемся убийстве, но осознаёт его неотвратимость.

Искренность такого порядка «невозможна» для Ставрогина потому, что она раскрывает его «метафизические» глубины, обнажает его сугубо личностную диалектику «Креста» и «бесей», которую он не готов объективировать для стороннего наблюдателя. Да, по большому счёту, это и невозможно. Эту диалектику, измучившую Николая Ставрогина, «пронзили» только два человека: Марья Тимофеевна Лебядкина и архиерей Тихон (персонаж из той главы, которая так и не вошла в окончательную редакцию романа). Истина открылась только юродивой и благочестивому старцу. Другим персонажам романа она недоступна.

Кстати, возникает вопрос, а если бы встреча Ставрогина и Лизы состоялась на несколько часов (дней) раньше, то предотвратил бы Николай Всеволодович убийство своей «Христовой невесты» или нет?

«Я вам должна признаться, у меня тогда, ещё с самой Швейцарии, укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и... и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда: я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь... Ай, вы опять бледнеете?» (10/401).

Обратим внимание на то обстоятельство, что читатель не имеет возможности проинтерпретировать слова Лизы в нужном ключе, поскольку весь событийный ряд 9 главы «У Тихона» ему не доступен. Поэтому ему остаётся только гадать, что бы это могло быть за «ужасное» и «кровавое» событие, и при этом ставящее Ставрогина в «ужасно смешное» положение... Ну, а если принимать во внимание исповедь Ставрогина, то речь идёт о том самом преступлении, когда «некрасивость (преступления) убьёт».

«Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, — вскричал он в отчаянии. — Ты имеешь полное право! Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя. Да, «я оставил мгновение за собой»; я имел надежду... давно уже... последнюю... Я не могу устоять против света, озарившего моё сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг поверил... Я, может быть, верую ещё и теперь» (10/401—402).

В известном смысле мы наблюдаем «нового» Николая Ставрогина. Который не отмалчивается с победно-гордым видом, демонстрируя окружающим свое интеллектуальное превосходство. А довольно сбивчиво и эмоционально говорит о «вере», «надежде» и (чтобы замкнуть классическую триаду) почти о «любви», вслух не произнося эти нехарактерные для себя слова. По меньшей мере, странно слышать от Николая Ставрогина слова о «новой надежде». О какой надежде говорит Ставрогин? «Надежде», собственно, на что? И какой свет «озарил его сердце»? Какой сакральный

смысл вкладывает Ставрогин в приход Лизаветы Николаевны «самой» и «первой»?

Во что «поверил» Николай Ставрогин? — В самопожертвование Лизы. Для него поступок Лизаветы Николаевны приобрёл *христианское* измерение. И персонально для него имеет силу *примера*. Реализованного душевного христианского *жертвенного* порыва.

«За такую благородную откровенность отплачу вам тем же: не хочу я быть вашею сердобольною сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же; но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведёте меня в какое-нибудь место, где живёт огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдёт наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке; та с вами поедет куда хотите» (10/402).

Здесь Лиза верна себе; она не могла не уколоть Николая Всеволодовича:

«А вы её и тут не могли не вспомнить?

— Бедная собачка! Кланяйтесь ей. Знает она, что вы ещё в Швейцарии её себе под старость определили? Какая заботливость! Какая предусмотрительность!» (10/402).

Обратим внимание на то, что в тексте (от имени Лизы) прозвучало слово «сиделка». В заключительном письме Ставрогина, адресованном Дарье Павловне, оно будет упомянуто ещё раз. Образ Николая Всеволодовича в женском восприятии накрепко связан с темой «сиделки», в услугах которой он будто бы нуждается.

Но здесь мы встречаем ещё один психологический парадокс, который, на мой взгляд, так и не получил своего разрешения. Если Лизой, как показалось Ставрогину, движут христианские мотивы, то почему она заранее отказывается быть

«сердобольной сестрой» Николая Всеволодовича? Тем более, по её же собственным словам, Ставрогин «всякого безрукого и безногого» стоит, а сама она готова стать *сиделкой* любого ближнего, но не Николая Ставрогина персонально?

Затем следует диалог Ставрогина и Петра Степановича. Пётр Верховенский использует выгодную для него ситуацию для проведения психологической атаки (завершающей, как ему кажется) на Ставрогина. Обратим внимание на то обстоятельство, что данная сцена — последняя личная встреча Петра Степановича и Николая Всеволодовича в романном пространстве.

«...хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но...

— А уж кричат во все трубы?

— То есть ещё вовсе нет, и, признаюсь, я ровно ничего не слыхал, но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми... Долго ли глупейший слух по ветру пустить?... Но ведь, в сущности, вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже, — ведь вы не хотели же? Не хотели? Улик никаких, одно совпадение... Разве вот Федька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кириллова (и зачем вы их тогда сказали?), но ведь это вовсе ничего не доказывает, а Федьку мы сократим. Я сегодня же его сокращаю...(10/404).

«...Но я рад, по крайней мере, что вы так спокойны... потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь всё-таки. И притом согласитесь, что всё это отлично обёртывает ваши дела: вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая, вдобавок, уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств — а?

— Вы угрожаете мне, глупая голова?

— Ну полноте, полноте, уж сейчас и глупая голова, и что за тон? Чем бы радоваться, а вы... Я нарочно летел, чтобы скорей предуведомить... Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то! Мне надо вашу добрую волю, а не из страху. Вы свет и солнце... Это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня! (10/404).

Признания Петра Степановича продолжают тему «затягивания» Николая Всеволодовича в «революционные тенета». Верховенский рассчитывает на «добрую волю» Ставрогина и его собственное решение присоединиться к политическому проекту под кодовым именем «Иван-царевич».

Дополнительным аргументом, считает Пётр Степанович, может стать «освобождение» Ставрогина от формальных обязательств брачного союза с Марьей Тимофеевной, в связи со смертью последней. Отметим, что из обещанных Петром Степановичем для Ставрогина «*бонусов*» два уже исполнены: окончательно разрешилась проблема брачного союза с Хромоножкой (другой вопрос, какой ценой!), и он «привёз» Лизавету Николаевну к Ставрогину. Остаётся неисполненным только обещание «отдать» (то есть пощадить) Шатова Ставрогину. На момент описываемых событий Иван Шатов ещё жив. Будем справедливы к Петру Степановичу: все договорённости с Николаем Ставрогиным он соблюдает неукоснительно. (Как известно, «беси» строго следуют пунктам договора о «переуступке» души в обмен на помощь потусторонних сил.)

«Но послушайте, ведь теперь совершенно изменились её дела: к чему теперь ей Маврикий? Ведь вы свободный вдовец и можете завтра на ней жениться? Она ещё не знает, — предоставьте мне, и я вам тотчас же всё обделаю. Где она, надо и её обрадовать.

— Обрадовать?

— Ещё бы, идём.

— А вы думаете, она про эти трупы не догадается? — как-то особенно прищурился Ставрогин.

— Конечно, не догадается, — решительным дурачком подхватил Пётр Степанович, — потому что ведь юридически... Эх вы! Да хоть бы и догадалась! У женщин всё это так отлично стушёвывается, вы ещё не знаете женщин! Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти, потому что ведь всё-таки она себя оскандалила, кроме того, я ей про «ладью» наговорил: я именно увидел, что «ладьёй»-то на неё и подействуешь, стало быть, вот какого она калибра девица. Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнёт, что люли! — тем более что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли? Она только прибережет эти трупики, чтобы вас потом уколоть, этак на второй годик супружества». (10/405).

В своём комментарии Петр Степанович «проговаривается». Он всячески даёт понять Ставрогину, что он полностью на «его стороне». И что именно он, Пётр Степанович, уже сослужил Николаю Всеволодовичу — «Иван-Царевичу» — «верную службу»! И впредь будет ему полезен. По ходу дела он характеризует Лизавету Николаевну как романтическую натуру, на которую большое впечатление (будто бы) произвело «фольклорное начало» в политической программе Верховенского-младшего.

Поэтому, когда Ставрогин неожиданно сообщает Петру Степановичу об окончательном расхождении с Лизаветой Николаевной, младший Верховенский заметно «напрягается».

«Да неужто вправду уезжает? Отчего бы это могло произойти? — глуповато посмотрел Пётр Степанович.

— Догадалась как-нибудь, что я вовсе её не люблю... о чём, конечно, всегда знала.

— Да разве вы её не любите? — подхватил Пётр Степанович с видом беспредельного удивления. — А коли так, зачем же вы её вчера, как вошла, у себя оставили и как благородный человек не уведомили прямо, что не любите? Это ужас-

но подло с вашей стороны; да и в каком же подлом виде вы меня пред нею поставили?

Ставрогин вдруг рассмеялся.

— Я на обезьяну мою смеюсь, — пояснил он тотчас же.

— А! Догадались, что я распаясничался, — ужасно весело рассмеялся и Пётр Степанович, — я чтобы вас рассмешить! Представьте, я ведь тотчас же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас «несчастье». Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад, — вскричал он, почти захлёбываясь от восторга, — что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили всё драгоценное время... Ну простите, простите; мне что: я ведь ещё вчера знал наверно, что у вас глупостью кончится. Я вам привёз её единственно, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мною вам скучно не будет; триста раз пригожусь в этом роде; я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то...

— Так это вы для одной моей забавы её привезли?

— А то зачем же?

— А не затем, чтобы заставить меня жену убить?

(То есть, полагает Ставрогин, Пётр Степанович рассчитывал на то, что после проведённой с Лизой ночи Ставрогину ничего иного и не останется, как «по совести» санкционировать устранение Хромоножки и её брата. — *Н.М.*)

— Во-от, да разве вы убили? Что за трагический человек!

— Всё равно, вы убили.

— Да разве я убил? Говорю же вам, я тут ни при капле. Однако вы начинаете меня беспокоить...

— Продолжайте, вы сказали: «Если теперь она вам не нужна, то...»

— То предоставьте мне, разумеется! Я отлично её выдам за Маврикия Николаевича...» (10/405—406).

Наступает кульминация в отношениях Ставрогина и Лизы. Лизавета Николаевна узнаёт о случившемся преступлении — убийстве Марьи Тимофеевны и её брата, капитана Лебядкина: «Зверский, странный случай, Лизавета Николаевна, глупейший случай грабежа, — тотчас затрещал Пётр Степанович, — одного грабежа, пользуясь пожаром; дело разбойника Федьки Каторжного и дурака Лебядкина, который всем показывал свои деньги... я с тем и летел... как камнем по лбу. Ставрогин едва устоял, когда я сообщил. Мы здесь советовались: сообщить вам сейчас или нет?

— Николай Всеволодович, правду он говорит? — едва вымолвила Лиза.

— Нет, неправду.

— Как неправду! — вздрогнул Пётр Степанович. — Это ещё что!

— Господи, я с ума сойду! — вскричала Лиза.

— Да поймите же по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек! — кричал изо всей силы Пётр Степанович. — Ведь всё-таки жена его убита. Видите, как он бледен... Ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил, как же его подозревать?

— Николай Всеволодович, скажите как пред богом, виноваты вы или нет, а я, клянусь, вашему слову поверю, как божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду! Пойду как собачка... (10/407).

...

— Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза, — вымолвил Ставрогин и пошёл в залу» (там же).

Напрашивается сравнение двух сцен, где Николая Всеволодовича «вопрошают» самые близкие ему люди по поводу жизненно важных для него и для них вопросов.

Первая сцена, где Варвара Петровна Ставрогина в присутствии многочисленных свидетелей спрашивает у сына, жена ему Хромоножка, или нет.

И вторая сцена, где Лиза просит Ставрогина ответить на вопрос о его виновности или невиновности в смерти Марьи Тимофеевны и её брата.

В первом случае Николай Всеволодович, не моргнув глазом, фактически отрицает брачные отношения с Марьей-Юродивой. При этом, как известно, он предполагает в самом ближайшем времени сделать публичное заявление о своём браке. И дальнейшее сохранение тайны полагает «низостью».

Во втором случае он намеренно усиливает «модальность» своего участия в убийстве брата и сестры Лебядкиных.

Почему Ставрогин фактически оттолкнул Лизу? Что помешало ему даже не то чтобы скрыть от неё правду, а просто умолчать о некоторых живописных деталях в стиле Петра Степановича? Пожалуй, здесь также присутствует стремление психологически «уколоть» Лизу в ответ на её «колкости». Зачем Ставрогин демонстрирует свою нарочитую «брутальность» Лизавете Николаевне?

Припомним ещё одно обстоятельство. Короткая беседа Николая Ставрогина и Дарьи Павловны (сестры Шатова). Ей он рассказывает о ночной встрече на мосту с Федькой Каторжным. И о том предложении («заказном» устранении мешающей Ставрогину Хромоножки), которое сделал ему Федька уже «*от себя*», а не по поручению Петра Степановича. В таком случае принятие решения оказывается полностью на совести Князя-Ставрогина. Николая Всеволодовича интересует мнение Даши, он пытается «экспериментальным» путём определить, до какой «роковой черты» Даша готова была бы последовать за ним. И приходит к выводу, что и «после лавочки» (то есть после *его осознанного согласия* на убийство Лебядкиных) она не отказалась бы от роли *сиделки* при Ставрогине.

В этом и состоит смысл темы *сиделки*! — Добровольное согласие на *переступание черты* Князем-экспериментатором.

Фактически с Лизой он повторяет свой эксперимент по поводу «*лавочки*». Намеренно жестокая откровенность Николая Всеволодовича своим следствием имела трагическую и ничем не детерминированную (кроме как её ожиданием собственной скорой смерти) гибель Лизаветы Николаевны. Если Николай Всеволодович так стремится к «Кресту», то можно ли его поступок рассматривать как «подвижнический» и «христианский»?

Самостоятельные (*самовластные*) поступки Ставрогина выводят из себя рассчитавшего всё до последних мелочей Петра Степановича. С таким трудом выстроенная им конструкция по «улавливанию» Ставрогина зашаталась и рассыпалась на глазах. Встреча Ставрогина с Лизой, так долго и так тщательно подготавливаемая Верховенским, привела к прямо противоположному результату. Лиза, которую Пётр Степанович цинично использовал как средство, закрепляющее зависимость Ставрогина, «ускользнула», испытав психологическое потрясение, непосредственно соприкоснувшись с «метафизической» бездной, в которой пребывает Николай Всеволодович ...

Убийство Федькой Каторжным капитана Лебядкина и Марьи Тимофеевны своим прямым следствием имело не установление окончательного контроля над волей Ставрогина, а, напротив, раскрепостило его психологически и освободило его от всех прежних обязательств. Он стал свободен не от уз брака с Марьей Лебядкиной (который и так был «духовным»), чего добивался Верховенский, он освободился от Петра Верховенского и его политико-криминальных интриг.

«Так вы так-то? Так вы так-то? Так вы ничего не боитесь? — накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча несвязно, почти слов не находя, с пеною у рта.

Ставрогин стоял среди залы и не отвечал ни слова. ...

— Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесёте, а сами в монастырь уйдёте или к чёрту... Но ведь я вас всё равно укокошу, хоть бы вы и не боялись меня! ... (10/407).

(Обращаю внимание читателя на *неслучайность* догадки Петруши Верховенского по поводу монастыря, куда может удалиться Николай Всеволодович. — *Н.М.*)

Он выхватил опять револьвер; Ставрогин серьёзно посмотрел на него.

— А что ж, убейте, — проговорил он тихо, почти примирительно.

— Фу, чёрт, какую ложь натащит на себя человек! — так и затрясся Пётр Степанович. — Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была! ... Какая вы «ладья», старая вы, дырявая дровяная барка на слом! ... Ну хоть из злобы, хоть из злобы теперь вам очнуться! Э-эх! Ведь уж всё бы вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите? (10/408).

Ставрогин странно усмехнулся.

— Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь: да... Если бы только хоть каплю умнее...

— Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом! Понимаете вы меня?

Ставрогин понимал, один только он, может быть. Был же изумлён Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм. (10/408).

— Ступайте от меня теперь к чёрту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра.

— Да? Да?

— Почём я знаю!... К чёрту, к чёрту!

И ушёл вон из залы.

— А пожалуй ещё к лучшему, — пробормотал про себя Пётр Степанович, пряча револьвер» (10/408).

Ставрогин в этой сцене прошёл «точку невозврата». Эта была его последняя встреча с Лизаветой Николаевной. Также последней оказалась и его встреча с Петром Степановичем.

Но когда он говорит Верховенскому: «приходите завтра», это означает, что какое-то окончательное решение для себя Николай Всеволодович уже принял. И, судя по всему, никакого совместного «завтра» с Петром Степановичем это решение уже не предполагало.

(Отметим, что Пётр Степанович был страшно поражён внезапным отъездом Николая Ставрогина: ему «некогда было шевелить римлян; он сам был выбит из рельсов. Бегство Ставрогина ошеломило и придавило его. Он солгал, что Ставрогин виделся с вице-губернатором; то-то и есть, что тот уехал, не видавшись ни с кем, даже с матерью, — и уж действительно было странно, что его даже не беспокоили». (10/421—422).

Но и для Лизаветы Николаевны «роковая» встреча с Николаем Всеволодовичем оказалась разрушительной по своим последствиям. Проблема не только в том, что её женская судьба и надежды на семейное счастье окончательно потерпели фиаско, а репутация «светской барышни», «самой завидной невесты» в губернии и т.п. оказалась практически разрушенной. Ситуация сложилась таким образом, что дальнейшее существование для неё утратило всякий смысл. Николай Ставрогин, не удержав «бедную Лизу» у себя, фактически обрёк её на смерть.

«О да, пойдёмте скорей отсюда, не оставляйте меня! — и, сама схватив его за руку, она повлекла его за собой. — Маврикий Николаевич, — испуганно понизила она вдруг голос, — я там всё храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать... — шептала она, крепко сжимая его руку.

— О, хоть кто-нибудь! — в отчаянии оглядывался он кругом, — хоть бы какой проезжий! Вы промочите ноги, вы ... потеряете рассудок!

— Ничего, ничего, — ободряла она его, — вот так, при вас я меньше боюсь, держите меня за руку, ведите меня... Куда мы теперь, домой? Нет, я хочу сначала видеть убитых. Они, говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал; ведь это неправда, неправда? Я хочу видеть сама зарезанных... за меня... из-за них он в эту ночь разлюбил меня... Я увижу и всё узнаю. Скорей, скорей, я знаю этот дом... там пожар... Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня, бесчестную! Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощёчину и убейте меня здесь в поле как собаку!

— Никто вам теперь не судья, — твёрдо произнёс Маврикий Николаевич, — прости вам бог, а я ваш судья меньше всех!» (10/410—411).

И ещё одна деталь. Помимо Ивана Шатова, ходившего на пожарище в Заречье, чтобы взглянуть на невинно убиенных, такое же желание «видеть зарезанных» испытывает и Лизавета Николаевна. Мотивом является стремление «увидеть и всё узнать». А узнать она хочет, виновен ли по совести Николай Всеволодович Ставрогин в смерти своей морганатической жены и её брата, хоть в малейшей степени, или нет.

Характерна и ремарка, согласно которой Лизавета Николаевна «знает этот дом». Совершенно очевидно, что она уже бывала там (видимо, неоднократно), пытаясь для себя ответить на мучающие её вопросы — кем всё-таки Хромоножка приходится Николаю Всеволодовичу Ставрогину... И, самое главное, понять, кто такая Марья Тимофеевна, и какое внутреннее содержание скрывается за её внешним юродством?

Не только Лизавете Николаевне, но и читателю любопытно было бы узнать, что именно привлекло Николая Всеволодовича в хромой и юродивой Марье Тимофеевне Лебядкиной? Поймём это — ещё на шаг приблизимся к постижению «сфинкса» Ставрогина и его движущих мотивов...

§ 13. Две Марии: женские «проекции» Николая Ставрогина

Николая Ставрогина и Ивана Шатова, помимо идеологических мотивов и проблемы веры-неверия, «по жизни» связывает и нечто большее, чем философская «метафизика». Их, кроме всего прочего, объединяет «житейский» фактор, так сказать, «общности жён». При всей эпатажности подобной формулировки, она ухватывает главное — взаимозависимость человеческих отношений в четырёхугольнике: Николай Ставрогин — Иван Шатов — Марья Тимофеевна Лебядкина — Марья Игнатьевна Шатова. При этом следует учесть, что Марья Лебядкина и Марья Шатова никогда не встречались.

Отметим также, что и Лебядкина, и Шатова носят имя «Мария»: намеренно ли Достоевский именно так поименовал своих «страдающих» героинь? Есть ли здесь какая-либо символика? И какой иной, кроме христианского, евангельского, смысл она может нести?

Итак, Марья Тимофеевна Лебядкина — законная жена Николая Всеволодовича Ставрогина. Этот брак носит исключительно «духовный» характер, собственно, брачные, семейные отношения между супругами отсутствуют.

Иван Шатов, едва ли не единственный персонаж романа, кто находится с Хромоножкой в доверительных, по человечески тёплых, отношениях. И именно он по мере сил защищает её от кулаков драчливого братца. Что привлекает Шатова в общении с Марьей Лебядкиной? Особый дар духовного провидения, которым наделены некоторые юродивые? Необычность судьбы и налёт таинственности, который сопровождает колоритную пару брата и сестры Лебядкиных?

Учтём, что вплоть до приезда Ставрогина в губернский город Шатов не знает о том, что Марья Тимофеевна является законной женой Николая Ставрогина. Поэтому и «выпытывать» у неё какие-то подробности о жизни Ставрогина, даже если бы он хотел получить такие сведения у неё, он не может. Хотя какие-то смутные догадки его, несомненно, посещают.

В качестве говорящей детали отметим, что Иван Шатов — последний из людей (кроме убийцы), кто видел и общался с Марьей Лебядкиной накануне её смерти. («Между прочим, сообщил, что накануне вечером, часов в девять (значит, часа за три до пожара), был у Марьи Тимофеевны. Он ходил поутру взглянуть на трупы...» (10/431). Зачем Шатов ходил «смотреть на трупы»? — Видимо, он намеревался удостовериться, насколько мучительной была смерть несчастных. — С тем, чтобы потом предъявить инициаторам этого убийства свой счёт. («Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом, на лавке, одетого, и что зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, так что он и не услышал; ... что сестра его Марья Тимофеевна вся «истыкана» ножом, а лежала на полу в дверях, так что, верно, билась и боролась с убийцей уже наяву. У служанки, тоже, верно, проснувшейся, пробита была совсем голова» (10—397).

Кстати, «за кадром» остался вопрос, а как Иван Шатов расценивал возможное участие «по совести» Николая Ставрогина в планировании и организации убийства своей морганатической жены? Но ещё больший вопрос, зачем вообще Шатов посещал Марью Тимофеевну накануне убийства? Уже *после* того, как Николай Ставрогин публично заявил о своём браке с Хромоножкой. Что Шатов хотел узнать у юродивой? О чём он намеревался её спросить?

Другая Мария, Марья Игнатьевна Шатова — законная жена Ивана Шатова, прожившая с ним в браке в Женеве очень короткое время (всего несколько недель) и три года

уже как прекратившая с ним брачные отношения. При этом в «швейцарский» период она находилась в близких отношениях с Николаем Ставрогиным и, вернувшись к Шатову, родила сына от Ставрогина.

Вернувшись к Шатову и впервые приехав в губернский город N, Марья Игнатьевна живо интересуется всем, что связано с Марьей Тимофеевной Лебядкиной. Почему? Очевидно, что её интересуют любые детали, относящиеся к жизни и судьбе Николая Ставрогина. Хотя даже имя Николая Всеволодовича вызывает у неё жгучую ненависть. О чём, впрочем, она не преминула заметить Шатову, когда они обсуждали имя для новорождённого.

Шатов: «Я только хотел сказать, что мы тут теперь двое во дворе, а внизу прежде жили Лебядкины ...

— Это та, которую сегодня ночью зарезали? — вскинулась она вдруг. — Слышала. Только что приехала, слышала» (10/437).

Можно ли объяснить простым случаем такое совпадение?

Пробыв в разлуке с мужем три года, Марья Игнатьевна живо интересуется у Шатова, чем он занимается в губернском городе.

«А ещё что делаете? Что проповедуете? Ведь вы не можете не проповедовать; таков характер!

— Бога проповедую, Marie.

— В которого сами не верите. Этой идеи я никогда не могла понять.

— Оставим Marie, это потом» (10/442—443).

Тональность, а главное, смысл комментария Марьи Игнатьевны поразительно напоминает контекст беседы Николая Ставрогина и Ивана Шатова во время их «метафизической встречи». Впрочем, ничего удивительного в этом нет, учитывая близкий характер отношений Ставрогина и Марьи Шатовой. Складывается впечатление, что критическое отношение к попыткам Шатова «силовым» образом принудить себя

к вере, которое высказывает Марья Игнатьевна, «отзеркаливает» мнение самого Николая Всеволодовича. И также очевидно сильное личностное влияние, которое оказал на неё Николай Всеволодович. Как, впрочем, и на всех остальных персонажей, с которыми ему довелось «пересечься» по романной жизни.

Поэтому понятен и ревностный интерес Марьи Игнатьевны к фигуре Хромоножки.

«— Что такое была здесь эта Марья Тимофеевна? ... Правда ли, что смерть эту можно отнести к злодейству... этих людей?

— Непременно так, — проскрежетал Шатов.

Marie вдруг подняла голову и болезненно прокричала:

— Не смейте мне больше говорить об этом, никогда не смейте, никогда не смейте!» (10/443).

Очевидно, что «этими людьми» Марья Игнатьевна называет «наших», связанных с Петром Верховенским, знакомых ей членов «организации». И так же очевидно, что она, как и Иван Шатов, разочаровалась в прежних идеалах и людях, которые их разделяли. Но почему она в категорической форме требует от Шатова «никогда больше не говорить об этом»? Казалось бы, наоборот, возмущённая преступной деятельностью «этих людей», она должна была бы обсудить с Шатовым план мести, чтобы примерно наказать «мерзавцев», повинных в крови Хромоножки.

Довольно странно и неубедительно выглядят причины, ссылаясь на которые, Марья Игнатьевна объясняет своё появление в городе.

«Вспомните, Шатов, что мы прожили с вами брачно в Женеве две недели и несколько дней, вот уже три года как разошлись, без особенной, впрочем, ссоры. Но не подумайте, чтоб я воротилась что-нибудь возобновлять из прежних глупостей. Я воротилась искать работы, и если прямо в этот город, то потому, что мне всё равно. Я не приехала в чём-нибудь раскаиваться; сделайте одолжение, не подумайте ещё этой глупости» (10/434).

Отметим некоторые обстоятельства. Марья Игнатьевна могла, возвращаясь в Россию, поехать в любую сторону, но вернулась «прямо в этот город».

Приехав в губернский город N, она могла поселиться в любом месте, но расположилась у Ивана Шатова, оставленного ею мужа. Заранее она не могла предвидеть, как он встретит свою бывшую жену, с которой он прожил вместе всего несколько недель и с которой расстался не по своей воле более трёх лет назад.

Очевидным становится то, что у Марьи Игнатьевны есть некоторая «сверхценная» идея. И, тем или иным способом, эта идея непосредственно относится к Николаю Всеволодовичу Ставрогину.

Собственно, об этом говорит и следующий пассаж, в котором, правда, имя Николая Ставрогина напрямую не названо:

«А коли так, коли вы настолько развиты, что можете и это понять, то позволю себе прибавить, что если теперь обратилась прямо к вам и пришла в вашу квартиру, то отчасти и потому, что всегда считала вас далеко не подлецом, а, может быть, гораздо лучше других ... мерзавцев! ...

Глаза её засверкали. Должно быть, она много перенесла кое-чего от каких-нибудь «мерзавцев» (там же).

Понятна глубокая личная обида Марьи Тимофеевны на Николая Ставрогина. Но, будучи «эмансипированной» дамой, то есть разделяющей общие «прогрессивные идеи» о необходимости «разрушения семейств», «уничтожения собственности», борьбы со «всяческими предрассудками» и т.д., удивительно, что она ожидала от Николая Всеволодовича поступков в совершенно другом роде ...

Поэтому и общий результат их личностного взаимодействия оказался вполне закономерным. Отметим, что сюжетная линия взаимоотношений Николая Всеволодовича и Марьи Игнатьевны намечена в романе лишь пунктирно. Кроме

того, мы не знаем ситуацию и с другой стороны, то есть нам неизвестна точка зрения Николая Ставрогина. Но число эпизодов «безобразного» отношения Ставрогина к дамам, с которыми он находится в связи, приобретает статистическое значение.

Реплика Кириллова, обращённая к Шатову: «Видно, что вы любите жену после Швейцарии. Это хорошо, если после Швейцарии» (10/436). Что хотел сказать Кириллов этой фразой? — То, что Иван Шатов великодушен до такой степени, что готов принять жену и усыновить плод «чужих грехов»? Или — то, что любовь Шатова, претерпевшего страдания, укрепилась и усилилась, приобрела новое, «христианское» качество? ...

Насколько существенно для лиц, вовлечённых в ситуацию, то обстоятельство, что отцом родившегося ребёнка является именно Николай Ставрогин, а не какой-либо иной персонаж? Имеет ли сам факт рождения Марьей Игнатьевной ребёнка от Ставрогина какое-либо сверхценное или «сакральное» значение? О том, что родившийся ребёнок — сын Николая Ставрогина, осведомлена акушерка Арина Прохоровна Виргинская. Следовательно, об этом известно всем лицам, принадлежащим к «организации». Но это обстоятельство, скорее, понизило шансы новорождённого на выживание. В любом случае, оно не помогло его приёмному отцу.

«— Веселитесь, Арина Прохоровна... Это великая радость... — с идиотски блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Marie о ребёнке. (10/452).

— Какая такая у вас там великая радость? — веселилась Арина Прохоровна, суетясь, прибираясь и работая как каторжная.

— Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете! ...

— Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!» (там же).

«— Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны, — искренно и весело хохотала Арина Прохоровна. — Этак всякая муха тайна. Но вот что: лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так всё, чтоб они не были лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра тащить... Впрочем, это так и надо.

— Никогда он не пойдёт от меня в приют! — уставившись в пол, твёрдо произнёс Шатов.

— Усыновляете?

— Он и есть мой сын.

— Конечно, он Шатов, по закону Шатов, и нечего вам выставляться благодетелем-то рода человеческого». (10/452).

Небольшой комментарий. В полемике с Шатовым Арина Прохоровна Виргинская роняет фразу: «...всякая муха тайна». В том смысле, что никакой тайны в появлении нового человека на свет нет. Есть естественные причины — просто происходит «дальнейшее развитие организма».

Но в подготовительных материалах к роману «Бесы» содержится конспект беседы Князя с Шатовым, в которой собеседники обсуждают философскую проблему границ человеческого познания. И в качестве познавательной проблемы выступает «тайна клопа», то есть вопрос о том, может ли человеческое познание передать сущность соображений и ощущений клопа (в буквальном смысле). В дальнейшем этот фрагмент не вошёл в романное пространство, и в тексте осталось

только упоминание о мухе как «тайне» (анализу философской дискуссии Князя и Шатова по этому вопросу посвящён следующий параграф моего исследования). Отметим, что проблема границ познания, живо интересовавшая Ф.М. Достоевского, получила дальнейшее развитие у современных исследователей. См., например,: Мехед Г.Н. Художественная литература как метод философии // Философская мысль. 2016. № 12. С. 23—35. DOI: 10.7256/2409—8728.2016.12.2148. URL: http: //e-notabene.ru/fr/article_21483.html).

«Губы её дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:

— Николай Ставрогин подлец!» (10/453).

«И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова.

С этой минуты она уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтоб он сел у её изголовья. Говорить она могла мало, но всё смотрела на него и улыбалась ему как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Всё как будто переродилось...» (10/453).

Ф.М. Достоевский намеренно сближает двух Марий. Обе они являются «жёнами» Ставрогина: Лебядкина — законной, Шатова — фактической, которая, к тому же, родила ему сына, наследника. Но, припомним, «своего ребёночка» подарила Ставрогину и его морганатическая жена. «Ребёночка» — пророчество, «ребёночка» — предостережение. Которого, впрочем, он не узнал и к которому никак не прислушался. В итоге — символическим образом его «снесли в пруд».

В определённом смысле Марью Игнатьевну Шатову также можно назвать «юродивой». Выслушав её фантастические

планы об устройстве своей жизни в России, Шатов скептически оценивает их реальность. В чём-то эти планы сродни планам Марьи Тимофеевны Лебядкиной вести светскую жизнь, став официально женой «Князя», и «принимать иностранных путешественников».

В психологическом плане эти две героини также сближены Ф.М. Достоевским. Марья Игнатьевна «...улыбалась ему (Шатову. — *Н.М.*) как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку». Если не знать, что эта ремарка относится к Марье Игнатьевне, то эти слова с лёгкостью можно применить и к Марье Тимофеевне.

У обеих Марий схожая печальная судьба. И гибель каждой из них, пусть и косвенным образом, лежит на совести Николая Всеволодовича Ставрогина.

Между тем по поводу обеих Марий общались и их мужья — Николай Ставрогин и Иван Шатов.

Когда Николай Всеволодович приходит к Шатову с тем, чтобы предупредить его о грозящей опасности, он особенно просит его и дальше «присматривать» за Хромоножкой. К этому моменту дальнейшая судьба Марьи Тимофеевны ещё не определилась. Ставрогин отметил, что, как ему известно, Шатов проявлял милосердное внимание и добросердечие к Марье Тимофеевне («Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это? — Да... слушала... — смутился несколько Шатов» — 10/194). Князь не задавался вопросом, какую цель при этом преследовал Шатов, что он, собственно, хотел узнать у Хромоножки?

Особый характер взаимоотношений Ставрогина и Шатова прослеживается и в другой деликатной сфере. Так, в ответ на вопрос, за что он ударил Ставрогина, Шатов категорически отверг предположение, что это «за связь» Николая Всеволодовича

с Марьей Игнатьевной, то есть с его женой. («Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашею женой? — Вы сами знаете, что нет, — опять потупился Шатов. — 10/190.) Складывается впечатление, что Шатова данное обстоятельство, говоря современным языком, совсем «не напрягает». Особенно, если принять во внимание всю совокупность мотивов, по которым он ударил Ставрогина. Похоже, Шатов строго различает Ставрогина — идеолога, религиозно-философские построения которого «греют» ему душу, и Ставрогина — «демона-искусителя», который какое-то время находился в связи с его женой. Тем более что эти события разнесены по времени и месту.

§ 14. Ещё раз о вере, разуме и компетенции науки, или философский этюд Ф.М. Достоевского о клопе

Подготовительные материалы к роману «Бесы» демонстрируют интересный пример использования Ф.М. Достоевским метода рассуждения *по аналогии* в решении проблемы противопоставления науки и религии, знания и веры. Примечательно, что в сравнительно небольшом фрагменте черновых материалов, содержащих пространный диалог Шатова и Князя-Ставрогина (11/183), отчетливо проявляется логика философских размышлений мыслителя, наглядно раскрываются методы его философских исканий. Обратим внимание и на то обстоятельство, что Князь и в данном фрагменте выступает как *Идеолог* и *Учитель*. А его учеником и последователем выступает Шатов.

Отметим также тотальную погруженность данного философского фрагмента в евангельский контекст. Тема диалога оказывается прямым продолжением «евангельских» философских фрагментов записных книжек писателя 1860—1865 гг.

Уже в начале диалога Шатовым формулируется центральный вопрос: «Если изменится человек, как же он будет жить умом?» (там же). Речь идет о том гипотетическом изменении человека, когда он *переродится* по религиозному христианскому проекту и *духовно*, и *физически*.

Перед нами, как в калейдоскопе, мелькают евангельские образы и пророческие предсказания Апокалипсиса: тысячелетнее царство, белые одежды, люди, которые, как ангелы, не женятся и не посягают... и т.п.

Вопрос Шатова возвращает нас к тем попыткам предвидеть будущее социально гармоничное общество, образ и отдельные черты совершенного человека (в рамках религиозно-философской, философско-исторической доктрины мыслителя, но — это отдельная тема), которые Достоевский предпринял в записных книжках и тетрадях середины 60-х годов.

Почему у Шатова вообще возникает подобный вопрос? — Потому, что, по его убеждению, «имение ума соответствует только теперешнему организму» (там же). То есть отвечает исключительно *земной* природе человека.

Мысль эта разворачивается в русле противопоставления человека современного типа, ныне живущего (конкретной социально-нравственной характеристикой которого является начало «особняка» и гипертрофия рассудка) и человека будущего, переродившегося и физически, и ментально.

Изменятся ли в будущем его ментальные, психические функции? Ф.М. Достоевский убеждён: они также должны «переродиться» в изменившихся социальных условиях, когда состояние человечества будет определяться характеристиками и параметрами «тысячелетнего царства».

В данном фрагменте мы вновь сталкиваемся с *ассоциативным* характером философского рассуждения у Достоевского, выведением философских следствий из евангельских посылок религиозно-пророческого характера. Мыслитель прибегает к «историческому» объяснению, анализируя диалектику противоборства веры и знания в их исторической ретроспекции и отдалённой перспективе.

Князь, в соответствии с «исторической» постановкой вопроса, замечает: «Почем вы знаете, нужен ли будет теперешний ум?» (11/183).

Вопрос Князя о проблематичной необходимости в будущем «теперешней науки» есть вопрос о социальной *воспол-*

ненности науки и востребованности научного знания (впрочем, как и тех ментальных, психологических механизмов и функций, которыми они обеспечиваются) и обусловлен обращением к исследованию современного состояния науки применительно к современному состоянию общества.

Затем это исследование погружается в цитатный материал Евангелия, из которого подбирается цепочка необходимых смысловых и образных ассоциаций. На их основе и прогнозируется будущее, описываются трансформировавшиеся психические и ментальные функции человека, обеспечивающие познавательную, эвристическую его способность в обстоятельствах «тысячелетнего царства».

Тем самым мыслитель и художник практически не испытывает недостатка в необходимой информации для философского обобщения по тому или иному вопросу или разрешаемой проблеме, если только ему удается найти ассоциативную связь с идейно-образным пространством Евангелия.

Поэтому и на фундаментальный вопрос Шатова Князь уверенно отвечает. Шатов: «Что же будет? Конечно высшее?» — Князь: «Без сомнения, гораздо высшее» (там же).

Еще одной особенностью подхода Ф.М. Достоевского к проблеме *антиномичного* противостояния веры и разума в данном фрагменте, отличительной чертой его своеобразной исследовательской методы, оказывается следующее.

Действительным содержанием его философского аппарата выступает либо заимствование (то есть непосредственное воспроизведение, текстуальное и смысловое цитирование священных текстов), либо ассоциация или реминисценция (то есть некий идейно-образный аналог евангельской логики, евангельских «пророчеств» и «предвидений», «евангельского», что ли, «метода» истолкования явлений социальной действительности), в то же время мыслитель стремится придать своим основным философским рассуждениям и вы-

водам, как в авторском тексте, так и в репликах своих героев, научную форму, пытается использовать критерии *научной строгости*. Отсюда — поразительные контрасты между формой и содержанием многих философских фрагментов мыслителя.

Итак, Шатов и Князь продолжают дискуссию. Шатов формулирует перед оппонентом резонный вопрос (более чем уместный с точки зрения личности-«особняка» цивилизованной эпохи, богатство человеческих способностей которой выродилось в единственную гипертрофированную функцию — рассудочно-интеллектуальную): «Да разве может быть что-нибудь высшее ума?» (11/183).

Тезису Шатова Достоевский придает усиленно рационалистический пафос. Князь же вполне соглашается с подобной постановкой проблемы: «Так по науке...» (там же). С точки зрения Князя, которая в данном случае совпадает с авторской, поскольку многообразие психологических функций человека отождествляется лишь с познавательной деятельностью, а «ум» позитивистски ориентированной наукой объявляется критерием истины, то по «науке» нет ничего выше ума, разум оказывается высшей ценностью, высшим приоритетом человеческой деятельности.

Князь полемизирует с данной, просветительской, по существу, традицией безоглядного воспевания разума. И полемизирует с христианских, евангельских позиций. Однако и в данном случае необходимо учесть последовательное проведение Ф.М. Достоевским принципа историзма.

Писатель нисколько не призывает к отказу от плодов науки и просвещения, апеллируя к религиозно-консервативным крайностям веры. Напротив, он призывает *преодолеть* современное ему научное знание, выйти на *новые горизонты* познавательных возможностей человека и человечества. По его глубокому убеждению, научное знание, выработанное

в XVIII—XIX столетиях европейской истории, еще *недостаточно*, оно не может быть источником последовательной и всеобщей гуманизации человеческого общества.

Итак, после пространной преамбулы Князь переходит к «анализу» (кавычки в данном случае более чем уместны, поскольку аналитическая познавательная процедура осуществляется в духе «наивной» евангельской мудрости) современного научного знания. Но осуществляет свое исследование герой Достоевского более чем своеобразным способом.

Для большей наглядности Князь обращается к примеру с... клопом: «...вот у вас ползет клоп. Наука знает, что это организм, что он живёт какою-нибудь жизнью и имеет впечатление, даже свое соображение и бог знает что ещё» (11/183). Тем самым Князь очерчивает достигнутый, с его точки зрения, высший предел научного познания сущности жизни другого, чем человек, существа.

Затем он формулирует вопрос, на который наука принципиально ответ дать не в состоянии: «Но может ли наука узнать и передать мне сущность жизни соображений и ощущений клопа?» (там же). Перед нами характерная не только для Князя, но и для мировоззрения самого Ф.М. Достоевского, черта — требование *субъективизации* научного познания, стремление всегда и везде как можно глубже погрузиться в субъективное переживание «сущности жизни», соображений и впечатлений всего живущего.

Эта черта индуцирована художественным, творческим характером мировоззрения мыслителя и художника. Ф.М. Достоевский — художник — «реалист» в высшем смысле «художества», понимаемого им как со-творение мира. И в этой *ипостаси* он глубже и проницательнее, чем просто «мыслитель» в традиционном значении этого слова. Во многом результаты его философских исканий определились его художественным методом, образным типом восприятия

мира вообще. И к познанию мира действительности, как и к решению животрепещущих мировоззренческих вопросов Достоевский подходил как *художник*, восполняя игрой фантазии, мощных творческих сил недостаток знания или принципиальную неполноту познавательных средств современной ему науки. И делает он это исключительно литературными средствами!

(Как справедливо замечает исследователь, «литература — это способ объективации субъективного без элиминации самого субъективного, это определённая оптика, своего рода микроскоп (или телескоп), который в руках талантливого прозаика приоткрывает ... завесу скрытых под социальными масками субъективных миров». — Мехед Г.Н. Художественная литература как метод философии. С. 11.)

Итак, на поставленный вопрос следует ответ: «Никогда не может. Чтоб это узнать, надо самому стать на минуту клопом» (там же).

Перед нами наглядная иллюстрация к сказанному. Критерий научной достоверности сводится к возможности или невозможности для субъекта научного познания пережить, *перечувствовать* весь комплекс ощущений изучаемого объекта — живого существа, то есть, в данном случае, клопа. Требование *субъективизации* научного исследования, использование субъективного метода научного познания перенесено Достоевским из области художественного на почву научного творчества. Совершив прорыв в художественности, писатель стремится с помощью тех же специфических приёмов и методов успешно решить и иного плана творческие проблемы. И не безуспешно.

Но насколько эти предвосхищения Ф.М. Достоевского оказываются созвучны современной теории сознания! — «С тех пор как Т. Нагель в своей знаменитой статье «Каково быть летучей мышью» противопоставил перспективу от пер-

вого лица перспективе от третьего лица, философы и учёные изо всех сил пытались представить себе мир летучей мыши. Позиция Нагеля в итоге легла в фундамент мистерианской позиции в философии сознания, согласно которой мы никогда не можем представить себе сознание другого существа, его феноменальный мир — то есть то, каким мир представляется с субъективной точки зрения, с перспективы «от первого лица». (Мехед Г.Н. Художественная литература как метод философии. С. 10).

«Нагель сформулировал так называемый объективистский парадокс. Что такое объективность, можно ли её достичь в науке и познании? В науке и философии мы пытаемся представить объективный мир как он есть сам по себе, как бы взглянуть на него с точки зрения Бога или «взгляда-из-ниоткуда», разместить оптические перспективы и их содержание в мире, представленном с точки зрения отсутствия какой-либо особенной перспективы. Однако, по мнению Нагеля, объективный мир неизбежно должен включать в себя и «нас» (субъективную перспективу, точку зрения) как часть этого мира, иначе он будет фундаментально неполон. ... Получается, что объективность может существовать только при наличии субъективности и любая объективистская концепция реальности должна включать признание этой неполноты. А исключая самих себя в процессе познания из объективной реальности мы делаем её субъективной, подменяем её виртуальной, идеализированной моделью. Объективный мир сам-по-себе, понятый как бессубъектность — просто не существует, это ещё один миф, догма» (Там же, С. 11).

Ещё одной характерной чертой стиля рассуждения Достоевского-художника, мыслителя, творца оказывается стремление к крайностям, доведение до последних, крайних и конечных смысловых следствий содержания того или иного тезиса. В данном случае бросается в глаза резкость и окон-

чательность, с которой мыслитель *связывает* вопрос о познавательном статусе науки, равно как и её эвристические возможности, с вопросом о клопе, так сказать, философской *«проблемой клопа»*.

Действующих лиц романа отнюдь не шокирует парадоксальность и эпатаж такого сопоставления. Убедительно продемонстрировав «несостоятельность» научного знания в деле достоверного отображения (в человеческих понятиях, представлениях или ощущениях) «мироощущения клопа», Князь делает кардинальный философский вывод: «Если она (т.е. наука. — *Н.М.*) этого не может, то я могу заключить, что не может передать и сущность другого, высшего организма или бытия» (11/183).

Разумеется, подобный вывод не обоснован, и не только в соответствии с общенаучными логическими правилами, но он противоречит логике рассуждений самого Князя. В частности, мы отмечали неправомерность подобных актов *тотальной* субъективизации и психологизации самого процесса научного познания в высказываниях Князя. В соответствии с так сформулированными *«критериями научности»* научному познанию было предъявлено требование передать соображение и представление, которыми обладает клоп. Затем этот вывод логически необоснованно переносится от случая с клопом (*casus clopus*) на случай с высшим организмом или бытием.

Казалось бы, если исходить именно из принципа *субъективации* и *психологизации* научного познания (следуя логике познавательной программы Князя), где, как не в «высших проявлениях жизни» можно эффективно применить эпистемологический метод субъективного переживания и исследования ощущений высшего (чем клоп) существа? Однако и в данном случае границы научного познания оказываются зауженными: ему не под силу ни *низшее* бытие клопа, ни *высшее* бытие высшего существа.

При такой постановке проблемы с логической необходимостью следует вывод: наука «...не может передать и сущности другого, высшего организма или бытия. А стало быть, и состояние человека при вырождении в тысячелетнем царстве, хотя бы там и не было ума» (там же). В итоге Князь выводит из компетенции науки и достоверного научного знания *будущее* человека и самого будущего *человека*.

Князь-Ставрогин, идеолог и моральный экспериментатор, переводит проблему будущего человека из области научного прогнозирования, опирающегося на методы научного познания, оказавшегося скомпрометированным, из сферы компетенции науки — в область поэтических евангельских образов. В этом состоит еще одна особенность философствования Достоевского — он *поэтизирует* действительность. Мировоззрение мыслителя и художника не только несет на себе отпечаток религиозно-евангельского мудрствования. Одна из характерных черт творческого метода Ф.М. Достоевского — поэтизация явлений действительности, исторических событий, духовного мира личности.

От парадоксальных выводов Князя Шатов «закружился». У него возникает уверенность в том, что первоначальный тезис и логически выведенное из него следствие не стыкуются, что в каком-то месте логическая цепь оборвалась. Только он никак не может обнаружить, где же именно разрыв и где противоречие. Между тем Князь «на всех парах» спешит достроить колеблющуюся конструкцию своего *теоретического* вывода, пока она не рухнула, как карточный домик. «Не понимаю, для чего вы умение ума, т.е. сознания, считаете высшим бытием из всех, какие возможны? По-моему, это уже не наука, а вера...» (11/184).

Каким же образом объясняется сам факт наличия подобной веры в человечестве, признающей сознание «высшим бытием из всех, какие возможны?» (По крайней мере, из

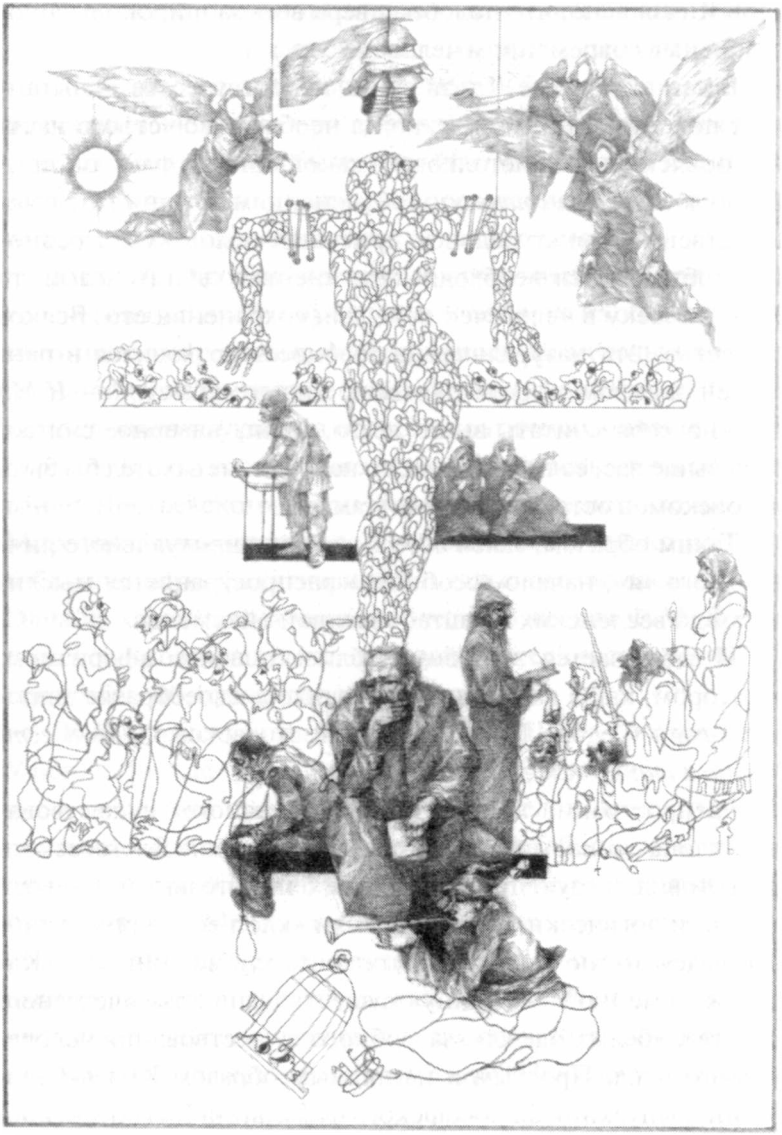
слов Князя ясно, что подобная вера весьма широко распространена в современном человечестве.)

В данном случае Князь вновь использует уже испытанный полемический прием: когда необходимо «строго научно» объяснить или истолковать какой-нибудь факт, он прибегает к *натуралистическим* объяснениям. В данном случае естественной, «натурально» присущей человеку потребностью объявляется необходимость «ценить себя (в целом, то есть человеку в человечестве)... для сохранения его. Всякое существо (эта натуральная потребность возводится в ранг общей закономерности для всех живых существ. — *Н.М.*) должно себя считать выше всего, клоп, наверно, считает себя выше вас, если не может, то наверно, не захотел бы быть человеком, а остался клопом» (там же).

Таким образом, *закон обособления* индивидуального личностного «я», начало «особняка» распространяется мыслителем до вселенских масштабов живой ойкумены.

И завершается этот вывод блистательным афоризмом, в котором, как в капле воды, отразилось своеобразие мировоззрения Федора Михайловича Достоевского: «*Клоп есть тайна и тайна везде*» (11/184).

Распространив покров тайны с «личного» существования клопа до космических масштабов, герой Достоевского подготовил следующий, еще более блистательный по своей дерзости логический поворот: Если «клоп есть тайна и тайны везде», то «почему же вы отрицаете другие тайны?» — Какие же именно? — «Тайну» существования тысячелетнего царства, «белых одежд», загробного существования человеческого и т.д. Простым и наглядным образом Князь-Ставрогин, выпускник философского факультета Геттингенского университета, перебрасывает «метафизический» мостик от «*тайны клопа*» — к «*тайне высшего бытия человека*».



§ 15. Заключение. Гражданин кантона Ури: завершение образа? «Никого не винить: я сам»

В финале романа Николай Всеволодович Ставрогин подводит итоги своей бурной жизни. И делает он это в эпистолярной форме, в виде письма на имя Дарьи Павловны Шатовой, вероятно, самого близкого ему человека. По крайней мере, именно Даше Ставрогин открыл больше, чем кому-нибудь, своих душевных тайн.

«Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня ещё есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать.

Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте» (10/514).

Характерная деталь. В течение *нового романа* Ставрогин *последовательно* приглашает поехать с собой в Ури Марью Тимофеевну, затем Лизавету Николаевну, и лишь в конце, — Дарью Павловну. Она — единственная спутница Николая Ставрогина, кому повезло физически выжить в экстремальных условиях общения с «аристократом духа». Отметим и то, что Николай Всеволодович основательно и скрупулёзно подошёл к организации своей будущей жизни гражданина кантона Ури. По большому счёту, он готов затеряться в горах Швейцарии с любой из возможных *спутниц*. Лишь бы не остаться в одиночестве.

Итак, первое предложение и физически, и «метафизически» отбыть в Ури Николай Ставрогин делает своей жене,

Марье Тимофеевне Лебядкиной. «Вы никогда не будете жить в палатах, разуверьтесь. Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко? Это в горах, в Швейцарии, там есть одно место... Не беспокойтесь, я никогда вас не брошу и в сумасшедший дом не отдам. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка; вы не будете исполнять никакой работы. Всё, что пожелаете из возможного, будет вам доставлено. Вы будете молиться, ходить куда угодно и делать что вам угодно. Я вас не трону. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите, всю жизнь не буду говорить с вами, хотите, рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге в углах, ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете. Но зато так всю жизнь, на одном месте, а место это угрюмое. Хотите? Решаетесь? Не будете раскаиваться, терзать меня слезами, проклятиями?» (10/218).

Как известно, Хромоножка отказалась «сорок лет на горе сидеть», да ещё «неизвестно с кем», чуть ли не с «купчишкой», а не с гордым Князем. В конечном счёте, за своё решение она заплатила жизнью.

Второе предложение уехать в Швейцарию, уже не столь акцентированное, как Хромоножке, Ставрогин делает Лизе после совместно проведённой ночи. («Ты не оставишь меня, — продолжал он почти с отчаянием, — мы уедем вместе, сегодня же, так ли? Так ли? ...

— Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб...» (10/399). В этот момент Николай Всеволодович ещё не имеет точной информации о гибели Марьи Тимофеевны, но совершенно точно знает, что она обречена и неминуемо погибнет. Поэтому он и предлагает поездку в кантон Ури своей новой избраннице для совместного переживания метафизического одиночества. Место в маленьком доме в горном ущелье вот-вот освободится!

Ну, а третье предложение покинуть Россию и навсегда уехать в Швейцарию Ставрогин делает Даше Шатовой. К ней он обращается уже после того, как погибли и Марья Тимофеевна, и Лизавета Николаевна. В письме к Дарье Павловне личную ответственность за их гибель Николай Ставрогин берёт на себя.

Тезисы Николая Ставрогина, гражданина кантона Ури, изложенные в письме Дарье Павловне Шатовой

Ставрогин признаёт, что он не здоров, но надеется избавиться от галлюцинаций благодаря горному воздуху. При этом он категорически отвергает психический характер своего заболевания. В таком случае, «заболевание» Николая Всеволодовича имеет нравственно-психологическую природу.

Совестью он виноват в смерти жены. Так же, как и в гибели Лизаветы Николаевны. Что он признаёт и открыто объявляет.

Отъезд в Ури не связан с какими-либо надеждами на возрождение. Кантон Ури — это физическое доживание в условиях, когда самоубийство невозможно по идеологическим причинам.

В России Ставрогин ничем и никем не связан. В России «мне всё так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более, чем в другом месте, не любил жить; но даже и в ней ничего не мог возненавидеть!» (10/514)

Экспериментально подтверждённая сила духа Ставрогина — «беспредельна». Но она беспредметна: её некуда и не на что направить.

Смешение «эстетического чувства» (см. *Идеологический комментарий* к подготовительным материалам и рукописям). Неразличимость и неотделимость доброго и злого. Одинаковость наслаждения от творения и того, и другого.

Недостаточность силы желаний: «руководить не могут». (В этом смысле Николай Ставрогин одновременно и «мечтатель», и яркий представитель «подполья», «подпольный человек». См. мою статью в «Вопросах философии», данную в *Приложении*.)

Николай Всеволодович пробовал большой разврат и истощил в нём силы. Но он не хотел и не любил разврата. Разврат Ставрогина носит «головной» характер и является *экспериментальным* средством диагностирования (зондирования) пограничных ситуаций.

С «отрицающими нашими» Ставрогину тоже не по пути. Как порядочному человеку ему «мерзило». Как точно уловил Пётр Степанович Верховенский, Ставрогин не приемлет никаких форм идеологии (в том числе и нигилистических), если они *эстетически* не привлекательны.

Даже любовь Ставрогина мелка. И, по его собственным словам, она сделает несчастным любого, кто захочет разделить это чувство с ним.

Из Ставрогина даже отрицания не вылилось.

По его собственному признанию, ему надо себя убить, но он «боится» самоубийства, ибо боится «показать великодушие».

Ставрогин никогда не может потерять рассудок и никогда не может поверить идее в той степени, как «несчастный самоубийца» Кириллов.

В этой системе разноречивых мотивов и настроений даже финальный аккорд — призыв к единственной оставшейся для него дорогой женщине, «сиделке» Дарье Павловне, — изначально противоречив. Выраженное желание Ставрогина с кем-нибудь *разделить* своё «метафизическое» одиночество в Ури и приглашение поехать вместе с ним завершается настоятельной рекомендацией *«не приезжать»*.

И хотя Ставрогин специально оговаривает, что он выбрал место для жительства в мрачном ущелье в кантоне Ури без

какого-либо тайного умысла, совершенно очевидно, что метафизическому одиночеству *«внутри»* должен соответствовать столь же характерный антураж экстерьера *«снаружи»*. Всё-таки Николай Всеволодович Ставрогин — эстет и тонко чувствует *символизм* своего положения.

«Лучше не приезжайте. То, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хоронить со мной вашу жизнь? Мне вы милы, и мне, в тоске, было хорошо подле вас: при вас при одной я мог вслух говорить о себе. Из этого ничего не следует. Вы определили сами «В сиделки» — это ваше выражение; к чему столько жертвовать? Вникните тоже, что я вас не жалею, коли зову, и не уважаю, коли жду. Во всяком случае, в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро. В таком случае уеду один» (10/514).

Современной психологической науке известны феномены, когда в одном человеке совмещаются несколько личностей. Иногда их число может достигать десяти и даже более, как в случае с американцем Уильямом Миллигэном, у которого их было более 20 (Дэниел Киз. Таинственная история Билли Миллигана. М., «Эксмо», 2015). Причины могут быть самыми разнообразными.

Как правило, единая некогда личность попадает в сверхжёсткие жизненные обстоятельства, и «расщепление» личности на большое количество «субличностей» оказывается единственным способом если и не сохранить душевное здоровье (синдром «множественной личности» — наиболее сложное заболевание для современной психиатрии), то, по крайней мере, *выжить*. Этот адаптивный психологический механизм стимулирует творческие способности человека, до этого не проявляющие себя — феномен Миллигэна особенно впечатляющ. Но при этом страдают, естественно, целостность личности, её самотож-

дественность и самоидентификация: как в такой ситуации ответить на вопрос: «кто я?»

Эти феноменальные проявления психологической жизни человека весьма напоминают «казус» Николая Ставрогина. Для большей научной достоверности необходимо было бы рассмотреть побудительную причину, которая привела к подобной фрустрации личность Николая Всеволодовича Ставрогина. Исходя из биографии Ставрогина, интересно было бы понять, в чём конкретно она могла бы состоять в случае с Николаем Всеволодовичем? Имеющийся биографический материал, однако, не позволяет сделать это с научной достоверностью.

Итак, подводя итоги, что мы имеем? Из каких проекций складывается *синтетическая личность* главного героя романа «Бесы»?

Николай Ставрогин — «*бретёр*», намеренно провоцирующий и оскорбляющий людей и испытывающий от этого специфическое удовольствие.

Ставрогин — *джентльмен* «до кончиков ногтей», «рыцарь без страха и упрёка», обладающий самыми утончёнными представлениями о чести и достоинстве. Человек, готовый отстаивать понятие о чести в поединке на *любых* условиях.

Николай Ставрогин — «*женский угодник*», оказывающий магическое воздействие на представительниц прекрасного пола. И эту способность он активно использует. В этом отношении сравнение его с Дон Жуаном совсем не лишено смысла.

Николай Всеволодович — *моральный экспериментатор*. Он экспериментирует с собственной судьбой. Но в ещё большей степени он склонен подвергать экспериментальным испытаниям жизни окружающих.

Ставрогин — *христианский подвижник*, борющийся с искушениями, пытающийся обуздать свою «необыкновенную склонность к преступлениям». Не способный к самодис-

циплине и «самовыделке», в конечном итоге он побеждает своих «бесей» ценой собственной жизни, совершив акт «автоэкзорцизма».

Ставрогин — интеллектуал и *идеолог*. Он критически рассматривает все концепции, которые представлены героями романа на «рынке» идей, и опровергает их одну за другой. В романной действительности в интеллектуальных поединках за ним всегда остаётся последнее слово.

Николай Ставрогин — «мученик одной идеи». И эта идея — проблема «*существования Божия*». Она его поразила до такой степени, что, не разрешив её для себя, он не способен ни к жизни, ни к творчеству, несмотря на богато одарённую натуру.

Наконец, Ставрогин — это человек, *на совести* которого оказывается, по меньшей мере, десять человеческих жизней. А если «скалькулировать» и те жизни, о которых Николай Всеволодович признаётся на исповеди у Тихона, то окажется, что он прямо или косвенно виновен в смерти 12 человек! И даже в этом сюжете просматривается драматический парафраз евангельской истории. Было у Иисуса Христа двенадцать учеников — апостолов... Пытающийся уподобиться Христу Николай Ставрогин загубил двенадцать человеческих душ. (Может ли читатель припомнить какое-либо ещё литературное произведение, в котором «выписан» образ «Христа», уничтожающего своих «апостолов», одного за другим?) По велению автора, нет ему прощения, ни на земле, ни в мире горнем.

Финальная фраза моего исследования диалектики «Креста» и «бесей» в судьбе Николая Ставрогина повторяет последние слова самого Николая Всеволодовича: «*Никого не винить. Я — сам*». Фраза, исчерпывающим образом определившая квинтэссенцию романа о личностном самоопределении самого сложного и противоречивого героя в творчестве Фёдора Михайловича Достоевского, если не всей мировой литературы. Что называется, ни убавить, ни добавить.

Приложение

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

После смерти Ф.М. Достоевского, последовавшей в феврале 1881 года (всего за несколько недель до политического убийства российского императора — реформатора Александра II), читающая Россия признала гениальность писателя. Весь остальной мир открыл для себя русского гения в двадцатые годы прошлого столетия.

Оказалось, что Достоевский — не только яркий писатель, современный двадцатому столетию по методу своего художественного творчества, но и мыслитель, создатель оригинальной философско-исторической системы, творец геополитических построений, философ морали и тонкий психолог.

Если же дать наиболее общую характеристику его творчества, то несомненно, что Достоевский — это гениальный исследователь человеческих феноменов, вскрывающий психологические мотивы поступков и исследующий мировоззренческие основы поведения современного «цивилизованного» человека, находящегося в условиях «переходного общества».

Литературное творчество Ф.М. Достоевского

Достоевский — один из немногих известных писателей XIX века, который профессионально занимался художественной литературой и публицистикой, то есть жил на средства, заработанные литературным трудом.

В литературу он вошел как последователь Н.В. Гоголя (о своем литературном поколении он говорил, что «все мы вышли из «Шинели» Гоголя»). В этом смысле творческий метод писателя близок реализму. Сам же Достоевский го-

ворил о себе как о реалисте в «высшем смысле», поскольку высшей реальностью для него была жизнь духа.

Хорошо известны обстоятельства его литературного дебюта. Прочитав за ночь в один присест рукопись начинающего автора, молодой литератор Григорович ворвался к Виссариону Белинскому с криком «новый Гоголь явился». И действительно, роман «Бедные люди» произвел фурор в читающей публике, а имя автора стало знаменитым. Достоевский стал известным писателем в 24 года.

Другой особенностью творческого метода Достоевского было активное использование библейских и евангельских сюжетов. (Причиной этого, видимо, стало то обстоятельство, что в течение долгих лет каторги единственной книгой, которую разрешалось иметь каторжанам, была Библия.)

Евангельские тексты служили Достоевскому источником своеобразного «исторического» материала для построения картин гармоничного общества будущего, в которых самым тесным образом переплелись научные предвидения, интуитивные догадки, художественные образы, наконец, аллегорические евангельские образы и ситуации.

Достоевский-философ «мыслил» евангельскими образами. Они составляли для него привычное концептуальное и проблемное поле при исследовании социальных проблем современной истории. С их помощью писатель моделировал самые различные сферы действительности — от социально-политической до морально-психологической.

Один из наиболее проницательных исследователей творчества Достоевского Василий Розанов пишет, что для Достоевского «библейские образы — это ведь только величайшее обобщение фактов, до какого могли додуматься история и философия» и далее, — «Пальмовые ветви и белые одежды» — это только жажда радости и света для миллионов задавленных существ» (Розанов В.В. Легенда о Вели-

ком инквизиторе Ф.М. Достоевского. С.-Петербург: Изд-во М.В. Пирожкова, 1906. — С. 38).

Каторжному опыту Достоевского русская литература обязана появлением «Записок из Мертвого дома» — пронзительного документа эпохи, рассказывающего о людях и нравах, существующих на царской каторге.

Задолго до Александра Солженицына и его знаменитого «Архипелага «ГУЛАГ» Достоевский не только возвысил свой голос, защищая право человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях, на человеческое достоинство и уважение к своей личности. Достоевский на множестве примеров конкретных человеческих судеб убеждает, что волей случая на каторге оказался цвет русского народа, наиболее деятельная и предприимчивая его часть. Поэтому у читателя вслед за автором справедливо возникает вопрос: каковы же те социальные обстоятельства, которые столь безжалостно и бесповоротно маргинализуют и выбрасывают за круг привычной жизни сотни тысяч одаренных русских людей?

Один из самых необычных романов Достоевского — роман «Игрок». В жизни писателя он имеет, без преувеличения, «судьбическое» значение.

По кабальному договору с петербургским издателем Стелловским писатель был обязан к определенному сроку подготовить совершенно новый роман. В противном случае Достоевский утрачивал навечно свои права на переиздание созданных к тому времени литературных произведений.

В силу разных причин (затянувшаяся болезнь, необходимость постоянно решать финансовые проблемы — Достоевский принял на себя долги умершего брата) работа над романом совершенно застопорилась. Угроза попадания в «литературное рабство» становилась все более реальной.

Своим друзьям Достоевский говорил, что написать новый роман как законченное литературное произведение за столь короткий срок (до сдачи романа в печать по условиям договора оставалось менее месяца) уже не реально.

Кто-то из друзей писателя посоветовал пригласить стенографистку и надиктовать ей текст романа. Так Достоевский и поступил (в то время профессия стенографа была внове, и в Петербурге совсем недавно открылись женские курсы стенографии). По рекомендации пригласили лучшую выпускницу курсов стенографии Анну Григорьевну Сниткину (впоследствии она стала женой Достоевского и верной подругой писателя, наделенного одной из самых трагических в истории русской литературы судеб).

Роман «Игрок» был написан за 26 дней и стал одним из шедевров мировой психологической прозы. Психология игры, призрачный мир рулетки и казино, калейдоскопическая смена везения и неудачи, взлеты и падения — вот круг тем романа, относительно небольшого по объему (в сравнении с другими романами Достоевского), но отличающегося стремительным развитием сюжета и захватывающей фабулой.

Философско-исторические построения писателя

Достоевским создана собственная философско-историческая концепция, в основу которой положен господствующий тип личности.

Известно, что Достоевский был принципиальным критиком буржуазного общества как определенного типа социальности. Основание для критики — положение человека в общей системе социальных координат, униженное и подавленное состояние человеческой личности.

В одном из самых ярких публицистических произведений писателя — «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863 г.) — Достоевский дает уничтожающую критику капи-

тализма, наблюдая его проявления в самом сердце «капиталистического Ваала» — Лондоне. (Достоевский побывал в пролетарском районе Лондона Вайтчепеле.)

Достоевский доказывает, что капиталистическому типу социальности соответствует «начало особняка». Амбивалентное, то есть разорванное сознание, отсутствие целостности, чрезвычайная морально-психологическая подвижность и принципиальная невозможность оставаться на твердых нравственных основаниях проецируется на все сферы жизни человека и общества — семейную жизнь, общественные установления, государственные институты. «Случайное семейство» соответствует «переходному обществу». (Подробно тип «случайного семейства» исследован Достоевским в романе «Подросток».)

Собственно, анализу различных состояний «человека-особняка», прослеживанию его разнообразных морально-психологических проявлений и посвящено творчество Достоевского. В этом смысле можно утверждать, что Достоевский — один из наиболее социально восприимчивых писателей. Коротко это можно передать формулой: «Исследую переходного человека в переходных обстоятельствах».

Достоевский — христианский социалист

Существует расхожее представление о том, что Достоевский как политический мыслитель и общественный деятель двойственен и противоречив.

В молодости, будучи членом кружка Белинского и принадлежа к обществу Михаила Васильевича Петрашевского, он являлся приверженцем социалистической идеологии (причем в ее наиболее радикальной, революционной форме). (Отметим, что в кружке Петрашевского читались и анализировались произведения Сен-Симона, Фурье, Оуэна и других представителей социалистической мысли. Впоследствии, в 60-е и 70-е годы Достоевский познакомился с некоторыми

работами К. Маркса, следил за деятельностью Интернационала, но большого энтузиазма марксизм, как «научная философия социализма», у него не вызвал.)

Затем же, после разгрома «общества петрашевцев» и ареста (в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г.; непосредственным поводом для ареста послужило чтение запрещенного властями письма В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю; впоследствии выяснилось, что в кружок петрашевцев был внедрен полицейский агент-провокатор), долгих десяти лет, проведенных на каторге и в ссылке, «остепенившись», он «изменил» своим юношеским идеалам и примкнул к консервативно-охранительному лагерю.

К концу жизни — он «убежденный монархист», человек, вхожий в императорскую семью и поддерживающий отношения с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым (который рассматривался демократической Россией как мракобес и душитель свободной мысли).

На самом деле, если внимательно проследить идейную эволюцию писателя, то станет ясно, что идеалам юности он никогда не изменял. Так же, как и в молодые годы, он привержен идеалам свободы, равенства и братства. Но вот пути и способы общественного переустройства, основанные на революционном насилии и на терроре, он не принимает.

Достоевский — *христианский социалист*. В записных книжках писателя (1864 г.) присутствует конспект незавершенной статьи «Социализм и христианство», в котором он рассматривает философские основания современного социализма, сопоставляя его с христианскими ценностями.

Писатель полагает, что изменить мир можно, только изменив человека. При этом в мире существует, по крайней мере, один живой пример такого нравственного самоусовершенствования. Этим идеалом, по мысли Достоевского, является личность Христа. Своим примером он показал, что

подвиг величайшего самопожертвования возможен для каждого человека, для любого из «малых сих».

В записных книжках, которые были его особой творческой лабораторией, он раз за разом возвращается к евангельскому изречению «Слово плоть бысть». Достоевский полагает, что в самой основе христианского вероучения заложен краеугольный принцип воплощения идеала. Христос для него — это идеал воплотившийся, образ реализованный.

Известно высказывание Достоевского, что если бы он был поставлен перед выбором: «с правдой ли остаться, или с образом Христа, то он выбрал бы Христа». Настолько большое значение придавал он образу Христа как моральному абсолюту.

Отсюда и «христианско-социальная» формула Достоевского: «допустим, что все стали Христы, — как изменился бы окружающий нас мир?» («Если все Христы, то будут ли бедные»?)

Сделайте всех Христами — и вы получите гармоничное общество, без бедных и богатых, без социальной розни и классовой ненависти, общество, в котором каждый каждому — друг, товарищ и брат. Вот программа переустройства мира и общества по Достоевскому. Очевидно, что это — самый строгий нравственный критерий, по которому он судит современный ему мир.

Пафос моральной философии Достоевского устремлен в будущее. М.Е. Салтыков-Щедрин, характеризуя взгляды Достоевского, писал: «По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком, он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества.

Укажем хоть на попытку изобразить тип человека, достигшего полного духовного и нравственного равновесия, положенную в основание романа «Идиот», — и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т.п. Это, так сказать, конечная цель, ввиду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся промежуточными станциями» (Салтыков-Щедрин М.Е. Литературная критика. М.: Современник. 1982. С. 272).

Особая тема — отношение Достоевского к христианству и отношение адептов христианства к самому писателю.

В гениальной «Легенде о Великом инквизиторе», вставной новелле в последнем романе писателя «Братья Карамазовы», Достоевский, по сути, развенчивает исторически существовавшее христианство в католической его форме.

Оказывается, что последователи Христа, выстраивая в течение многих веков здание вселенской церкви, извратили его заветы, преклонившись перед «чудом, тайной и авторитетом» как наиболее эффективными средствами управления человеческой массой. Говоря современным языком, свободный выбор людей смысложизненных ценностей они подменили технологиями власти и управления человеческой массой.

Достоевский считал, что эти упреки справедливы по отношению к католицизму, который в качестве основных ценностей выбрал «меч Кесаря», полностью оправдав и освятив государственную власть и все ее институты, и «хлебы», с помощью которых готов накормить человечество и тем самым избежать социальных конфликтов.

Православие же, по его мнению, хотя и находится в кризисном состоянии (он писал, что «церковь находится в пара-

личе с Петра Великого»), не утратило окончательно идеалов первохристиан. Он надеялся, что именно православие сможет преодолеть искушение светской властью и стать мировоззренческой и смысложизненной основой для новых поколений русских людей.

Любопытно, что сам Достоевский энергично подчеркивал (в записных тетрадях 70-х годов) отсутствие мистических идеалов в своем религиозно-философском сознании: «Я вам ни одного мистического верования еще не дал», пишет Достоевский, обращаясь к оппоненту. И далее: «Я православие определяю не мистической верой, а человеколюбием, и этому радуюсь» (Достоевский Ф.М. Соч. Т. 24. С. 254).

Позднее он повторил эту мысль в «Дневнике писателя»: «В русском христианстве по-настоящему даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней мере это главное» (Там же. С. 256).

Любопытно, что такое представление Достоевского о роли православия в современной ему жизни, и, особенно, его будущем общественном призвании, вызывало довольно сильное неудовольствие у его идеологических союзников.

Взгляды Достоевского (впрочем, как и особая позиция Л.Н. Толстого по отношению к историческому христианству) в язвительной форме были раскритикованы консервативным философом и публицистом Константином Леонтьевым в статье «Наши новые христиане». Религиозно-философскую концепцию Достоевского наряду с религиозными исканиями Л.Н. Толстого Леонтьев третирует как «розовое христианство». Основному принципу системы Достоевского — человеколюбию — он противопоставляет жестокость, «пустынность», монашество византийского христианства.

Позже, в своем отзыве на знаменитую Пушкинскую речь Ф.М. Достоевского, Леонтьев прямо упрекает Достоевского

в том, что он обращается к образу Христа помимо церкви, приписывает Спасителю «никогда не высказанные им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и «гармонии» (Леонтьев К. О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике // Варшавский дневник. 1880. № 169).

Следует добавить, что Русская православная церковь в лице своих иерархов довольно скептически отзывается о духовно-нравственных исканиях Достоевского.

Известен интерес Достоевского к русским монастырям, монашеской жизни, личности и образу жизни христианских подвижников. Писатель многократно совершал паломнические поездки по святым местам России (благодаря его эпистолярному наследию хорошо известны подробности его паломнического путешествия в Оптину Пустынь, совершенного совместно с философом Владимиром Соловьевым).

Что привлекало Достоевского в этих поездках? Почему он, человек уже немолодой и не самого крепкого здоровья, раз за разом предпринимал эти утомительные поездки?

(Немного в сторону. Думаю, что ответ следует искать в том особом обаянии, особом колорите и настроении, которое, например, отразилось в современном художественном фильме «Остров», совершенно неожиданно получившем широкий общественный резонанс, на который совсем не рассчитывали его создатели — режиссёр Павел Лунгин и исполнитель главной роли Пётр Мамонов.)

Обратим также внимание на то, что Достоевский живо интересовался «человековедческим» опытом православных подвижников. Лично познакомившись с некоторыми из них (например, с Тихоном Задонским), он был поражен их проницательностью в понимании мотивов человеческих поступков. Удивительными оказались также способности известных ему старцев (тема «старчества» — особая страни-

ца в творчестве Ф.М. Достоевского) предвосхищать будущее и предвидеть личную судьбу человека.

Достоевский как критик мировоззренческих основ политического насилия (проблема философского обоснования антитеррора)

До сих пор роман Достоевского «Бесы» (1870) остается философской энциклопедией антитеррора.

Многие исследователи творчества Достоевского полагают, что именно роман «Бесы» является вершиной не только философского наследия писателя, но и непревзойденным художественным шедевром автора.

Написанный «на злобу дня» (непосредственной сюжетной основой послужило политическое убийство профессиональным революционером Сергеем Нечаевым студента Петровской сельскохозяйственной академии Ивана Иванова), роман стал родоначальником философско-политического романа как жанра художественной литературы (точно так же, как роман Достоевского «Преступление и наказание» стал родоначальником детективной линии в русской литературе).

Ф.М. Достоевский действительно гениально предвидел опасность распространения такой страшной социально-политической язвы, такого «бесовства», как международный терроризм, прикрывающийся для достижения своих политически амбициозных целей в том числе и псевдореволюционной фразой (наряду с религиозными или национальными лозунгами, а часто просто использующий их конгломерат).

Пророчеством в романе выступает теория достижения всеобщего счастья, средством достижения которого оказывается прогрессирующее и самонарастающее насилие, которое быстро выходит из-под контроля инициирующих его деятелей и на очередном этапе эскалации террора «перемалывает» самих инициаторов. «Шигалевщина» исходит из идеи

безграничной свободы, а завершает построение общества всеобщего благоденствия безграничным деспотизмом.

Любопытно, что роман «Бесы» в течение тридцати лет (20—50-е гг.) в СССР не издавался.

Роман «Бесы» — самое загадочное литературное произведение Достоевского. Дело в том, что роман публиковался в журнале «Русский вестник», совладельцем и главным редактором которого был известный журналист и публицист Михаил Катков. По цензурным соображениям Катков отказался печать в журнале 9 главу романа «У Тихона». В результате был нарушен авторский замысел, а главный герой романа Николай Ставрогин приобрел налет таинственности и загадочности, так как его исповедь, ключевая для понимания характера персонажа, оказалась за рамками романного повествования.

После выхода романа в свет критики из демократического лагеря обрушились на писателя. Достоевского упрекали в том, что он создал карикатуру на русское революционно-демократическое движение. При этом практически все писавшие о романе признавали высочайшее художественное мастерство писателя. Прошло время, и после революционных потрясений двадцатого века стало очевидным, что Достоевский был прав, когда предупреждал об опасности «насильственного исправления человечества».

Также пророческими выглядят цифры «допустимых потерь», которыми готовы пожертвовать во имя достижения всеобщего блага — «сто миллионов голов». Думаю, что если суммировать все жертвы, понесенные человечеством вследствие революционных и гражданских войн в течение двадцатого столетия, то цифра окажется близкой к предвиденной Достоевским.

Роман «Бесы» интересен еще и тем, что это — едва ли не единственное из произведений писателя, к которому сохранились все подготовительные материалы, черновые вариан-

ты, многочисленные редакции. Записные книжки к «Бесам» позволяют исследователям проникнуть в творческую лабораторию писателя.

Геополитические взгляды писателя

В «Дневнике писателя» за 1876—1877 гг. Достоевский многократно возвращается к Балканскому кризису.

(Следует сказать, что «Дневник писателя» — совершенно особый жанр литературы. Достоевский всегда был очень внимателен к событиям текущей жизни. Материалы сюжетов для своих романов он черпал из сообщений газет, писем читателей, рассказов очевидцев. Писатель вел обширную переписку. Можно сказать, что задолго до появления сети Интернет «Дневник писателя» стал своего рода «Живым журналом», в котором писатель откликался на вопросы своих читателей, обсуждая наиболее насущное. До сих пор в публицистическо-эпистолярном жанре в литературе нет ничего, сопоставимого по глубине обсуждения смысложизненных вопросов и силе художественных образов. Именно для «Дневника писателя» Достоевским были написаны маленькие шедевры «Кроткая», «Мальчик у Христа на ёлке», «Бобок» и др.)

Политика геноцида по отношению к славянскому населению, фактически ставшая государственной политикой Османской империи, стала достоянием широкой европейской общественности. Страницы ведущих европейских газет были заполнены репортажами о зверствах турецких янычар. Однако правительства западных стран не спешили помочь южным славянам. Более того, «западные демократии» всячески стремились помешать русской дипломатии оказать поддержку братьям-славянам.

Особенно Достоевского интересует, почему цивилизованный Запад в лице ведущих европейских держав проводит

политику протекционизма по отношению к «больному человеку Европы» (Турции).

Он приходит к выводу: западные государства поддерживают мусульманскую Османскую империю против единоверцев балканских христиан потому, что не желают усиления России.

Геополитические интересы Англии и Франции, их руководящих политических кругов направлены на ослабление России, сдерживание ее могущества, недопущение вовлечения в ее цивилизационную орбиту новых народов и государств.

Что изменилось в Европе за прошедшие 130 лет?

Балканские войны за наследие распавшейся некогда союзной Югославии. Бомбардировка территории европейской страны, члена международного сообщества. Одностороннее признание западными державами независимости и международной правосубъектности Косовского края. «Постановочное» правосудие Гаагского трибунала по расследованию преступлений против человечности, совершенных в ходе гражданской войны в Югославии.

Если слегка видоизменить текст «Дневника писателя», заменив фамилии политических деятелей, и привести некоторые второстепенные детали в соответствие с современными реалиями, то окажется, что тексты Достоевского наиболее полно отражают суть происходящего в европейской политике. События августа 2008 года (агрессия Грузии против Южной Осетии под предлогом наведения «конституционного порядка») наглядно это продемонстрировали.

Объединённая Европа в очередной раз пытается вытеснить Россию на периферию цивилизации, создав вокруг ее границ некий санитарный кордон. И так же, как во времена Достоевского, предлогом является то, что Запад «прогрессивнее» (XIX век), или «демократичнее», и в большей степени, нежели Россия, отстаивает «права человека» и «обще-

человеческие ценности» (XXI век). Исторический опыт показал: Достоевский очень чутко уловил двуличную сущность западной политики.

Федор Достоевский в «зеркале» западного восприятия

Восприятие Ф.М. Достоевского западным сознанием позволяет понять происхождение устойчивых мифов и стереотипов о «русской душе» и «русском сознании».

В течение многих десятилетий Достоевский на Западе объявляется трагическим пессимистом, признавшим неуничтожимость злого начала в человеке, его низменных и порочных стремлений, постулировавшим наличие в природе человека болезненных, извращенных и неуничтожимых морально-психологических склонностей, воспевшим неизбывное стремление человека к страданию и боли, утверждавшим неискоренимость при любых социальных условиях иррациональных «цветов зла», якобы извечно цветущих в человеческой душе страшными инстинктами насилия, разврата, поругания всего высокого и светлого в человеке (интерпретации в психоаналитическом духе).

Попытки интерпретировать философские построения Достоевского в терминах и понятиях психоанализа, специфических соотношениях единства и борьбы сознательного и бессознательного в психике человека восходят к основоположнику психоанализа Зигмунду Фрейду, который в 1923 году выпустил работу «Достоевский и отцеубийство».

В этой работе не только личность писателя, но и всё его творчество истолковывалось как сублимированное превращение сексуальных влечений. Сексуально-бессознательное, и прежде всего, так называемый «Эдипов комплекс» объявлялось главнейшей детерминантой творчества мыслителя.

Сильное влияние психоаналитической трактовки творчества Достоевского ощущается, например, в статье писа-

теля-гуманиста Томаса Манна с весьма примечательным названием «Достоевский — но в меру», в которой он, по существу, отождествлял болезнь Достоевского-человека и гениальность Достоевского-писателя.

«Нет сомнений, — пишет Манн, — что подсознание и даже сознание этого художника-титана было постоянно отягощено тяжким чувством вины, преступности...» (Манн Т. Собр. соч. в 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 331).

«Не знаю, — продолжает свою мысль Манн, — что думают о «святой болезни» невропатологи, но она, мне кажется, уходит корнями в сексуальную сферу и представляет собой проявление сексуальной динамики в виде взрыва, преобразованную, трансформированную форму полового акта, мистическое извращение» (Там же. С. 332).

В конечном счёте Достоевский охарактеризован Томасом Манном как писатель, «чьё христианское участие обычно в большей степени отдано человеческому горю, пороку, безднам сладострастия и преступления, чем благородству тела и души» (Там же. С. 342).

Между тем, исходя из своего понимания социально-исторической перспективы, Достоевский подверг буржуазный «цивилизованный» мир разрушительной критике. Он не принял «сущее» буржуазного мироустройства за «должное», за уже осуществленную мечту человечества о торжестве великих принципов Братства, Равенства, Свободы. Своим творчеством писатель продемонстрировал парадоксальность и противоречивость личностного развития в условиях западного общества и объективно утверждал возможность гармоничного развития и совершенствования человека лишь на основе коренного обновления и переустройства мира.

Именно в этом, как я полагаю, и состоит значение творческого наследия Федора Михайловича Достоевского для современности.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ КАК ОБЪЕКТ ЭТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(на материале творчества Ф.М. Достоевского; опубликовано в «Вопросах философии», 1986. — № 6)

Минувшие годы развития этического знания показывают, что при определении перспектив и направлений этических исследований всё ещё недостаточно полно учитывается многообразие коррелирующих связей этики, философской науки о морали и целокупной духовной культуры. Между тем социокультурное наследие, в недрах которого пребывает и философское мышление, синкретически объемлет науку, искусство, философию. Оставаясь «за кадром» философской абстракции, наука и искусство присутствуют (в снятом виде) в качестве социокультурного фона этического размышления. Поскольку мораль пронизывает самые многообразные виды практической и духовной деятельности человека, не следует замыкать её исследование в строгих рамках философско-этического анализа так же, как и ограничивать её рассмотрение специальными, конкретными науками о человеке. Исторически очерченный «ареал» совокупного знания о моральных явлениях задается координатной сеткой взаимодействия этики, конкретных человековедческих наук, искусства.

Большой объём содержательного знания о морали, поражающий масштабностью поставленных нравственных проблем, аккумулирован художественной литературой. Нерационально использовать богатство морально-психологических ситуаций и нравственных коллизий, вскрытых и рассмотренных художественной литературой, лишь в качестве иллюстраций, образно окрашивающих мысль иссле-

дователя, и только. А мощный потенциал и накопленный литературой опыт в духовно-нравственном ориентировании человека третировать как «донаучную», «доэтическую» форму моральной жизненной философии.

Литература является по-своему уникальным источником информации о процедурах действия сложных морально-психологических механизмов — феноменальных проявлений морали в ее индивидуально-личностном, субъективно-психологическом бытии[1]. Этот, к сожалению, не совсем обычный для этической науки материал, полный исторически конкретных, «говорящих» деталей, представляет собой прекрасную основу для размышлений. Предлагаемый путь исследований осложнен техническими трудностями: литературно-художественные, образные изображения действующих моральных механизмов, образные дескрипции нравственных феноменов требуют аутентичной «перекодировки» содержащейся в них морально-этической информации, особой этико-психологической расшифровки.

Художественная литература, взятая в ее отношении к этике и ряду частных человековедческих дисциплин, имеет двоякий статус.

В раскрытии тайны «что есть человек», постижении его духовных глубин и нравственных высот она опирается на

[1] Различные точки зрения известных советских этиков по вопросу о взаимоотношении этической науки и конкретных «поставщиков» эмпирической информации о моральных феноменах зафиксированы в дискуссии «Этика и моралеведение». (См. «Вопросы философии», 1982, № 2.) Обсуждение было продолжено с участием широкого круга исследователей морали. (См. «Проблемы этической теории и нравственных отношений. Развитие этики: панорама идей». «Вопросы философии», 1984, № 6.)

Как отмечает А.А. Гусейнов, «по крайней мере в одном отношении этика выступает как частная, эмпирическая наука. Она призвана выполнять по отношению к своему предмету описательную функцию». (См. А.А. Гусейнов. Введение в этику. М., 1985. С. 16). По мнению Гусейнова, «описательную функцию» выполняют специальные разделы этической науки — история нравов, социология морали, психология морали.

достижения смежных гуманитарных наук, исследующих многообразные аспекты морального феномена, использует итоги философского анализа сущности и природы моральных явлений.

Но история духовной культуры свидетельствует о том, что в своих наиболее талантливых и крупномасштабных произведениях художественная литература более чутко реагирует на изменения моральной ситуации. Она смело вторгается в область неизведанного, неизученного и, пользуясь образными средствами анализа действительности, «предчувствует» будущее, совершая художественные открытия. Литературно-образные «предчувствования», которые расцениваются научным сознанием как актуальный заказ общественного мнения на разрешение тех или иных нравственных проблем, преобразуются этикой в исследовательскую программу научного объяснения вновь явившихся моральных феноменов. Литература, представляя собой спектр различных областей и направлений человековедения, отражает бытующие в обществе нравы более непосредственно, чем конкретные науки о человеке, и в этом смысле «волшебная магия» литературно-художественного анализа моральной действительности предваряет ее изучение философской этикой и специальными науками.

Специфические формы научной абстракции этических категорий и принципов, соответствующие чисто философскому уровню морального обобщения, литература связывает с предельно конкретными моральными ситуациями, персонажами, поведенческими актами.

В процессе литературно-художественного отражения действительности происходит и понятийно-образная обработка жизненного материала, кардинальным средством литературного обобщения явлений действительности служит выделение «типического». В художественную ткань литера-

турных произведений включаются и непосредственно философские пассажи, а в особой разновидности художественной литературы — философском романе, романе-эссе, романе-притче, синтетическом романе-исследовании — образные дескрипции моральных явлений подчинены философской идее, наполнены философским содержанием. Это позволяет средствами литературы подниматься до подлинно философских обобщений о жизненных явлениях и моральных феноменах.

Особый интерес представляет вопрос о возможном использовании в методологическом арсенале этических исследований определенных литературоведческих приемов. Фиксируя отраженные в художественной литературе явления морали, литературоведческая наука, опираясь на собственную методологическую базу, исподволь вырабатывала свои методики и средства анализа этих явлений. Среди таких средств истолкования и объяснения моральных феноменов наибольший интерес для этики может представить приём составления своеобразных морально-биографических хроник, прослеживающих историю формирования и трансформации акцентированных моральных качеств личности. Метод морально-биографической хронологии, представляющий собой своего рода «генеалогию души», позволяет вычертить направленный вектор судьбы литературного персонажа, выделить морально значимые поступки, центральные эпизоды его моральной биографии. Тем самым постигается логика морально-психологического развития личности, наглядно прослеживается динамика нравственной жизни человека. Исследования подобного рода, сочетающие детальный квазиэмпирический анализ моральной стороны литературно-сюжетных коллизий и морально-этическое осмысление, могут быть успешно применены для адекватной этической оценки мировоззренчески противоречивой, морально-пси-

хологически амбивалентной личности; они помогли бы разобраться в подчас бесконечных колебаниях морально-психологического маятника литературного героя. По сути дела, речь идет о перспективном направлении моралеведческого уровня этического исследования. Другим возможным средством из того же литературоведческого арсенала могла бы стать типология морально-психологических характеров персонажей литературных произведений, типология (по выделенному признаку) моральных качеств личности и т.д.

* * *

Исключительно интересно и плодотворно морально-философские, морально-психологические аспекты проблематики разрабатывал гениальный русский писатель и оригинальный мыслитель Федор Михайлович Достоевский. Философ-этик не может не обращаться к впечатляющим достижениям философского, жизнеосмысляющего уровня художественной литературы — романам Достоевского, которым, как известно, свойственно глубокое проникновение в моральное бытие человека, постижение его самых глубинных, субъективно-психологических основ. В этом смысле некоторые открытия Достоевского предстают как первичные факты гуманитарного знания о человеке, «добытые» не столько применением средств научного исследования (кстати, весьма несовершенных во времена Достоевского), а с помощью незаурядного жизненного и нравственного опыта писателя, блестяще проявившегося в интуитивной силе проникновения, творческой мощи воссоздания нравственного мира личности.

Парадоксальная вещь: ему в образной форме открылись сокровенные тайны таких интересных проявлений моральной жизни человека, точным знанием о которых науки о че-

ловеке его времени просто не располагали, а о некоторых не располагают ещё и сейчас в полной мере. Морально-психологические феномены «мечтательства», «двойничества», «подполья», некоторые виды моральных отклонений нравственно-мазохистского характера (например, «нравственное сладострастие») — вот далеко не полный перечень интереснейших проявлений моральной жизни человека, рассмотренных и исследованных Достоевским[1].

Обратимся к одному из наиболее фундаментальных художественных открытий Ф.М. Достоевского. Литературно-художественный и философско-этический подход к предмету позволяет параллельно проследить, как сам мыслитель исходя из определенных философских идей и мировоззренческих установок интерпретирует сделанное им открытие. Литературно-художественную «формулу» открытия Ф.М. Достоевского передают известные слова «подпольного» парадоксалиста: «Слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Я крепко убеждён, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание — болезнь»[2]. Отметим, что слова героя Достоевского о болезненной сути сознания вовсе не тождественны выражению философской позиции мыслителя, не соответствуют иррационально-скептическому характеру его философских построений. Они скорее есть выражение исторически конкретного морально-психологического феномена, констатация того обстоятель-

[1] Отметим, что сам писатель вполне осознавал масштаб и значение сделанных им литературно-художественных и морально-психологических открытий. В одной из записных книжек 1872—1875 гг., характеризуя «подполье», он сделал следующую запись: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить». Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. М., 1972—1986 (издание продолжается). Т. 16. С. 407.

В дальнейшем все сноски на цитаты из произведений Достоевского будут приводиться по этому изданию.

[2] *Ф.М. Достоевский.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 101—102.

ства, что в известных исторических условиях сознание есть именно «болезненное» сознание[1]. Первоначально Достоевский рассматривает явление как данность художественного откровения, извлеченную творческим усилием писателя из мира действительности. Затем он исследует эту «болезненность» сознания с философско-этических позиций, анатомирует её как социальную язву общества на данном этапе его исторического развития, запечатлевает отличительную особенность морального самосознания определённой исторической эпохи. Двигаясь в постижении этого феномена, используя своеобразный конкретно-исторический подход, особого рода типизацию морально-психологических явлений, мысль исследователя постепенно проникает от явления к сущности.

«Болезненность» сознания как морально-исторический и морально-психологический феномен в произведениях Достоевского проявляется в причудливых формах экстравагантного «экспериментаторства» над моралью, к которому социально и психологически тяготеет личность в условиях современной цивилизации. Это экспериментаторство[2],

[1] Проблема «болезненности» сознания, занимающая и в художественном творчестве и в философии Ф.М. Достоевского важное место, позволяет увидеть известный параллелум тем творчества русского писателя и мыслителя с философским творчеством Г.В. Гегеля. Подобное историко-этическое сопоставление осуществил, например, В.А. Бачинин. См. *В.А. Бачинин.* Достоевский и Гегель (к проблеме разорванного сознания). В кн. «Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1978. В.А. Бачинин отмечает, что объединяет и исследование Гегелем граней «несчастного», «разорванного» сознания, и идейно-художественный анализ Достоевским морально-психологических феноменов, порожденных «болезненным» сознанием: проблема отчуждения современного человека, представителя буржуазной цивилизации, от его человеческой сущности.

[2] Экспериментальный характер проверки героями Ф.М. Достоевского своих идей отмечают многие исследователи творчества писателя. Например, Л.М. Лотман в кн. «Реализм русской литературы 60-х годов XIX века». Л., 1974; В.Г. Одиноков в кн. «Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского». Новосибирск, 1981; В.К. Кантор. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. М., 1983, и др.

обусловленное социальными причинами, в психологическом отношении индуцировано характером деятельности сознания, в частности, гипертрофией его рассудочных форм, «болезнетворность» которых закономерно сопутствует определённым историческим условиям.

Многообразие экспериментальных ситуаций последовательно классифицируется Достоевским в типологической художественной системе.

Первая группа явлений — это такие экспериментальные попытки утвердить принцип «все дозволено», когда личность, бунтуя против бесчеловечных условий жизни, рассудочно-нигилистически обосновывает своё «право» на месть обществу за попранную справедливость, прибегает к самым крайним средствам борьбы с укоренившимся в обществе социальным злом, нанося сокрушительные удары против всех и вся. В данном случае торжествует нигилистический вариант социальной «арифметики», и протест личности против буржуазного обесчеловечения человека имманентно несет в себе каинову печать буржуазного индивидуализма и эгоизма. Г.М. Фридлендер в этой связи отмечает, что «герои Достоевского не только переживают разлад с окружающим обществом, но и несут в себе груз порожденных им ложных идей и иллюзий»[1].

Ко второй группе относятся попытки личности, придерживающейся целенаправленной программы, достичь такой степени могущества, которая по своему масштабу была бы соизмерима с абсолютной независимостью от ненавистного общества. Человек восстаёт на существующее положение вещей, сознательно подчиняясь внутренней логике движения общества. Впоследствии он рассчитывает, планомерно используя эту логику, преодолеть довлеющую над ним соци-

[1] *Г.М. Фридлендер.* Реализм Достоевского. М., 1964. С. 209.

ально-историческую закономерность. В современных условиях символом, а отчасти и средством господства выступают деньги, а потому стремление накопить миллион и стать Ротшильдом оборачивается в экспериментаторстве своей псевдобунтарской «изнанкой».

Наконец, к третьей группе принадлежит самый «радикальный» вариант экспериментаторства. Единственно реально доступным для человека способом вырваться из-под тяжелых оков, уродующих его личность, общественных отношений оказывается уход, бегство человека от действительности в особый, конструируемый сознанием мир. Это тоже своего рода бунт, но бунт в сфере пассивного отхода, неприятия «дурной» действительности; бунт интеллектуальный, духовно-нравственный, без вытекающего из него практического отрицания. Бегством от жизни оказываются и «мечтательство», и «подполье». Содержанием подобного неприятия действительности становится сознание высокого и прекрасного идеала в совершенном отрыве от действительной жизни, от действительных возможностей его осуществления в реальности.

Проиллюстрируем эту своеобразную типологию «жестокого» экспериментаторства над моралью конкретными примерами.

Сознание для Достоевского уже потому в определенном смысле болезнь, что, ничем не ограничиваемое, не сдерживаемое в личности-«особняке» эпохи современной цивилизации, оно утрачивает былое единство взаимодействия с другими психическими способностями человека, с психологически и нравственно целостной «натурой» человека. Для Раскольникова «разорванность» сознания выступает главным образом как «...противоречие идеи и натуры. В области индивидуально-психологических реакций Раскольникова прослеживается как бы два ряда: логический, состоящий из

намерений и их предполагаемых следствий, и реальный, выступающий как череда непредвиденных реакций собственной натуры на свои же действия. Эти реакции выступают в качестве силы, дезорганизующей процесс рефлективного мышления и оказывающей сильнейшее влияние на все поступки Раскольникова. Достоевский совершил открытие, которое в психологической науке было сделано только много лет спустя»[1].

Болезненное сознание современного человека закономерно и неизбежно гипертрофируется рассудочной своей стороной. Тогда оно приводит к экспериментам, подобным тому, который был запечатлен Ф.М. Достоевским в истории преступления и наказания Родиона Раскольникова, когда ум, рассудок позволили ему «по совести» убить старуху процентщицу. Рационально построенное обоснование этого преступления, логический вывод принципов социальной арифметики «меньшего зла» и «всё дозволено», с точки зрения Достоевского, безупречны, опровергнуть казуистику Раскольникова только на рациональном, рассудочном уровне не удаётся. Раскольников аргументирует свой поступок на нескольких уровнях морально-психологической мотивации — от оправдания своего стихийно вспыхнувшего антисоциального всеразрушающего протеста, спровоцированного гнётом общественных отношений, уродующих личность, до «теоретически» обоснованного, открыто провозглашаемого права и даже обязанности на преступление в ненормальных социальных условиях. Смысловая эквилибристика казуистских изощрений рассудка, подтверждающих притязания «сильной» личности счесть себя «Наполеоном», вершителем и распорядителем человеческих судеб, такова: «...Не для своей... пользы и похоти предпринимаю, а имею

[1] *Бачинин В.А.* Достоевский и Гегель. С. 19.

в виду великолепную и приятную цель (социального благодетельствования. — *Н.М.*), — возможную справедливость положил наблюдать в исполнении вес и меру, арифметику: из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и, убив её, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше, ни меньше...»[1] Для Достоевского высшая моральная ценность, своего рода моральный абсолют — человеческая жизнь, ценность которой является мерилом и точкой отсчета всех морально оцениваемых поступков людей, перешагнуть через неё — значит переступить нравственный закон. Утверждая абсолютность нравственного абсолюта в ущерб несомненной относительности его исторически конкретного содержания, отказываясь определенно разрешить проблему соотношения моральной цели и социальных средств её достижения, Достоевский стремится оградить человеческое общежитие от нигилистических посягательств теоретиков-экспериментаторов вроде Раскольникова, которые вообще отрицают какой бы то ни было нравственный закон. Вот почему для писателя важнейшая задача и роль совести «подлинной», «неумышленной» — накладывать психологически жёсткие ограничивающие рамки на сферу действия рационально-рассудочного принципа универсального сомнения.

Действительно, размышляет писатель, задумываясь о человеческой жизни вообще, о её значимости и подлинности, соотнося высокое предназначение человека с его жалким воплощением в действительности и не опираясь при этом на твердый нравственный абсолют, находясь в мировоззренчески «подвешенном» состоянии, разве мог Раскольников не сделать отсюда далеко идущие выводы и не только теоретически сопоставить ценность жизни старухи процентщи-

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 211.

цы и жизнь десятков молодых дарований, чей век она заедает, но и сделать закономерный при таком сопоставлении и столь пугающий практический вывод о том, что жизнь, представляющая меньшую ценность, может быть принесена в жертву во имя большей ценности? Раскольников убеждён в том, что на деньги ограбленной и раздавленной «старухи насекомого» спасутся будущие Ньютоны и Коперники, которые «в благодарность» облагодетельствуют человечество. Для Достоевского подобная логика самооправдания преступления неприемлема, и в бессознательных проявлениях «натуры» он надеется найти такую инстанцию моральности человека, которая не допустит жестоких, рассудочно-экспериментальных разрешений «роковых» вопросов и сопоставлений, этих арифметических подсчётов, затрагивающих основание моральной ценности.

Суть эксперимента Родиона Раскольникова заключалась в том, что он попытался силой рассудочной казуистики псевдологического вывода «всё дозволено» подавить «натуру», вытеснить за пределы своей совести присущую человеку установку на эмоциональный контакт с другим человеческим существом, приглушить естественное чувство сопереживания человеческому горю и страданию. Но, вытесненные из сознания, они закрепились в бессознательной сфере психического и с большой эмоциональной силой воздействуют на моральное самочувствие «экспериментатора». Показательно, что и сам преступный акт и поступки Раскольникова, непосредственно к нему примыкающие во времени, были совершены им в каком-то исступлённом состоянии, особой разновидности психоэмоционального расстройства. Достоевский вообще считал, что такое злодейское преступление, как убийство человеческого существа — деяние совершенно чуждое и противоестественное,— совершается человеком в состоянии душевной болезни, помрачении души и сознания.

В изображении Достоевского весьма интересна своими морально-психологическими нюансами и «легитимная» (в рамках буржуазной законности) разновидность экспериментаторства. Подавленная гнётом обстоятельств личность пытается достичь могущества, которое в буржуазном мире отождествляется с властью денег. Человек сознательно ставит перед собой цель — концентрацией физических и духовных сил «пробиться» из нижнего этажа общественного здания, наиболее угнетаемого, в верхний, жертвуя при необходимости даже родовыми моральными качествами, изначально присущими человеческой личности. В том-то и состоит эксперимент: человек добровольно расстается с моральными нормами, принципами, идеалами, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться к своей гипотетической цели, постепенно приобретающей характер навязчивой идеи.

Главная идея Аркадия Долгорукого, героя романа Ф.М. Достоевского «Подросток», с которой он вступает в жизнь,— накопить колоссальное состояние. С юных лет он целенаправленно готовит себя к карьере Ротшильда, уже выбран и опробован путь, по которому он пойдет к заветной цели. Это средство — гнусное и примитивное ростовщичество, последовательно и безжалостно проводимое, возведенное в «систему». В погоне за призрачным могуществом юноша совершенно сознательно стремится на долгие годы, может быть, десятилетия, отойти от проблем живой жизни с её печалями и радостями, а главное, такими заботами, за которые постоянно приходится платить. Тем самым он обрекает себя на одиночество, презрение и ненависть людей.

Версилов, персонаж того же романа, верно определяет, иронизируя, «идею» Подростка: «Терпенье, вечный расчет, вечное ожидание, жизнь наполнена, очень хорошо»[1]. Это

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 74.

терпение человека, отказывающегося от любого проявления жизни, за которое необходимо платить сверх жёстко установленного им самим минимума, этот вечный расчёт, насколько каждая сберегаемая и не истраченная им копейка увеличивает его состояние, насколько приближает к осуществлению цели, это вечное ожидание, когда наконец составится миллион,— вот смысл и содержание его жизни. Кричащим диссонансом выглядит это «наполнение» жизни по контрасту со знаменитыми словами Достоевского о цели человеческого существования: «Счастье... в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших способностей и наклонностей»[1].

Первоначальная «бунтарская» идея Подростка, который искренне полагал, что после тяжких подвигов накопления миллиона, когда ему станет доступно беспредельное могущество, он отдаст свои миллионы и уйдет в рубище, превращается в свою противоположность — в идею угнетения, повелевания и порабощения с помощью составившегося миллиона: «Пусть зависть, пусть я хуже всех, но я зато над всеми... Дурен я или хорош — это меня не тревожило... Я не груб, я знал, что такое идеалы добра и света. Но мой идеал мне казался лучше всех. Как там я направлю мою волю и личность, отмщу или облагодетельствую людей,— тут всё было в моей власти»[2]. С моральным сознанием героя происходит чудовищная аберрация. Человеколюбивая идея (согретая горячим морально-психологическим чувством) воздаяния человечеству обернулась идеей мщения человечеству. Своим жертвам новоявленный Ротшильд воздаст мщением за то, что ему пришлось идти к обладанию денежным мешком, отказывая себе в элементарных человеческих

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 18. С. 31.

[2] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 213.

радостях; за то, что, видя в течение долгих лет угнетение, несправедливость, притеснение, в тот самый момент, когда еще можно было спасти несчастного, помочь ему (хотя бы в рамках социального благодетельствования), отворачивался и нес сэкономленный таким образом медяк в свою кубышку и теперь пытается отмстить всему человечеству за те жалкие, слабые угрызения совести, которые всколыхнулись в тот момент в очерствевшей душе. Такова внутренняя логика этого экспериментаторства.

Наконец, еще один вид экспериментаторства проистекает из негативных изменений морального облика личности, порождаемых отсутствием или невозможностью «вечной неутомимой деятельности», в которой практически развиваются «способности и наклонности» человека. Неумолимым ходом действительности Достоевский убедился в том, что «коль не удовлетворён человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не из самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое Я в действительной жизни), то сейчас же и впадает он в какое-нибудь самое невероятное событие...»[1]. В характерах, ощущающих потребность неуёмной деятельности, жажду непосредственной и действительной жизни, но вследствие социальных обстоятельств выключенных из общего процесса жизни, а потому «слабых» и «нежных», зарождается то, что писатель называет «мечтательностью». Человек становится «мечтателем», психологически воспринимающим «обет» активности как довлеющее над ним проклятие, как тяжкое бремя.

В суровом мире социальной действительности, в котором господствует отчуждение, для «мечтателя» нет места. Сталкиваясь с препятствиями и обстоятельствами, которые

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 18. С. 31.

он не в силах преодолеть, его способности гибнут, не находя себе реализующего их применения, а стало быть, и развития. Постепенно угасает стремление практически достигать ускользающий идеал, воплотить его в достойные поступки. Мечтатель начинает «чуждаться... общих интересов, и постепенно, неприметно, начинает в нем притупляться талант действительной жизни. Ему естественно начинает казаться, что наслаждения своевольной фантазией полнее, роскошнее, любовнее настоящей жизни»[1].

Сформировавшийся «мечтатель» прежде всего не деятель, он перестает участвовать в делах мира реального, в его изменении и преобразовании. Напротив, его сознание обретает постоянно действующий стимул. Он угрюмо сознаёт, что действительность глуха и враждебна его прекрасному идеалу, но тем сильнее горячее чувство привязанности к отвергнутому, но не «потускневшему» идеалу, тем яснее сознаёт он высокий смысл своих убеждений по контрасту с «проклятой» действительностью. Эта прогрессирующая амбивалентность, разорванность морального сознания «мечтателя» устраняется тем, что действительность объявляется «неприемлемой» для высокого нравственного идеала, который слишком «хорош» для нее, а потому идеал изымается из жизни, произвольно постулируется как самодостаточная реальность сознания, вытесняя действительность из личностного бытия «мечтателя». Человек вынужденно измышляет новую, совершенную реальность, свой особый мир, в котором торжествуют идеальные законы. Осуществляя свое общечеловеческое предназначение, «мечтатель» пытается жить ярко, насыщенно, раскрыть силы души, развить способности, совершенствовать таланты. Но достигает он этого не на деле, а в сознании, не в социально-исторических условиях жизни,

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 18. С. 34.

а в мечтаниях и грезах. Когда же он обращается к действительности, к ее реальным проблемам, то неизбежно теряет пути достижения идеала, пригрезившиеся ему в мечтаниях, иных же, соответствующих действительному миру, он не знает. А поэтому, когда мир «мечтательный» сталкивается с миром подлинной, «непризрачной» жизни, рушится, распадаясь, гармония идеала и поступка, фантастическое, иллюзорное нравственное совершенство оборачивается реальными до грубости «падениями». «Достоевский показывает не только то, как иллюзии оправдывают зло, но и как они сами при известных обстоятельствах могут превратиться в зло»[1]. Поскольку идеал в реальных обстоятельствах жизни «принципиально» недостижим, а ответственность за воплощение нравственного идеала любого масштаба остаётся постоянно мнимой величиной, «мечтатель» избирает самый героический, самый необыкновенный идеал, неизменно оказываясь в вымышленном мире грёз главным действующим лицом. «Мечтательная» жизнь становится всё сложнее, изощрённее, причудливее; расцветает изобретательность, растет сила воображения: талант действительной жизни притупляется. «Мечтательство», о котором поведал Ф.М. Достоевский,— это иллюзорная морально-психологическая компенсация реального убожества и унижения человеческой личности, вызванного господством социального отчуждения, когда способности сознания становятся «вспомогательными средствами», которыми «...стараются наполнить всю вялую пустоту обыденной бесцветной жизни»[2].

Запечатлев в творческой, «отраженной» форме художественных произведений реальные моральные феномены и процессы, подвергнув их литературно-художественному

[1] *Одиноков В.Г.* Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского. С. 46.

[2] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 18. С. 30.

анализу, писатель-мыслитель одновременно переводит их в плоскость философско-этического исследования, осмысливая в понятиях своей философской системы место и роль описываемых явлений в общем течении социально-исторических процессов реальности. В своих размышлениях над философским смыслом и историческим значением моральных явлений современной действительности Достоевский тяготеет к широкому философскому обобщению, теоретическим выводам философско-исторического масштаба.

Основание, исходная посылка и в то же время критерий оценки достигнутого совершенства общества, из которого исходит мыслитель, — место человеческой личности в системе современных общественных отношений. Именно размышления над фактами современной общественной жизни, над моральным обликом современного человека, над теми ценностями, которые человек провозглашает в качестве добродетели, которую он исповедует и которой придерживается в жизни,— вот источник своеобразного философского историзма Достоевского. Фундаментом своей философско-исторической системы писатель полагает моральные параметры оценки исторического процесса, и они приобретают главенствующее значение. Он выстраивает «кривую» исторического процесса в соответствии с направленностью развития человечества, поднимающегося к торжеству идеальной, совершенной человеческой личности. В задачу нашего исследования не входит детальное рассмотрение многоцветной мозаики элементов философско-исторической систематики Достоевского. Остановимся лишь на необходимом. История человечества у Достоевского предстает в виде триады различных по смыслу и содержанию исторических эпох, каждая из которых имеет уникальное историческое значение. В историософской формуле писателя, символизирующей безостановочное движение человечества

по ступеням исторического развития, выделим соприкасающиеся и взаимно противостоящие этапы «патриархальности» и «цивилизации».

В первобытном, патриархальном состоянии общества, рассматривая которое Достоевский опирается на исторические предания, человек «живёт массами», живёт «непосредственно». Характерные черты жизни этого общества — первоначальная коллективность форм организации общественной жизни и «непосредственность» как господствующий уровень психического развития личности. Индивидуальное сознание еще не превалирует над другими психическими способностями и функциями человека. Соответствующий патриархальному периоду истории тип человека живёт гармонически по комплексному ощущению в соответствии с «непосредственными идеями». Строго говоря, на данном этапе исторического развития человечества личность как таковая отсутствует, она не выделяет себя из «общности». Человек не осознал себя частью целого, атомарной моральной и психологической частицей, он ощущает себя представителем всей патриархальной общности. Его мироощущение макрокосмично, а доминирующие психологические черты — «безличность», «патриархальность», «массовость».

«Затем наступает время переходное, т.е. дальнейшее развитие, то есть цивилизация (цивилизация есть время переходное). В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становится во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех»[1]. Причудливые, гротеско-

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 192.

во-уродливые особенности психического и морально-психологического строя личности, соответствующей этапу «цивилизации», Достоевский непосредственно связывает с историческим конкретным буржуазным типом устройства общества. Пристально вглядываясь в утвердившиеся повсеместно на Западе общественные отношения, он оценивает итоги развития буржуазной цивилизации, констатируя: действительно, многое достигнуто, совокупное богатство общества неизмеримо возросло, труд людей стал производительнее... но воцарился «Ваал!». Возрастающее обогащение одних влечет за собой обнищание и духовный пауперизм для многих. Стремление достичь призрачный в условиях буржуазного общества идеал всеобщего благоденствия и социальной гармонии оборачивается в действительности утратой духовности, реальным искажением и поруганием сущностных черт человеческой личности. Господство общественных отношений, в условиях которых торжествует власть денежного мешка, а основным содержанием общественной жизни становится «упорная, глухая... борьба насмерть всеобщего западного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться...»[1], подрывает основы нравственности. Чем яснее и отчетливее сознаются большей массой человечества высокие нравственные идеалы, выработанные человечеством в совместном моралетворчестве, тем скорее они перестают быть общими регулирующими и ориентирующими поведение нормами. «Накопить и иметь как можно больше вещей» — вот что «обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизис»[2].

В общем контексте философских идей Достоевского подлинным пророчеством представляется мысль о том, что

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 68—69.

[2] Там же. С. 76.

«человек есть на земле существо развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное»[1]. Человек на «земле» (т.е. за истекшее историческое время) не достиг и не мог достичь подлинно человеческой сущности, мир человеческих отношений до сей поры находится вне сферы Гармонии и Совершенства. В 1873 году Достоевский сделал совершенно однозначный вывод: «...Вся их революция без сущности дела... есть не обновление общества на новых началах, а лишь победа одного могучего класса общества над другим на основании: убирайся, а я займу твое место, и чуть позже: «новые победители мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян)... «Свобода, равенство и братство» оказались лишь громкими фразами и не более...»[2]. Буржуазный тип общественного устройства оказывается не окончательной, но только переходной ступенью развития общества, промежуточной стадией истории человечества. И потому неудивительно, что в условиях буржуазной цивилизации «возлюбить человека как самого себя, по заповеди Христовой,— невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует»[3]. (Это «закон» личности, какой она выступает в своем современном состоянии. — *Н.М.*) В действительных условиях «грубого, неустроенного» состояния общества этот закон проявляется в личности как

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 173.

[2] Совершенно обоснованным нам представляется вывод Г.М. Фридлендера: «Достоевский отчетливо видел классовый, антагонистический характер буржуазной цивилизации и буржуазного общественного строя, сложившихся в Западной Европе после Великой французской революции. И в то же время он не разделял иллюзий, свойственных представителям западноевропейской либерально-буржуазной мысли, верившим в возможность «смягчения» и постепенного исчезновения свойственных буржуазному обществу противоречий без уничтожения самих основ этого общества. Развитие буржуазного общества, по убеждению Достоевского, неминуемо ведет культурный мир к катастрофе». Г.М. Фридлендер. Сердце его принадлежало России... В кн. «Ф. Достоевский. Искания и размышления». М., 1983. С. 27.

[3] Там же. С. 172.

начало «особняка». Отличительная черта его — усиленное самосохранение, это начало «единичное, личное», требующее с «мечом в руке» своих прав, стремящееся «делиться», непрестанно хлопочущее о своей «ювелирской вещице-личности». Как закон буржуазной личности, в которой он наиболее полно проявляется, начало «особняка» можно выразить как крайний индивидуализм и эгоцентризм, когда; по словам «подпольного» героя, «...одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных...»[1].

В «Европе,— подводит итог Достоевский, — ...развитие цивилизации дошло до крайних пределов, то есть до крайних пределов развития лица», и потому это «состояние, то есть распадение масс на личности («лучиночки» — по образному определению писателя. — *Н.М.*), иначе цивилизация, есть состояние болезненное»[2]. Личность оказывается под сокрушающим прессом господствующего в обществе социального отчуждения. Оно и порождает болезненное явление психологического, морального расщепления. Мироощущение личности, развившейся до крайних пределов сознания, отделившейся от массы, от всех, суть болезненное, страдальческое. В морально-психологической структуре личностного сознания доминирует установка на самое себя, преобладает «я-центристское» восприятие мира. «Я»-человек не может воспринимать мир не в болезненных формах, оставшись с природным и социальным целым «с глазу на глаз». Морально и психологически изолированное, социально отчужденное, микроскопическое человеческое «я» противостоит колоссальным масштабам вселенной НЕ-я. Отсюда ощущение трагичности бытия, метафизической «заброшен-

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 105.

[2] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 192.

ности» в мире, свойственное мировосприятию «переходного» человека. Свидетельство того, что это историческое состояние общества — «болезнь», есть то, что «человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и всё сознает»[1].

Итак, как будто парадоксальное отождествление сознания с болезнью в художественном творчестве и философской системе Ф.М. Достоевского на самом деле обусловливается действительным характером его проявлений в определённых исторических рамках. Основной исторический закон болезненной сущности сознания Достоевский сформулировал таким образом: «Строго говоря, чем менее сознает человек, тем он полнее живёт и чувствует жизнь. Пропорционально накоплению сознания теряет он и жизненную способность. Итак, говоря вообще; сознание убивает жизнь»[2]. В исходном социально-этическом значении индивидуальное, личностное сознание есть историческая болезнь как самосознание человека переходной эпохи «цивилизации». Смысл утверждения Достоевского таков: не психическая способность сознания человека является патологией, источником, репродуцирующим социальные болезни общества, но, наоборот, само личностное сознание, степень его развития и гипертрофии отражают болезненность, извращённость социальных условий современного буржуазного общества, искажающих и моральные качества и психические свойства личности. Исследуя феномены «мечтательства», «двойничества», «подполья» и др. характерные проявления отчуждения личности от общества и собственной человеческой сущности (в социальных условиях современности), Достоевский

[1] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 192.

[2] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 196.

акцентирует «...не только трагедию личности, значение которой в современном обществе всё более и более сводится на нет. Он хотел раскрыть духовное подполье человека-жертвы, которого мучительно искушает желание возвыситься...»[1]. Как отмечает Г.М. Фридлендер, социальная униженность личности порождает не только нищету и бесправие, «она вызывает к жизни также в качестве их необходимого духовного дополнения различного рода фантастические «идеи» и иллюзии...»[2]. Усиленное сознание «умного человека» девятнадцатого столетия, века «умышленной» науки, господства рационалистической мысли и окончательного утверждения переходного состояния человечества, претерпевает реальные морально-психологические аберрации. В безостановочном процессе «мыслительной игры» и «упражнений в мышлении», в который самозабвенно погружается человек из «подполья», стимулируемый чрезвычайной, сверх всякой меры развитостью процедур сознания, шаг за шагом открываются причины, лежащие в основе вещей, явлений, поступков людей. Калейдоскоп мелькающих причин, погружение познания тотальной казуальности мировых явлений в дурную бесконечность лишают героя побудительных мотивов для поступка. Первоначальные причины и основания действия испаряются — «подпольная» личность замирает в инерции. В этом смысле сознание выступает как «парализация» жизни, а причудливые формы сознательной жизни, само сознание выдается за жизнь. «Мышление подпольного типа не в состоянии выйти за свои пределы. Круговращаясь в их границах и не пытаясь выйти в сферы внеличного бытия, оно живёт лишь тем, что питается чувственным ядом

[1] *Розенблюм Л.М.* Творческие дневники Ф.М. Достоевского. М., 1981. С. 92—93.

[2] *Фридлендер Г.М.* Достоевский в современном мире. В кн. «Достоевский. Материалы и исследования». Т. 1. Л., 1974. С. 19.

каждодневных обид»[1]. В системе философских координат Ф.М. Достоевского человек — именно та самая сила, которая в очищающем огне деятельности должна переплавлять низменное в нравственно возвышенное, преобразуя пошлость и слабость в подвиг высшего человека. Это активное переделывание себя самого, своего морального мира по закону нравственного идеала есть нормальное, «естественное» состояние.

Возвращаясь к предмету прошедшей на страницах «Вопросов философии» дискуссии «Этика и моралеведение», отметим, что её участники сосредоточили свое внимание прежде всего на теоретическом вопросе о статусе той области знания, в которой явления морали фиксируются и описываются непосредственно, в содержательном богатстве их феноменальных проявлений (по предложению В.Т. Ефимова, она получила наименование «моралеведения»). Тогда как, по мнению А.А. Гусейнова, своеобразие наличной ситуации, сложившейся в советской этической науке, состоит как раз в том, что «...её эмпирические разделы развились не столь интенсивно, как теоретические»[2]. Устранению этого «перекоса» в какой-то мере может способствовать и художественная литература.

На примере художественных и публицистических произведений Ф.М. Достоевского можно видеть, что творчество талантливого писателя — исследователя человеческих феноменов — являет собой органический синтез морально-психологической феноменологии и социально-философского исследования. Речь идёт о том, что действие социальных факторов эпохи мыслитель пытается проследить вплоть до глубинного субъективно-личностного уровня психологии

[1] *Бачинин В. А.* Достоевский и Гегель. С. 19.

[2] *Гусейнов А.А.* Введение в этику. С. 18.

человека. Таким образом, проблема личности рассматривалась Достоевским в единстве социально-этического и моралеведческого аспектов.

Именно классической художественной литературе современная этическая наука обязана открытием и выработкой эмпирической модели (в тончайших морально-психологических деталях) феноменов так называемого «отклоняющегося» поведения, социально-философский анализ которых в настоящее время включен в проблемный перечень важнейших этических разработок. В данном случае художественная литература выступила тем самым средством, которое на описательном уровне «...вычленяет объект исследования, вводит в научный оборот факты, подлежащие объяснению, теоретической интерпретации»[1]. Конкретное рассмотрение художественной литературой многочисленных морально-психологических явлений, комплексов и фобий дало возможность этике осмыслить место и роль описываемых явлений в общем течении социально-исторических процессов реальности, сделать теоретический вывод о внутренней антиномичности морального сознания в определённых исторических условиях, неизбежно-амбивалентного расщепления морали в условиях буржуазного общества.

---

[1] *Гусейнов А.А.* Введение в этику. С. 18.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ АВТОРЕ 3

О книге «Крест» и «Беси» Николая Ставрогина 5

§1. Преамбула. О моём отношении к Ставрогину 9

§2. История Ставрогина в литературе и философии: завершена ли дискуссия? 33

§3. Событийно-Хронологический Комментарий 51

§4. Князь-Ставрогин как идеолог. Комментарий 81

§5. Степан Трофимович, Варвара Петровна и Николай Ставрогин: отзеркаливание героя 125

§6. Марья Лебядкина как «Христова невеста» Николая Ставрогина 144

§7. Ставрогин и Кириллов: спор о «сильной» личности 159

§8. Ставрогин и Шатов: метафизическая встреча двух существ в беспредельности 171

§ 9. Глава «У Тихона» как композиционный и идейный центр романа 187

§ 10. Ставрогин и Петр Верховенский: «старший бес» в поисках мотива для искушения «Иван-царевича» 235

§ 11. «Мелкие бесы» Ставрогина: Липутин, Лямшин и иные… 246

§ 12. «Земная» невеста Николая Ставрогина 261

§ 13. Две Марии: женские «проекции»
Николая Ставрогина 280

§ 14. Ещё раз о вере, разуме и компетенции науки,
или философский этюд Ф.М. Достоевского о клопе 290

§ 15. Заключение.
Гражданин кантона Ури: завершение образа?
«Никого не винить: я сам» 301

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фёдор Достоевский и современный мир.....308

Художественные открытия как объект
этического исследования
(на материале творчества Ф.М. Достоевского;
опубликовано в «Вопросах философии», 1986. — № 6) 324

Литературно-художественное издание

Мехед Николай Григорьевич

КРЕСТ И БЕСИ НИКОЛАЯ СТАВРОГИНА
Экспериментальный путь героя к Абсолюту

Корректор *Т.В. Павлова*
Верстка, оформление обложки *М.Г. Хабибуллов*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.
Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

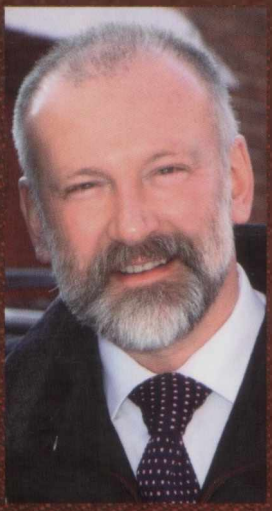
Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru
http://www.veche.ru

Подписано в печать 04.06.2018. Формат 84 × 108 1/32.
Гарнитура «NewtonC». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 11. Тираж 1000 экз. Заказ №5501.

Отпечатано в типографии ООО "ТДДС-Столица-8"
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11А, корп. 1
www.capitalpress.ru



Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» — самый читаемый из великого Пятикнижия писателя. За 150 лет с момента его создания он неоднократно попадал в «немилость» у критики и читающей публики.

Роман остро критичен по отношению к революционному насилию в любых его проявлениях.

Но это — первый срез. Социология и политология явления. Книга «"Крест" и "Беси" Николая Ставрогина» обращается к метафизике.

Две линии пересекаются в «Бесах». Линия Петруши Верховенского, политического авантюриста и практика революционного террора. И линия Князя — Ставрогина, морального экспериментатора и богоборца, взыскующего метафизических истин о моральном абсолюте и взаимоотношениях человека и Бога.

Николай Всеволодович Ставрогин — самый загадочный герой Достоевского.

Загадку Князя — Ставрогина разгадывали такие корифеи русской философской мысли, как Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков, Д.А. Мережковский, Вяч.И. Иванов и К.В. Мочульский. Тему не обошли своим вниманием и наши современники. Действительно, заниматься исследованием творчества Ф.М. Достоевского и не писать о «Бесах» — значит, играть не в высшей лиге достоевсковедения... Однако человеческая, личностная тайна Николая Ставрогина, героя, которого Достоевский, по его собственным словам, «взял из сердца своего», не раскрыта. Самый трагический и самый притягательно-отталкивающий герой писателя ждёт своего часа и своих новых исследователей.

ISBN 978-5-4484-0345-3

9 785448 403453

Вече